

Министерство культуры Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте
«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу

Дмитрий Агалаков

Город аттракционов

Повести. Рассказы



Русское эхо
2012

Агалаков Д.В.

А 23 Город аттракционов: Повести. Рассказы. — Русское эхо: Самара, 2012. — 240 с.

ISBN 978-5-904319-72-4

Агалаков Дмитрий Валентинович родился в 1966 году в Самаре, окончил Самарское художественное училище, театральный факультет Самарской академии культуры и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького в Москве. Член Союза писателей России и Международной Ассоциации писателей фантастов.

Автор романов: «Серебряная пуля для волка из Жеводана», «Подсолнух», «Империя Чёрной Королевы», «Утопленница», «Сокровище князей Белецких», «Аквитанская львица»; романа «Принцесса крови, или Подлинная история Жанны д'Арк» в двух книгах: «Цветок Лилии» и «Полёт Орлицы», «Воевода Дикого поля», «Солдаты эры Водолея», «Пантера Людвига Опенгейма», «Ангел в петле». Создатель областной литературно-художественной серии (при Самарском отделении Литературного фонда России) «Лидеры Самарского края», куда вошли три его книги: «Князь Григорий Засекин», «Пётр Алабин» и «Боец». Автор ряда повестей и рассказов, публиковавшихся в российской периодике, а также многих очерков по истории Самары.

В книгу «Город аттракционов» вошла малая проза автора, написанная на рубеже его тридцати лет. Часть рассказов, связанных между собой одним главным персонажем, обострённо автобиографична, полна самоиронии и ярких примет эпохи. Эти истории удачно сочетаются на страницах издания с литературой аллегорической, такой, как повесть-притча «Город аттракционов» и рассказ «Флейта в его саду», с остросюжетной повестью «Зечка».

Книга предназначена для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-904319-72-4

© Агалаков Д.В. 2012.

© Русское эхо, 2012.

Повести

Город аттракционов

Повесть-притча

Матери моей посвящаю

Глава первая

В последние дни ноября, обожжённые дыханием близкой зимы, когда первый снег успел выпасть, растаять и выстелить город неровной коркой льда, поздними вечерами ему казалось, что время остановило ход и ничто теперь не подлежит перемене. И другим снегам никогда не отыскать эти улицы. Но проходили дни, и в середине декабря, убравшего улицы белым, словно очнувшись, он вспоминал: куда она делась, эта поздняя осень?..

Шагая по снегу, прижимая к себе портфель, попадая в неоновые потоки витрин закрытых в поздний час магазинов, он знал, что скоро окажется дома. Примет горячий душ, завернётся в халат; уже на кухне, густо чиркнув спичкой, закурит. А на сковороде будет нервно шипеть, покрываясь тонкими волдырями, яичница. Рюмка коньяка. Или две. Не больше. Потом он сварит кофе, всё будет делать, как всегда, размеренно, не торопясь. Выкурит ещё одну сигарету. Затем — телевизор. Особенно хороши новости. Есть в них примитивная магия. Очень увлекают катастрофы (не то чтобы он им радовался, нет). И всё же катастрофы: крушения самолётов и кораблей, поездов, наводнения и пожары, следы несущих тотальное разрушение торнадо; в Калифорнии — обвалы снега, в котором барахтаются беспомощные калифорнийцы, и пятидесятиградусная жара в Индии, жара, в которой плавятся не только сами индусы, но даже их тысячелетняя мудрость. А когда экран подёрнется серебром, он может отправиться в гостиную и завалиться с книгой на диван. Будет ли он спать? Конечно, что за вопрос! Но позднее. Только бы не сны. Они обступают внезапно, и в битве с ними всегда остаёшься побеждённым. Разумеется, он будет спать долго, тем более что завтра выходной — можно до полудня не вылезать из постели. Или до обеда. Лишь бы не было снов...

Сковорода, блестевшая жиром, была пуста. Чашка тоже. Коньяка оставалось в бутылке рюмки на две. Привалившись спиной к стене, вытянув ноги вперёд, он сидел на табурете и курил. Сейчас он сварит ещё чашку кофе, выкурит ещё сигарету. Потом будет мыть посуду — тщательно, особое внимание сковороде. Она должна быть идеально обезжирена, как бумага под кистью, полной акварельной краски. И ещё один секрет: главное — думать о том, что делаешь...

Около полуночи он вышел из кухни, потушил свет. Завалившись в халате на кровать, сбросив тапочки, дотянулся до телевизионного пульта. Вспыхнул экран. Политическое обозрение — колыбельная для мудрецов. Постное лицо комментатора в студии. Фрагменты съёмки: сильные мира сего решают судьбы миллионов под торопливыми вспышками репортёрских фотокамер. Всё это не для него...

Чувствуя лёгкое онемение от незаметно подкравшейся вязкой дремоты, он только сейчас понял, что день, проведённый на работе среди десятков рукописей, пирамид настрадавшейся от клавиш печатных машинок бумаги, среди папок с цветоделением и всевозможными документами, отнял все его силы...

...Он вывалился из этого сна стремительно, как снежный ком. Тяжело дыша, сидел в постели и смотрел на лёгкое серебро, рассыпанное по тёмной комнате огнями уличных фонарей. Господи, сколько дней, долгих месяцев она уходит от него по этому снегу! И всякий раз он видит её среди ледяной крошки; видит её глаза — чёрные, ничего не соображавшие в те минуты, держит мокрые, ледяные от воды пальцы. Сколько раз выпускает их и остаётся там, распластавшимся на снегу. Не понимая того, что случилось, тупо глядя на плавающий в чёрной промоине снег...

Вслушиваясь в тишину, в ход настенных часов, он вспомнил, как просыпался в первые зимние месяцы после того дня; просыпался от стоны, полного отчаяния и звериной тоски. А потом долго лежал, спрятав в одеяло лицо, пытаясь заглушить рыдания. Тогда он не мог по-другому...

Нащупав в темноте на столике пачку сигарет и зажигалку, он прикурил.

Её имя... В те первые месяцы он часто произносил его вслух. Оно было точно его заклинанием. Как будто он верил, что такой простой хитростью сможет её вернуть. Но он просто не мог мириться с окружавшей его пустотой. А она была повсюду: в каждой вещи, в каждом услышанном им голосе. В нём самом. В каждом его поступке. Она сводила с ума. Но страшнее всего было ночью. Вот когда пустота правила бал.

«...Женя, — тихо, точно боясь потревожить размеренное бормотание часов, прошептал он. — Женечка...»

Те первые месяцы зимы... Он не мог услышать её голоса, не мог дотронуться до неё. С ним не было такого привычного, естественного. Не было её рук, плеч, её колен, теплоты, запахов, всех изведанных им движений, её желаний... Но было его желание. В оцепенении, один, ночь за ночью, он вспоминал её — любящую, любимую, готовую быть выпитой им; вспоминал их вместе, всё — до самых едва уловимых ощущений, но оттого ещё более дорогих и необходимых. И в эти минуты пустоты было больше, много больше. Он вставал, ходил по комнатам, не считая таявших в своих пальцах сигарет. Конечно, пил...

Так ползли месяцы, течением которых его, беспомощного, уносило всё дальше. Он ощущал себя кораблём, начисто потерявшим управление. Что и говорить, выпивка и сигареты помогали ему. Притупляли чувства, обманывали память. Были случайные встречи. Но теперь они не приносили ему того, что когда-то он именовал «истинной полнотой жизни». Лица всех женщин, их глаза, голоса уходили, как вода сквозь песок, не оставляя по себе и следа...

Прошёл год, второй, третий. Он не спился, хотя мог бы. Он медленно приходил в себя. Пытался смириться, успокоиться, как-то существовать. И однажды понял, что это стало у него получаться... Но только не во сне. Там он становился тем же, что и в первые месяцы той зимы. Этого он и боялся больше всего. В ста ночах оно обойдёт его стороной, а потом вспыхнет разом, возвращая всё: её ледяные пальцы, чужие, ничего не соображавшие глаза... Как это было сейчас...

Выпив на кухне стакан холодного чаю, он прошагал по тёмному коридору к гостиной, щёлкнул выключателем...

С недавних пор в углу его гостиной появилось художественное полотно. Оно досталось ему в наследство. Картина была написана очень близким ему человеком — его дедом. В живописи — дилетантом чистой воды. Этим «шедевром» прежний хозяин дорожил особенно. Старика схоронили всего две недели назад. Был он старшим братом его бабки. В семье деда любили, но считали большим чудачком, если не хуже.

Он, новый хозяин полотна, знал престранную картину наизусть, но когда она, весьма внушительная, в старой потрескавшейся раме, оказалась в углу его гостиной, почувствовал себя старьёвщиком. Ничто не вызывало столько скепсиса у всех членов семьи, как это полотно. И каждый боялся стать его наследником. Когда огласили завещание и дедово сокровище перешло «внучатому племяннику Александру», все остальные члены семьи скромно просияли. А что было делать ему? Старик любил рассказывать разные сказки; он, «внучатый племянник Александр», прозвавший деда «книгочеем» и «художником», умел его слушать. Вот и поплатился за своё смирение.

Правда, слушал он его вполуха. Другое дело — она. Называла его «славным стариком». Между ними была особая симпатия, особое родство душ. В отличие от «внучатого племянника Александра», она дей-

ствительно слушала дедовы рассказы с искренним интересом, и он, Александр, даже шутил по этому поводу. И ещё она жалела «славного старика»: последние два года он встречал гостей в кресле-каталке. Жил он в старом дореволюционном доме, где выросло не одно поколение их общих предков. Близкие ухаживали за ним попеременно, но, даже став инвалидом, дед не походил на развалину. Ноги ему служить перестали, но рукопожатие было по-прежнему крепким. И обаяния не убавилось. Когда он узнал о гибели Жени, то не разговаривал несколько дней... И вот всего месяц назад он умер. «Чудак», «книголюб», «книгочей», «славный старик». И разве мог теперь его «племянник Александр» избавиться от художественного полотна? Конечно, нет.

На холсте было изображено тёмное, мрачное здание, стоящее в центре большой площади ночного города. И светлый, изумрудно-золотой клин. Падая с неба на купол этого здания, он, точно меч, рассекал его.

Разглядывая картину, Александр вспомнил один из рассказов покойного: о некоем Городе, куда, случается, попадают люди; Городе, которого и на карте-то нету. Дед говорил о другом измерении или о чем-то ещё. Впрочем он был горазд на выдумки. Ещё старик говорил, что сам однажды был в этом Городе, что никогда не забудет о нём и что возвращение из Города подарило ему новую жизнь...

Нелепо и грустно? Наверное...

Александр не показалось странным то, что он вспомнил о рассказе старика именно сейчас, стоило ему увидеть одну из фантазий деда, запечатлённую на холсте. Станным было другое: почему его так взволновало это, точно и картина, и байки старика, потешавшие всю семью, имели к нему самое прямое отношение...

Проснулся он от телефонного звонка. Диван тотчас сделался под хозяином дома неудобным, узким. Ёжась в халате, Александр вяло пошарил рукой по столику, нащупал трубку.

— Алло?

— Сашенька, миленький, мы тебя разбудили?.. А впрочем нечего спать, уже десять часов...

Это была Мария, Машенька, жена его товарища Вадима Лушина. Иногда ему казалось, что эта женщина понимала его куда лучше, чем друг детства, деливший с ним выговоры родителей и педагогов. Была ближе, роднее. Александр до сих пор не мог забыть горя, граничившего с отчаянием, в глазах Марии, когда она узнала о Жене. Мария была единственной, кто впоследствии не пытался его знакомить с «хорошими» женщинами, за что он был ей благодарен.

— Ну, и что ты молчишь? Хотя бы зевнул...

Александр негромко зевнул.

— Вот теперь слышу: всё в порядке. Жив и здоров. А поздороваться?..

— Доброе утро, — потянувшись за сигаретами, пробормотал он.

— Доброе-то оно доброе, Сашенька. Но мы не только за этим. У нас намечается предприятие...

Александр закурил, вспоминая обрывки сна. Мария продолжала:

— Мы собираемся выехать за город. На дачу. Я с Вадимом и ещё одна парочка — мужнин сотрудник с женой. Не то чтобы я была от них в восторге, но люди вполне приличные. А потом — шесть килограммов отборной свинины в маринаде. И ящик каберне. Мы хотим взять тебя с собой. И не простим себе, если нам это не удастся. Потому что, — она сделала многозначительную паузу, — мы не виделись уже целую неделю и соскучились по тебе. Только представь — неделю! А для хороших друзей это очень большой срок... Или я не права?

Щурясь от дыма, Александр послушно кивнул:

— Конечно, права.

— Так каков же ответ?

— Я готов.

— Вот и ладушки. Едем с ночёвкой, поэтому возьми что-нибудь из тёплых вещей. Зубную щётку не забудь. Что тебе объяснять — ты уже взрослый мальчишка. Мы заедем за тобой в полдень. Два гудка длинных, один короткий, как всегда... Договорились?

— Да, конечно.

— Вот и ладно. Пока!

Он дал отбой... Стряхнув пепел, оглянулся на окно — молочно-белое, по-зимнему скучное. Оставалось только понять: зачем он согласился на поездку? Сквозь шутки и внешнюю непринуждённость Марии видеть в её глазах то, что он видит там уже три года — боль, страдание? Смотреть, как натянуто будет улыбаться Вадим, когда речь вскользь зайдёт об их юности? Как от нечаянного вопроса их новых друзей ему может стать неловко, даже больно? Нет, он откажется, не поедет. Стоит только набрать номер...

Он проснулся в половине двенадцатого, сжимая трубку в руке — у подбородка. На то, чтобы принять душ, побриться, наспех перекусить и собрать тёплые вещи, времени было всего ничего.

Допивая на кухне кофе, он услышал условленные гудки. Выглянул в окно. Под самыми его окнами стояла белая «Волга» Лушиных. Открылась передняя дверца. В белой шубке, с длинными светло-русыми волосами — её давняя гордость — из автомобиля выпорхнула Мария. Глядя на окна третьего этажа, замахала руками. Только вряд ли она видела его — там, за двумя стёклами, стоявшего у края занавески с пустой чашкой в руке...

Двумя минутами позже он выходил из подъезда с командировочным саквояжем, застёгивая на ходу пальто и щурясь от молочно-белого зимнего света.

Мария пересела назад, к супружеской паре, неким Грачёвым (он — располневший спортсмен, улычивый на американский манер, незатейливый; она — брюнетка, пышка с миндалевидными глазами, прекрасной кожей и теми особыми интонациями в голосе, какие бывают у очень опытных, абсолютно уверенных в себе женщин). Разговор зашёл о погоде. Скоро Лушин и Грачёв выпали из беседы, заговорив о своём совместном с итальянцами предприятии, Мария и Грачёва (уточнившая, что в девичестве она — Лисовская, «Эльвира Лисовская») плавно вышли на другую тему: Эльвиру волновала «высокая мода», и Марии, женщине в этих вопросах искушённой, было чем с ней поделиться. Лушина не пыталась вовлечь его, Александра, в этот разговор, но всеми силами постаралась сделать из него добросовестного слушателя.

Спустя минут пятнадцать, оставив позади городские улицы, они вырвались из последнего микрорайона и покатили через безмолвный заснеженный пригород...

...Он стоял в середине опустевшего дачного дворика, за которым — через забор — была видна неровная, выстеленная снегом дорога, дома, чёрные деревья; а дальше — узкая полоса замёрзшей реки, заснеженные поля, сбросившие листву, расходившиеся косяками серые леса. Эти леса тянулись далеко, на все стороны земли, рассыпаясь, цепляя рябыми обрывками горизонт. И надо всем этим было зимнее молочно-розовое небо.

«Это очень хорошо, что я приехал сюда, — думал Александр, — очень хорошо...»

Сняв перчатку, забравшись в глубокий карман пальто, он достал пачку сигарет, зажигалку. Прикурил не сразу: неожиданно сорвавшийся с открытого пространства ветер, совсем не злой, но упрямый, дерзко бросившийся на дачный массив, задул огонь. Сейчас запах табака был особенно приятным — среди зимней терпкой свежести, лёгкого мороза... На какое-то мгновение ветер, похоже, изменился, образовав целый водоворот за дачами, за спиной Александра, и следом стремительно вытащил из-за дома Лушиных несколько клубов синего дыма, бросил их, уже разрывая в клочья, на середину двора... Затягиваясь сигаретой, Александр обернулся: там, за домом, Вадим и его сослуживец разжигали старый хозяйский мангал...

— Ты обещала мне рассказать о нём...

Мария, укладывая тёплую одежду и постельное бельё, только что извлечённые из сумок, в шкаф, обернулась:

— О ком?

Эльвира, в красном джемпере и серых гамашах, подбоченясь, стояла у окна, откуда — с высоты второго этажа — весь дачный дворик был виден как на ладони. Точно желая особого понимания от новой приятельницы, она многозначительно подняла брови и кивнула вниз:

— Об Александре. О вашем таинственном Александре...

— Ах, о Саше...

— Да, ты говорила, что несколько лет назад у него произошла трагедия. Твой муж тоже кое-что рассказал моему. У Ордынцева погибла жена. И для него это обернулось едва ли не душевным недугом. Что он до сих пор не может найти себя... А ведь он так привлекателен, интересен... Так это всё правда?

Складывая рукава цветастого джемпера, Мария села на кровать, рассеянно улыбнулась:

— Не верится, что такое может произойти с кем-то, кого знаешь так близко. Пока это не случится. Александр и впрямь очень любил её. Я даже не думала, что он способен на такие чувства. Всю жизнь Сашка Ордынцев жил в своё удовольствие, легко оставлял женщин. Друзья уже разуверились, что он отыщет свой идеал. Думали: так и останется до старости холостяком-повесой... Только в Женю нельзя было не влюбиться. Было в этой девочке что-то удивительное. Особенное. Ему тогда было тридцать два, ей — двадцать пять. Они познакомились в дансинге. Он говорил, что они в первый же вечер поняли, что созданы друг для друга. Поженились сразу. Сашка звал её на французский манер: «Жени». А как они танцевали танго — засмотришься. Всё им удавалось. Никаких преград на пути. Кто мог знать, что у них только один год? Казалось-то, впереди вся жизнь... Всё случилось три года назад, в декабре. Они выехали вдвоём на пикник. Перед этим повздорили, так он мне говорил. Признался, что был виноват. Хотел загладить свою вину. Машину Александр оставил на обочине. Женя решила прогуляться по льду, Ордынцев задержался. Ещё крикнул, чтобы она была осторожной. А потом... потом она оказалась в ледяной воде, а он не смог её спасти... Он так и не простил себе её гибели.

Мария опять хотела было заняться джемпером, который всё это время не выпускала из рук, но вновь остановилась.

— Там, рядом, у края озера была длинная ветка, но он её не заметил. Не каждый день нам приходится спасать любимых людей из ледяных колодцев. Одним словом, Александр вбил себе в голову, что в тот день он сделал не всё, чтобы её спасти.

— Да, — после паузы коротко сказала Эльвира, — история...

Она ещё несколько мгновений смотрела на человека в длинном чёрном пальто, стоявшего в середине двора, потом приблизила лицо к стеклу,дохнула на него. И человек в пальто, выбросивший окуроч, уже сделавший первые шаги в сторону калитки, скрылся за лёгким матовым облаком...

Выйдя на заснеженную дачную улицу, Александр огляделся, решая, какую ему выбрать сторону для прогулки. Он надеялся, что его короткое отсутствие не слишком смутит новых и старых друзей. Если

они приехали слева — значит, решил он, ему идти вправо. До конца дачного массива, где виднелась серая полоса леса, и обратно.

Дачный массив закончился неожиданно быстро: всего несколько минут неспешного хода. Александр ещё раз повернул направо. Тишина белых дачных улиц с домишками и особнячками, опустевшими голыми садами подталкивала идти дальше, незаметно увлекала, затягивала. Опасаясь, что не найдёт путь обратно, он уже стал оглядываться, стараясь быть внимательным, но продолжал идти вперёд, не торопясь, закулив новую сигарету, покрепче запахнув воротник пальто... Он уже твёрдо решил повернуть назад, когда ему открылась ещё одна дачная улица, в конце которой виднелся голый осинник. Он пошёл на поводу и её тишины: здесь она была особенная.

Не дойдя до конца улицы, остановился...

Это была обычная деревянная калитка, плотно, как и высокий забор, увитая сухим терновником (летом, верно, всё это превращалось в непроницаемую зелёную стену). Александр заглянул внутрь. Тянувшаяся от самой калитки, под снегом читалась тропинка, и даже не тропинка, а целая аллея, расходившаяся метрах в пятидесяти от того места, где стоял Александр, на два рукава. Один рукав вёл к двухэтажному дому, другой, огибая его, уходил в уснувший в первом морозном дыхании декабря сад. Именно заснеженная, изогнутая дугой, исчезающая за домом дорожка привлекла внимание Александра. Забыв о потухшей сигарете, он стоял и смотрел на неё. Аллея была пуста, скорее даже пустынна. И таковой она, видно, была уже очень давно. Из-под снега кое-где торчали бурые листья. Исчезая за поворотом, аллея терялась среди голых деревьев гигантского сада...

Внезапно Александр почувствовал лёгкое головокружение, а затем задохнулся. Нащупав рукой деревянный колышек, закрыл глаза... Всё, что случилось с ним три года назад, что не отпускало его всё это время, теперь, точно собравшись в один огненный комок, обожгло его. Вихрь событий пронёсся перед ним одним мгновением: целый год, который они были с Женей вместе, её исчезновение. И всё же... Сколько раз это происходило с ним: на улице, в толпе, за рабочим столом, в кругу друзей, чаще — дома, ночью, когда он оставался один... Но почему перед этой калиткой всё пришло иначе, точно сейчас он мог изменить что-то, повернуть ход времени вспять?

Стряхнув с себя наваждение, отдышавшись, он ещё сильнее сжал деревянный колышек ограды.

Итак...

«Неужели этот сад принадлежит одному человеку? — оглядываясь с непонятным для самого себя интересом, думал он. — Хозяин сада — настоящий помещик. Но, кажется, давненько его не было здесь...» Может ли он, непрошенный гость, войти сюда? Имеет ли на это право?.. Но почему бы и нет? Вряд ли его подстрелят за этот безобидный проступок...

Александр присмотрелся к тропинке — ни одного следа. Снег был девственен. Впрочем пусть будет так: если калитка открыта — он войдёт, если нет... Он потянул калитку на себя, но, опомнившись, тут же толкнул её вперёд. Скрипнув, она отворилась... Зачем ему это нужно? Он думал побродить минут пятнадцать вокруг дачи Лушиных и вернуться назад. Прошло уже более получаса. И вот теперь он намеревался войти в чей-то сад... Он уже сделал шаг, другой; уже озирался по сторонам: не увидят ли его с дороги, не подумают ли о нём чего дурного? Но разве сейчас это имело для него какое-то значение? Нет... И вдруг он понял, что уже не может перебороть себя, повернуть назад, что ни один самый разумный и трезвый довод не окажется для него убедительным. Во что бы то ни стало он должен идти по этому саду, по заснеженной, местами рябой от пожухлых листьев аллее, должен обойти дом, идти дальше...

«Я только пройду по аллее, — уговаривал он себя, — пройду немного. Только загляну за дом, за поворот, и тут же вернусь назад...»

...Сад был огромен и великолепен. Александр давно уже обошёл дом и шагал дальше, оставляя на белом, не тронутом ничьими подошвами снегу следы. Иногда от шороха его шагов, хрустнувшей под каблуком ветки высоко над головой вспархивала птица, брызгая снегом, и терялась среди деревьев.

А потом сад, похожий на лес, стал редеть. Впереди уже виднелось белое, покрытое снегом пространство, за которым в отдалении опять начинался розово-серый лес...

Оказавшись на белом пространстве, Александр сразу увидел, что оно выводило к деревянному мосту, переброшенному через покрытую первым льдом речку. Подходя к мосту, он замедлил шаг, сам не понимая почему... Вот он коснулся пальцами обледеневших перил, сжал холодное, оттаивающее под его рукой дерево...

Он вспомнил обо всём сразу: о всех нелепых рассказах его старика, якобы однажды забредшего в таинственный лес. Как по своему желанию дед заблудился и наконец оказался на мосту через речку, почти ручей, точно разделявший два мира... Наваждение? Возможно... Но рука его по-прежнему крепко сжимала деревянные перила горбатого, выдавшего виды моста...

Ему вдруг почудилось, что он может уследить за движением реки, там, подо льдом, ещё слабым, тонким, по которому лёгкие порывы ветра — здесь, на открытом пространстве, — змейками уносили снег. Увидеть ледяные узлы течения, точно от одного удара о невидимую преграду вдруг рассыпавшиеся на нити, убегающие прочь... Да, теперь ему тоже казалось, что река разделяет два мира и что, спустись он по этому мосту, он уже не найдёт в себе сил вернуться обратно. Но хотелось ли ему возвращаться назад? Что его удерживало там, позади, кроме одиночества в собственном доме, работы, ставшей ему безразличной, ды-

мящегося мангала за дачным домиком его друзей? И воспоминаний, крадущихся за ним, бросающихся на него по ночам?..

Но разве он мог знать, что его ждёт за мостом и тем лесом, среди голых деревьев которого терялась приведшая его сюда тропинка?

Нет...

Придерживаясь за обледеневшие перила, Александр спустился с моста, осторожно делая первые шаги по новому, незнакомому ему берегу... Он шёл по выкошенному, заметённому снегом лугу, когда его ослепило что-то яркое, вспыхнувшее совсем рядом. Точно бледное солнце, сейчас скрытое за облаками, отразилось в невидимой зеркальной поверхности. Или это по недоступной простому человеческому глазу — почти отвесной плоскости — с самого неба скатилась алмазная россыпь и тут же растаяла в декабрьском снегу? Он разом остановился, оглядываясь по сторонам. И тут же замер: целая череда подобных всполохов уже бежала вдоль русла замёрзшей реки — куда-то очень далеко, до самого горизонта. Александр подумал, что, подставь он вовремя ладони, может быть, он смог бы поймать горсть этой алмазной крошки...

Странное это было место, но ему ни за что не хотелось бы уйти отсюда. Напротив, если бы сейчас за ним отправили погоню, он бы спрятался в кустах и отсиделся. И всё равно — сколько бы ему понадобилось для этого времени...

Скоро он вошёл в лес, так похожий на тот, оставшийся позади, за мостом, куда он попал совсем недавно. И здесь было продолжение той же самой заметённой снегом, кое-где разорванной мёртвыми листьями тропинки — чистой, без единого следа.

Через какое-то время лес стал редеть, и очень скоро Александр вышел на окраину провинциального городка, зажигавшего первые огни в медленном приближении сумерек...

Глава вторая

Когда Александр входил в город, пустынный на окраине, тихий, ничем не отличавшийся от сотен других провинциальных городков, когда шёл по его улицам, заснеженным, с неяркими фонарями, ему хотелось думать, что здесь обязательно есть место, где его знают и ждут. Где предоставят ночлег и примут так, точно он кому-то нужен. Именно такой — отчаявшийся, безразличный (как казалось ему самому), с окурком сигареты, грозившим вот-вот обжечь пальцы. Кутающийся в пальто бродяга, который старается забыть обо всём и помнит это всё... И ещё хотелось думать, что на чужих улицах многое очень знакомо и понятно ему; верить, что когда-то, возможно, он уже был на окраинах этого города, на его улочках, может быть, наяву, а может, в неясных тревогах, мечтах...

...Он остановился в дешёвом питейном заведении с барной стойкой, простенькими стульями и выдавшими виды столиками, покрытыми старыми скатертями. Ни одного respectable посетителя. Но разве это имело значение? Хотелось выпить, всё равно чего. Это было просто необходимым продолжением того небольшого приключения, в которое он позволил себе попасть.

Александр заказал у пожилого бармена, оглядевшего его с мрачным любопытством, горячего вина, пару бутербродов с ветчиной и разместился за одним из пустовавших столиков в углу питейной. За соседним столом сидел старик и не сводил с нового посетителя глаз, полных самого откровенного любопытства, с каким завсегдатай подобного заведения всегда смотрит на новичка. Не успел Александр согреться вином, как сосед поднялся со своим стаканом и, не спросив разрешения, точно так было и нужно, подсел к нему.

— Вы тут недавно, как я погляжу? — спросил старик. И тут же уточнил: — Мне достаточно первого взгляда...

На нём был старый поношенный костюм из толстого драпа, кое-где залатанный, клетчатая рубашка, первоначальный цвет которой угадать было уже невозможно, шейный платок. В общем этот пожилой любитель задавать вопросы выглядел довольно прилично, видимо, он следил за собой, как следят за собой некоторые одинокие старики, знавшие когда-то лучшие времена. Несмотря на то, что лицо его выглядело крайне уставшим, в водянистых глазах можно было прочесть самый живой интерес к возможной беседе.

— Где я? — не сразу ответил вопросом на вопрос Александр.

— Так, в одном заштатном городишке, — сухо, заговорщицки усмехнулся тот. — Лучше расскажите, как вы попали сюда?

Александр пожал плечами, улыбнулся грустно — скорее самому себе, вспоминая свой недавний путь. Старик тем временем, точно и не ждал ответа, закивал головой:

— Да-да-да... Как только сюда не приходят. Вот ты на вокзале: надеешься попасть из пункта А в пункт Б. Где-то ты засмотрелся, где-то недоследил, недослышал. Останавливается поезд, ты выходишь, думаешь: вот он, твой пункт Б. Но на самом деле ты уже в Городе. А поезд ушёл... Или так: живёшь себе живёшь, ходишь по знакомым улицам, потом сворачиваешь в первый проулок, смотришь: что-то вроде не так, чего-то не хватает. Перестаёшь узнавать дома, улицы. И меньше всего тебя заботит в эту минуту возвращение. А ты идёшь себе, шаг за шагом, всё дальше в сети. Что-то происходит с тобой необыкновенное. Ну, а уж если увидишь яркую вспышку: как будто то ли золото с неба просыпалось, то ли бриллианты...

— Всполох — такой, точно в зеркалах... отразилось солнце. Да?

— Видите, что вам рассказывать... Вы и сами всё знаете. Да, всполох. Это значит — ты уже попался. Ты уже здесь — в Городе аттракционов.

— А что, есть такой Город?

— Ну, если вы попали сюда, значит, есть.

— Я вошёл в калитку, затем был огромный сад, он превратился в лес, затем — река, мост, эта алмазная пыль и вновь — лес. А потом — окраина этого городка...

Старик кивал головой:

— Да-да, река, мост, алмазы, лес. Известные штучки, — он вдруг лукаво улыбнулся собеседнику: — Попробуйте отыскать дорогу обратно, — его лицо неожиданно помрачнело: — Вот будет потеха...

Александр отхлебнул вина. Он даже не задумался о том, что ему необходимо возвращаться. Та сторона, откуда он пришёл так недавно, уже забывалась, и это нисколько не трогало Александра, не пугало его. Наоборот: ему казалось, что именно так и было нужно...

— И давно он существует, этот Город?

— А вы как думаете?

— Я... не знаю.

Кроша в пальцах хлеб, старик вновь закивал головой:

— Это очень старый город. Очень старый, — и тут же обратил на собеседника особенно требовательный, почти злой взгляд. — Неужели это так трудно понять?

Александр не ответил, опрокинул стакан с остатками ещё тёплого вина. Только сейчас он стал ощущать, как напиток согревает его, обволакивает теплом, истомой...

— Хорошо бы ещё стаканчик, — пробормотал он. — А как вы?

— Не откажусь, если угостите.

Александр кивнул:

— Идёт.

Он принёс ещё два стакана крепкого горячего вина. Сев, обратился к старику:

— Расскажите мне об этом Городе. Почему вы называете его... «Городом аттракционов»?

— Потому что таков он и есть, этот городишко, — почти в собственный стакан проговорил старик и тут же поднял глаза на собеседника. — И никак по-другому его не назовёшь. Самое интересное происходит на Главной площади. Там и стоит «Цирк-аттракцион». То местечко, ради которого мы все и собрались здесь. Мерзкое здание, молодой человек. Пренеприятнейшее. Не больно туда торопятся те, кто попадает в Город. Оттого здесь так много народу. Гостиницы, доходные дома... Люди занимаются теми профессиями, которыми занимались там, в прошлом мире.

— В прошлом мире?

— Вы не ослышались, — опустив глаза, старик негромко рассмеялся, покачал головой. — Вы же новичок, вы не знаете... Пока вы не пройдёте эту пытку, а коль уж вы попали сюда, вам её не избежать, — в его

голосе было непонятное веселье, граничившее со злорадством, — так вот, пока вы не пройдёте эту пытку, вам не выбраться отсюда. Никким образом, — он вновь покачал головой, — представьте себе.

Александр поставил стакан на стол, внимательно разглядывая старика.

— Но... что я должен увидеть в «Цирке-аттракционе»?

Старик беззвучно рассмеялся, точно Александр сказал что-то крайне весёлое и остроумное.

— Откуда же мне знать? Это вам лучше спросить у самого себя. Только всё одно: вы придёте на спектакль, а сами окажетесь на сцене. И тогда не позавидуете себе! Но только не думайте, что, когда вам удастся выбраться оттуда, Город оставит вас в покое. Впрочем не мне об этом судить...

Старик замолчал. Он цедил вино неторопливо, глядя в пустоту, точно был за этим столиком один-одинёшенек.

— Говорят, «Цирк-аттракцион» для некоторых ещё не всё, — даже не взглянув на Александра, вновь заговорил он. — И «колодец», на дне которого так же страшно, как в могиле, очутись вы там живьём, для них только забава. Колодец, о котором, знай вы побольше, не стали бы болтать вот так, запросто, за стаканом вина. О нём вы захотели бы позабыть и вовсе — до конца своих дней. Многие боятся того, что может случиться позже. Сразу после представления или чуть погодя. Кому как повезёт, — последнее слово старик произнёс с таким сарказмом, на какой, казалось, только был способен. — В любой день, в любой час. Вы думаете: прошли все пытки — и счастье в ваших руках, ан нет. Весь этот Город — аттракцион. Вот в чём дело...

— Странные вещи вы говорите, — Александр огляделся по сторонам. — И у этого Города есть свой Голова?

— Вроде как есть. Старожилы рассказывают, что он очень похож на человека из «Цирка-аттракциона».

— Человека из «Цирка-аттракциона»?

— Да, того, кто говорит вам: «Добро пожаловать на представление. Сегодня на арене — ВЫ!» — старик в очередной раз беззвучно рассмеялся, не сводя глаз с собеседника.

— Я... не понимаю вас.

— И немудрено, — пожав плечами, откликнулся тот. — Только так оно лучше, для вас же... А что, там, в другом мире, вы не слышали об этом Городе? Ни разу? От близкого или незнакомого вам человека?

— А почему вы меня спрашиваете об этом?

— Так, из чистого любопытства.

— Слышал.

— И не верили?

Александр отрицательно покачал головой:

— Не верил.

— Всё правильно... Было бы странно, случись по-другому. Я уверен: об этом Городе знают все, ведь многие, — старик сбавил голос, точно поверял тайну, — там, откуда пришли вы и я, уже были здесь когда-то. Я сам слышал об этом и не от одного человека, когда ещё был мальчишкой... — он вдруг осёкся, не слишком дружелюбно посмотрел на собеседника. — Да, я был помладше вас и тоже — не верил...

Александр допил остатки вина. Оба молчали. Один вопрос не давал Александру покоя. Наконец он не выдержал:

— И как же уходят из этого Города? Те, кто уже был там, на вашей Главной площади?

— На нашей Главной площади, — уточнил старик, — на нашей с вами Главной площади... Как уходят? А никто не знает, кто и как отсюда уходит. Сегодня ты здесь, а завтра тебя и след простыл. Люди просто исчезают, — собеседник не сводил с Александра водянистых, с насмешкой, глаз. — А что, вы торопитесь уйти? Поскорее оставить нас? Ведь вы только попали сюда. Или вам не терпится сразу побежать на Главную площадь? Что ж, милости просим, «Цирк-аттракцион» всегда, в любой день и час поджидает каждого, ждёт не дождётся. К этой площади стекаются все улицы в Городе. А сам «Цирк», точно паук, в центре. Так что торопитесь... — он постучал жёлтым ногтем по опустевшему стакану. — Пока вы храбры и ни о чём не догадываетесь. Ведь вы попали сюда почти по недоразумению, не так ли? — старик усмехнулся. — Лес, река, мост и опять лес. Это и называется: сойти с поезда в пункте Б, а на самом деле оказаться здесь, в Городе... — он замолчал, точно расхотел говорить, что до этого делал с такой явной охотой. На лице его ясно отразился отпечаток прежних, давно перебродивших страстей, отчего пожилой человек, желавший выглядеть докой, стал ещё более жалким и отталкивающим. — А ведь бывает совсем по-другому. Есть люди, которые всю жизнь только и думают, как бы им попасть сюда. Ходят по своим городам в надежде заблудиться, и всё никак не получается. И вот однажды они попадают сюда, спешат на Главную площадь, и вдруг в них что-то ломается, исчезает, они ненавидят себя за это, презируют, но ничего не могут с собой поделать. «Нет, — говорят они, — не сегодня, завтра». А назавтра всё повторяется. «Ничего, — думают они, — мы ещё успеем, обязательно успеем». И вот так проходят день, неделя, месяц, год. Вначале они просто живут, смотря по тому, сколько у кого денег. А потом находят себе работу, благо, в Городе всегда найдётся место для каждого. Они знакомятся с такими же, как и сами, горемыками, сидят в забегаловках, пьют вино. И с каждым днём, с каждым годом им всё труднее зайти в этот чёртов «Цирк-аттракцион». Им страшно. А жизнь их тем временем проходит...

— Это ваша история?

Старик вытряс на язык последние капли, разглядывая пустое донышко, хрипловато рассмеялся:

— Не торопитесь, молодой человек, пытаться судьбу, а если уж вам так не терпится поскорее сделать это, закажите-ка сначала нам ещё по стаканчику вина: себе — для храбрости, она вам понадобится, а мне — для успокоения души... Идёт?

Никогда и никто ещё не казался Александру таким отталкивающим, как этот старик в залатанном драповом костюме и выцветшей клетчатой рубашке, расстёгнутой на дряблой, обвязанной платком шее. Помутневшие от вина глаза старика смеялись. Первый раз за этот вечер он широко улыбнулся Александру: половина его зубов потемнела и, как видно, давно.

Не спуская с него глаз, Александр вытащил из кармана купюру, положил её на стол перед стариком и, не попрощавшись, надев шапку и запахнув пальто, вышел из питейной.

«Будь оно всё неладно — этот старый болтун, трактир, кислое вино, эти улицы», — думал Александр, шагая навстречу ветру, хватая ртом снег. Не надо было ему переходить мост. Нужно было вернуться. Ничего, он только посмотрит на здешний «Цирк-аттракцион», если он существует на самом деле, и сразу повернёт обратно. Только посмотрит — краешком глаза...

...Не сворачивая, он шёл по улице номер «24» — к центру Города, о котором ему только что поведал случайный сотрапезник...

Одна из улиц, которую он пересекал, неожиданно открыла ему совершенно иную картину Города. Это был широкий бульвар (именуемый «Бульваром рестораций», как свидетельствовала табличка на углу старого купеческого дома красного кирпича). Александру открылась только часть сего роскошного бульвара, полного весёлой музыки, гуляющих людей. Но и этого было достаточно, чтобы понять, где проводят свободное время наиболее жизнерадостные жители Города. Лимонный свет электрических фонарей здесь был повсюду. Как видно, развлекательные заведения на бульваре были открыты круглосуточно, а если и затихали на короткое время, то лишь под утро. Обрывки старых танго и фокстротов, пришедших сюда из того, оставленного за спиной мира, уносил зимний, полный колючего снега ветер...

А потом всё вновь изменилось: вдоль двадцать четвёртой улицы тянулись хмурые доходные дома, конторы... И уже очень скоро Александр увидел там, впереди, прямо по улице, на выраставшем широком пространстве — как видно, той самой площади, о которой говорил старик, — круглое исполинское здание. С жестяной, местами заметённой снегом крышей, оно было не освещено и походило на кочевой шатёр циркачей. Но только издалека. С каждым шагом оно становилось всё более нелепым, угрюмым и страшным, потому что было выстроено из серого камня, вросшего всей своей тяжестью в землю.

Ещё шагов сто — и Александр вышел на площадь, круглую, пустынную, заснеженную, в самой середине которой и стоял каменный саркофаг. «Цирк-аттракцион», — остановившись, разглядывая монументальное строение, отчего-то внушавшее трепет, прошептал Александр.

Да, «Цирк» существовал, и он был копией того здания, что было изображено рукой его деда — на холсте, стоявшем сейчас в невероятно далёкой от этого места гостиной. Александр не знал, что ему делать: немедленно повернуть обратно или... подойти к зданию ближе. У него было такое чувство, точно в середине этой круглой башни — деревянная плаха и топор.

Александр поёжился. На площади вьюжило. На открытом пространстве ветер казался резким, сильным, больно ранящим сухими иглами снега. Вокруг не было ни единой живой души. Не торопясь, он обошёл здание и остановился перед высокой центральной лестницей, поднимавшейся к парадному входу. Над дверями читалась гигантская надпись: «ЦИРК-АТТРАКЦИОН»... Поднимаясь по ступеням вверх, Александр оглянулся на шум: на другом конце площади медленно прополз автомобиль и сгинул в заснеженных кварталах Города. «Здесь, наверное, сейчас все спят, — подумал он уже перед самым входом. — И всё закончится тем, что заспанный сторож пошлёт меня куда подальше. И правильно сделает. Ведь сейчас...» Александр вскинул руку, взглянул на часы: до полночи оставалось десять минут.

...Перед ним была стена из стекла, сейчас — тёмная, потому что во всём здании не было света. Он подошёл к такой же тёмной стеклянной двери. Не было и звонка. Тогда Александр прижался лицом к стеклу. Там, внутри, был маленький коридорчик. Справа, куда падал свет одного из фонарей, стояла урна. Левее просматривалось что-то особенно тёмное, плотное... Это была фигура человека! И этот человек смотрел сейчас на него, Александра. И когда плотная тень ожила, двинулась к нему, Александр непроизвольно отпрянул. Тёмная фигура подошла к двери, отперла её... На пороге стоял некто в новом с иголки смокинге, при бабочке, с лицом бледным и печальным, почти что скорбным, но исполненным какого-то особого (как показалось Александру) знания, а с ним — лукавства и иронии. Он, этот некто, точно мог похвастаться, что был свидетелем жизни и смерти сотен поколений и на веку его ещё выпадет что повидать. Некто прищурился от ветра и снега, стремительно ударивших ему в лицо. Несмотря на это, на его губах появилась язвительная, не без тени снисхождения улыбка:

— Хотите войти, уважаемый?

За спиной Александра подвывал ветер, за воротник пальто и в рукава забирался снег. Так что же, его ждали? Здесь, сейчас, ночью? Ждали, чтобы препроводить в это тяжёлое, серое, похожее на колодез здание? Повести по тёмному коридору, начало которого приоткрывали

полураскрытые двери?... Пустой рот старика, рассказывающего небывлицы за стаканом красного вина, его усмешка мгновенно пронеслись перед глазами Александра. Что он должен был увидеть там, на арене или площадке, о которой ему говорил старый пьяница? И кто этот человек, разглядывающий его с таким самоуверенным любопытством, точно он, Александр, новый экспонат престранного, допустимого только в этом городе музея или, хуже того — подопытное существо, над которым позволительно производить самые невероятные и, возможно, жестокие, но такие необходимые науке эксперименты? И почему люди, живущие в Городе, боятся этой площади, «Цирка», даже те, кто долгие годы мечтал попасть сюда?

— Что же вы медлите, уважаемый? — весьма требовательно спросил человек в смокинге. — Хотите, чтобы я подхватил насморк? — приоткрыв дверь пошире (в эту секунду Александр едва сдержался, чтобы не отступить на шаг), человек расплылся в самой доброжелательной улыбке. — «Цирк-аттракцион» в вашем распоряжении, не сомневайтесь, — он насмешливо поднял брови. — Позвольте догадаться, ведь вы пришли сюда именно за этим, — он сделал ударение на последнем слове, — не так ли? Вы хотите увидеть, услышать, узнать? Так торопитесь, уважаемый...

Александр чувствовал, что хмель его давно вышел, а во рту остался только кислый привкус выпитого вина... И вдруг рядом с ним вновь выросла чудовищная пустота, что гоняла его по улицам того, старого, оставленного, брошенного им где-то мира. Пустота, вывернувшая знакомое, привычное ему измерение наизнанку, швырнувшая его сюда, на эти мостовые, к подножию серого здания цирка...

— Может быть, вы... — человек в смокинге прихватил себя за мочку уха, подался вперёд, — глухонемой? — казалось, он готов был жестиковать, лишь бы добиться ответа. — Я угадал?..

— Нет, я не глухонемой, — ответил Александр.

— Это уже кое-что, — похвалил его ночной страж «Цирка-аттракциона». — Так вы будете входить, уважаемый господин «Неглухонемой»?

Александр молчал.

— Ну же?

— Нет, — Александр отрицательно покачал головой, — простите...

— Вот это новость...

— Я бы хотел узнать у вас, где здесь ближайшая гостиница?

— Гостиница?... — казалось, человек был крайне изумлён подобным вопросом. Но только на мгновение. Оглядев Александра с головы до ног, с лёгкой тенью пренебрежения он спросил: — Ну, и какую вам: подороже, подешевле?

— Подешевле.

— Ну, если вам подешевле, — человек кивнул влево, — пять кварталов по 32-й, затем — налево, три квартала по бульвару Ста тополей.

На середине четвёртого будет недорогая гостиница «Чёрная курица». Стиль — модерн. Клопов нет. Всего наилучшего.

Под новым порывом ветра со снегом он уже хотел было закрыть дверь, но Александр окликнул его:

— Пойдите...

— Да?

— Скажите, что видят те, кто приходит к вам? Что... должен увидеть в вашем аттракционе я?

— В моём аттракционе? — человек крайне удивлённо уставился на Александра. — Откуда же я знаю, уважаемый, что вы должны увидеть в вашем аттракционе?.. Это уже совсем никуда не годится. Наша беседа затянулась, я стал замерзать. Всего наилучшего, до свидания.

И перед самым носом Александра он захлопнул дверь.

Александр плотно запахнул воротник пальто. Пустота, только что подкрававшая к нему, уже не просто стояла рядом, она забиралась внутрь, прерывая его дыхание, останавливая сердце, наливая слезами глаза.

«Господи, только бы не упасть, — думал он, — подняться сил у меня уже не будет. Я просто не стану этого делать, не захочу». Он умрёт от колкого снега, для которого и пальто не преграда, от осознания собственного одиночества здесь, перед каменным колодцем и его язвительным хранителем, среди этих улиц и незнакомых ему людей, под чёрным беззвёздным небом Города... Пошатнувшись, он отошёл от дверей «Цирка-аттракциона» и сейчас же услышал что-то, едва прорывавшееся сквозь подвывание ветра. Нет, он не мог ошибиться. Это были всхлипы, чьи-то рыдания. Но, может быть, всё же ветер? Откуда было взяться здесь человеческому голосу? Он прислушался вновь. Нет, это плакал человек. Женщина. Но где? Александр подошёл к краю лестницы, осторожно заглянул через перила. Теперь он ясно услышал сдавленные рыдания. Он перегнулся ещё сильнее... Там, внизу, в темноте, кто-то стоял. Он присмотрелся... Это действительно была женщина. Чёрная шубка до колен, пушистая шапка с хвостом, сапожки. Всё это почти сливалось со стеной и тенью под лестницей. «Кто она? Как здесь оказалась? Что случилось с ней в этот час, здесь, среди зимы, ветра и снега, если она стоит вот так — одна?» Александру вдруг захотелось окликнуть её. Но он не решился... Зачем он этой женщине? Что он знает о её несчастье? Чем сможет помочь ей? Ненужный самому себе, смилившийся... Нет, это удовольствие не для него... Он быстро сбежал по ступеням, едва не растянувшись на последней, выругался (отчего-то испугавшись, что его голос услышит плачущая у стены женщина) и торопливо зашагал в сторону улицы, указанной ему служителем «Цирка-аттракциона»...

Гостиница, в три этажа, и впрямь была построена в стиле модерн столетие этак назад. Не то чтобы здание было запущено, но кирпичный

фасад его выглядел довольно обветшало. Открывая тяжёлую деревянную дверь, Александр чувствовал, что продрог до костей.

Сразу на пороге квадратного холла, сняв перчатки, он принялся обивать с пальто снег. Никто не подбежал к нему, пытаясь помочь раздеться, никто не предложил пройти к конторке, сесть в кресло и подождать, пока имя гостя будут заносить в толстый потрёпанный журнал. Ничего этого не было. Поэтому Александру оставалось оглядеться. Всё здесь было убого и пристойно одновременно. В такие гостиницы, с тёмными коридорами и высокими потолками, забредают те, кто стремится спрятаться и чаще всего — от самих себя. Эти гостиницы — своеобразный отстойник. Здесь селятся люди, которые верят: когда-нибудь они переберутся в роскошный отель или того больше, займут собственный дом, и те, кому фортуна изменила раз и навсегда. Именно в таких гостиницах, в тесных дешёвых номерах, порой разыгрываются величайшие драмы, о которых так никогда и не узнать миру...

— Сколько же вы собираетесь прожить у меня: сутки, двое... или — дольше?

Александр оглянулся... (Нет, он не был удивлён: наоборот. Если бы его попросили описать хозяйку — именно хозяйку! — этого заведения, очень возможно, портрет, написанный его воображением, во многом был бы схож с оригиналом). Справа, у колонны, там, где и без того неяркий свет, расплывшийся по холлу от центральной люстры, совсем уже таял, стояла немолодая, крупных габаритов женщина в старом домашнем платье, с узлом седеющих волос на затылке. Она курила папиросу, заправленную в длинный чёрный мундштук. Держа его на тяжёлой пухлой ладони, сжимая почти всеми пальцами одновременно, хозяйка внимательно разглядывала клиента.

Снимая шапку, стряхивая снег, он пожал плечами:

— Как придётся.

Она понимающе кивнула.

— Пусть так. Вообще-то в это время дверь у нас уже заперта. Есть тут один весельчак, шляется по ночам на Бульвар ресторанов. Никогда не предупредит, чтобы я за ним заперла засов. Надо будет пригрозить, что прогоню его, если он и впредь будет продолжать в том же духе. Растяпа... Я вижу, вы замерзли. Проходите ко мне в конторку, сейчас я напою вас чаем с коньяком, а потом дам ключ от номера. Деньги-то, надеюсь, у вас есть?

— Есть, — кивнул он.

— Это хорошо. Зовут меня Елизавета Марковна. Всё, что вам нужно, чтобы поддерживать со мной хорошие отношения, так это вовремя платить за номер, — она каждый раз выдыхала дым в сторону, не сводя глаз с клиента, точно пыталась понять, что за птицу занесло в столь поздний час под её крышу. — Если вы любите выпить — пожалуйста, главное, чтобы это не мешало другим. Если вы захотите привести к

себе барышню с того же Бульвара ресторанов — ради Бога, но только чтобы потом у моих жильцов не пропадали вещи. Это я говорю не для того, чтобы обидеть вас, но чтобы вы знали тот порядок, которого я требую от всех жильцов... В общем вы мне кажетесь человеком симпатичным, — она кивнула вправо. — Конторка вон там, проходите...

Через полчаса, напившись чаю с коньяком, приготовленного ему Елизаветой Марковной, он открыл свой номер на втором этаже — небольшую уютную клетушку — и, едва скинув пальто, не раздеваясь, повалился на постель. Он чувствовал, что смертельно устал, что хочет спать и что первый раз за долгое время здесь, в гостиничном номере Города, несмотря на пустоту, не желавшую оставлять его, к нему вернулся покой...

Он проснулся к полудню и отправился бродить по Городу. Пару раз заходил в крошечные забегаловки, пил вино, курил, ел, правда, совсем немного. Главную площадь он избегал. Потом пришёл вечер. Он вернулся в гостиницу около полуночи, раскланялся с Елизаветой Марковной, курившей папиросу за своей конторкой, поднялся к себе...

То же самое повторилось и на следующий день.

Через неделю у него совершенно неожиданно кончились деньги. Номер оставался оплачен всего на три дня вперёд. Но одна мысль о том, что его могут выселить из этой чудесной конуры, с клетчатым одеялом на кровати, с прочными старыми порттьерами, шорохами и отголосками в коридоре, была чудовищной. В тот же вечер он страшно проголодался. Ему нестерпимо захотелось есть. А это, надо сказать, серьёзная штука. Но даже голод был не самым страшным наказанием. Не на что было купить сигарет и вина. Около полуночи Александр спустился вниз, отыскал хозяйку и попросил дать ему любую газету с объявлениями. Поглядев на постояльца, затушив окуроч в тяжёлой бронзовой пепельнице, Елизавета Марковна вытащила из верхнего ящика стола толстую газету, называвшуюся «Вечерний Город», раскрыла её почти наугад и положила на край конторки. Александр боязливо заглянул на одну из страниц и сразу отыскал глазами рубрику «Предлагаю работу». Он посмотрел на хозяйку, возившуюся за кассой. Та подняла голову, сказала:

— С недельку я разрешу вам пожить в долг. Вы мне нравитесь — а это уже много. Ну, а если вы играете в преферанс...

Александр пожал плечами:

— Играю. Может быть, не слишком хорошо...

— Тогда я даже разрешу вам задерживать квартплату. Правда, не слишком надолго...

Ему оставалось только улыбнуться.

В номере, усевшись в кресло, он жадно стал просматривать интересовавшую его колонку. И уже через полминуты с радостью подумал, что ему не придётся становиться должником Елизаветы Марковны. Объявление, вселившее в него эту уверенность, гласило: «Издательство «Омнибус» примет на работу опытного корректора с жалованьем...» И так далее. Сумма была небольшой, но обеспечить себе жильё в гостинице «Чёрная курица», а также завтрак, обед и ужин и скромную выпивку оно позволяло. Главным было то, чтобы его никто не опередил...

В девять утра он пришёл по означенному адресу, в десять с ним был подписан контракт, в половине одиннадцатого он получил подъёмные и сразу поспешил домой (о гостинице «Чёрная курица» он уже думал только так), чтобы, не откладывая, расплатиться с Елизаветой Марковной за две недели вперёд. По этому случаю хозяйка угостила постояльца коньяком и, обкуривая его папиросой, сказала, что рада за него. Потом он угостил её тем же коньяком, купленным в её баре. Совершенно случайно к ним присоединилась одна молоденькая женщина с третьего этажа, которую Елизавета Марковна ласково называла «Людочкой», а за последней — тот самый «растяпа», что, уходя по ночам из гостиницы, нетрезвый, забывал оповестить о том хозяйку. Он оказался симпатичным балагуром, с которым Елизавета Марковна тоже была ласкова, но время от времени грозила ему пальцем с тяжёлым серебряным перстнем. Так, четвером, они проговорили до полуночи. Единственное, о чём никто не заговаривал, так это о Городе, о том, кто и как попал сюда и сколько ещё — один день или всю жизнь — собирается прожить здесь. Александр поднялся к себе порядком захмелевший и, упав на убранную постель, ощущая в голове лёгкий гул, долго ещё смотрел на едва раздвинутые портьеры, за которыми спал под чёрным зимним небом Город...

Прошла ещё одна неделя, потом другая...

Обзаведясь нарукавниками (как-никак, а единственный пиджак стоило поберечь), с девяти утра и до пяти вечера он упрямо выковыривал лишние запятые, вставлял необходимые. Иногда он переписывал целые куски чужих текстов, делая это по собственной инициативе и очень добросовестно, на что его шеф — редактор, большой тучный человек, забирая широкой рукой печатные листы, многозначительно мычал и одобрительно кивал лысой головой... А тем временем мимо Александра проходили бесконечные сводки о событиях в Городе: театральные спектакли, меню дорогих ресторанов, происшествия, исчезновения. И всему этому он придавал законченность формы, «наводил последний глянец»...

О прошлой своей жизни он прочно забыл, и ничто не напоминало ему о ней...

Однажды в конце зимы, за бутылкой коньяка и картами, обкуривая его своими неизменными папиросами, Елизавета Марковна неожиданно спросила:

— В тот вечер, Саша, ну, в ту ночь, когда вы открыли дверь в мою гостиницу, весь в снегу, замёрзший, вы пришли... с площади?

Александр кивнул:

— Да.

— И в этот же день вы попали в Город?

Он вновь кивнул.

— Вы поднялись по ступеням, подошли к дверям, навстречу вам вышел тот человек...

— Именно так и было, — удивлённо глядя на хозяйку, проговорил он.

— А вы знаете, Саша, ведь он не стареет, тот человек...

— Не стареет?

— Представьте себе.

Александр положил карты на стол, взяв со стола пачку сигарет, закурил.

— Но... почему?

Не сводя с него глаз, Елизавета Марковна пожала плечами:

— Откуда мне знать. Он всегда одинаков. Долгие годы... Долгие...

— Я тоже думал о нём. И не раз... Кто он?

— Этого я тоже не знаю. Впрочем лучше не знать этого никому. Мне так кажется, — собрав карты на ладони, она рассеянно посмотрела в сторону. — Говорят, городской голова — копия человека из «Цирка-аттракциона». Правда, его видели единицы. А может быть, его, этого головы, вообще нет? — хозяйка с улыбкой посмотрела на постояльца и пренебрежительно махнула тяжёлой пухлой рукой. — Да и мне, если говорить честно, всё равно.

Она выпила махом полную рюмку коньяка, зажмурившись, кивнула:

— В этом Городе главное — не забыть о самом себе. Ворота, которые неожиданно открываются нам в том, трижды проклятом мире, ворота, ведущие сюда, это всё не просто так. Ах, Сашенька, это значит, что каждый, попавший сюда, должен помнить: у него есть шанс. Но не осесть в этом городе — хозяйкой гостиницы, парикмахером или кем-то ещё... У него есть шанс на возвращение, но совсем другим. Потому что тот, трижды проклятый мир, он ведь родной нам. А всё, что происходит здесь, в Городе, — я не знаю, как это назвать. Не знаю... Стоит только отважиться, войти в этот чёртов гроб. А это страшно. Страшно, прожив всю свою жизнь заново, увидеть себя таким, каким ты никогда себя не знал. Провалиться в колодец...

— Мне уже говорили о колодце...

— В Городе никто не пытается друг друга, что с ним было там — в «Цирке». Но о колодце я слышала и немало. Это очень страшно.

Смерть, думаю, в сравнении с этим — так, жалкий пустяк... — Елизавета Марковна закурила новую папиросу, тяжело затягиваясь, выпуская через крупные ноздри сизый плотный дым. — Есть только одно извинение тем, кто ждёт, ждёт в этом городе своего дня. Того дня, когда он смело сможет войти в «Цирк-аттракцион»... Понимаете, Саша, некоторым выпадает счастье попасть туда не одним...

— То есть как — не одним? Я вас не понимаю...

— Это трудно объяснить... Простите, что заговорила об этом. Вы привлекательный, умный мужчина, а живёте затворником, часами болтаете по вечерам со мной, старухой. Играете в преферанс, в покер. Выпиваете. Невелика радость! Не думаю, чтобы ваша жизнь всегда была такой. Дело, наверное, в женщине...

Опустив глаза, он уставился в свою рюмку.

— Может быть... Но вы, Елизавета Марковна, говорили о том, что некоторым выпадает удача войти в «Цирк-аттракцион» не одним... Войти — с кем?

— А с кем бы хотели туда попасть вы, Александр?

— Я?.. Не знаю.

— Нет?

— А может быть, и знаю. Но не верю, что такое может случиться...

Его собеседница покачала головой:

— Бойтесь — не верить. Я тоже когда-то знала и не верила. Когда-то... Но это было давно. Так давно, что я уже стала забывать об этом...

— И ещё, Елизавета Марковна, я слышал... — он запнулся.

— Да?

— Я слышал, что «Цирк-аттракцион» — это не последнее, что может уготовить Город тем, кто живёт в нём... Это правда?

Елизавета Марковна подняла на него глаза:

— Кто вам рассказал об этом?

— Один старик... Я бы сказал так: неприятный старик.

— А в этом Городе нет приятных стариков, Саша, — печально усмехнувшись, она посмотрела в глаза своего постояльца: — Так-то.

— И всё-таки вы не ответили на мой вопрос.

— Ваш старик был прав. Это коварный Город. Не знаешь, чего от него ждать. Он даёт и он же отнимает. И делает это жестоко. Иногда самая незначительная мелочь способна оказаться роковой. Что же до того, что может случиться после «Цирка-аттракциона»... Да, некоторые боятся именно этого. В «Цирке-аттракционе», говорят, только начинают пытать ваше сердце. Но обо всём этом я знаю лишь понаслышке, — окутав себя и своего постояльца дымом папиросы, она вновь грустно улыбнулась ему: — Как и все здешние старики... Ладно, Саша, пора нам закрывать нашу лавочку и отправляться спать. Вы согласны?

Он кивнул:

— Действительно, пора.

Глава третья

Нвот распахнулись снега, на долгие месяцы сковавшие Город, и пришла весна. В первых мартовских днях Александра застало повышение в редакторы, а следом — в помощники главного редактора, где ему приходилось трудолюбиво преобразовать чужие, не всегда талантливые творения. К нескрываемой радости старшего редактора, свалившего с себя целый воз работы, Александр выполнял свои обязанности с виртуозностью мастера. Что и говорить — его жалование повысилось почти втрое. Наконец-то он мог позволить себе жить на более широкую ногу, чем прежде. Он приобрёл два костюма — тёплый, из чистой шерсти, и летний. Встретив его в первом, Елизавета Марковна одобрительно покачала головой. «Экий вы франт, — сказала она. — Ещё немного, и вы съедете из моей гостиницы. И мне не с кем будет играть в префепанс...»

А тем временем в окна редакции уже вползал терпкий запах сирени...

Александру надоели маленькие забегаловки, где он прятался от чужих глаз. Теперь днём он обедал в издательстве, а по вечерам, вначале боязливо, но потом уже смело, стал заходить в заведения на Бульваре ресторанов...

А по Городу разливалось лето — горячее, обжигающее, до самого вечера огненными полосами выстилавшее полы, выжигавшее посуду и скатерти ресторанов. Что до летних вечеров, то они были так хороши, так умеренно теплы и ласковы, что за эту их снисходительность можно было запросто простить слепополуденное пекло. Но прошёл ещё месяц, другой — и над Городом сошлись облака, и вот уже днями напролёт лил дождь, и водосточные трубы гудели, как медные трубы исплинского органа. А потом куда-то канул и этот дождь, и с ворвавшимся в Город солнцем, уже холодным, на деревья бульваров и улиц, парков и садов легла пронзительная осенняя желтизна...

Долго выбирая, Александр в конце концов остановился на одном заведении — ресторане «Зимний павильон». По вечерам он с каким-то особым удовольствием входил в светлые двери этого ресторана, сдавал в гардероб плащ, шляпу, трогал волосы расчёской, а следом ладонью — виски. Он проходил через зал, к полуночи превращавшийся в танцевальную площадку, к барной стойке. Для начала он заказывал что-нибудь полегче, к примеру, сухой мартини; перекидывался парой слов с барменом, разглядывал медленно стекавшуюся публику, слушал, как мурлычет в углу фортепиано. Но чаще он садился за свой столик «на одного», в самом дальнем углу, и пил коньяк. Кое-кого он уже знал в этом заведении, но сходить близко ни с кем не помышлял. Впрочем здесь до него никому не было дела, и Александр только радовался этому...

Конечно, он мог бы съехать из «Чёрной курицы», позволить себе более достойное жилище, но не хотел этого делать. Он возвращался в гостиницу как к себе домой. Да, впрочем, она и стала его домом. Он уже действительно не представлял себе субботних или воскресных вечеров без преферанса с Елизаветой Марковной за рюмкой недорогого коньяка, не представлял, как может обойтись без удушливого дыма её папирос...

...Так проходила осень. Однажды, когда снег ещё не успел выпасть, когда солнце было холодным и ярким, леса — пусты, Александр оказался на окраине Города. На той его окраине, куда он вышел давным-давно (как казалось ему теперь). Что-то вдруг бросило его сюда: он ходил по голым лесам, по незнакомым просёлочным дорогам, точно искал один только путь — назад. Многое было похоже на то, что он уже видел раньше. Ему казалось, что он узнаёт в речушке, уныло тянувшейся за Городом, ту самую речку, которую ему пришлось перейти. Но через неё почему-то не было моста, в какую сторону ни иди... Ему хотелось увидеть только краешек того мира, откуда он пришёл. Какой-то человек предложил перевезти его на лодке, обещая подождать, и он согласился. Он отчасти боялся, что мир вновь перевернётся под его ногами, обманет его. Но вместо этого — время от времени — из открытых небес высыпалась алмазная пыль, вбирая в себя всё солнце и ослепляя его — путника, беглеца — сбивая с пути, вселяя в сердце восторг и неизведанную ранее звенящую грусть. И, забыв обо всём, ему уже хотелось бегать по этому полю и подставлять ладони, надеясь поймать хотя бы горсть этого золота. А потом оно исчезало, и он вспоминал, зачем здесь. И опять боялся обмана. И в глубине души не верил этому. Полдня он ходил по другому берегу реки, но там было всё то же продолжение осенних полей и сбросивших листву, опустевших лесов...

В тот день он вернулся в гостиницу по колена в грязи. Уставший, едва переставляющий ноги, но с новым чувством, позволившим ему смотреть на всё иначе. Вернулся с лёгким головокружением, предощущением необыкновенного. Елизавета Марковна, оглядев своего лучшего постояльца, только снисходительно покачала головой и, закулив папиросу, даже не подумала предложить ему партию в преферанс.

...Первый снег выпал и растаял, не оставив по себе и следа, за ним были второй, третий. Они медленно завоёвывали Город, выстилая путь для уже торопившейся сюда зимы. Она остановилась у стен Города, а потом — ледяной волной бросилась на его стены, смела остатки сохранившегося от давно убежавшей прочь осени тепла, покатила по улицам ледяными ветрами. И вот в конце декабря Город уже лежал под снегом, и вьюги истово сторожили владения своей царственной госпожи. И небо над Городом было таким чёрным и беззвёздным, что боязно было поднимать голову и смотреть вверх. Точно вот-вот земля и небо

покачнутся, поменяются местами, и ты, оказавшись у края чёрного ко-
лодца, беспомощно взмахнув руками, полетишь вниз головой...

Теперь Бульвар ресторанов по вечерам расцветал особенно ярко. И без того расточительный на неон, он буквально сиял. Ему помогал снег: жадно впитывая в себя цветные огни, играя с ними, он отражал свет, рассыпая его ослепительным фейерверком вдоль всего бульвара и разнося золотую пыль далеко за его пределы — на прочие, скучные улицы Города...

...В тот вечер, входя в «Зимний павильон», раздевшись, Александр привычно остановился перед зеркалом, оглядел себя с головы до ног. И, надо сказать, остался доволен увиденным. Затем он прошёл в залу и, по обыкновению, направился в сторону барной стойки. Сейчас он сядет на табурет, четвёртый слева, закажет что-нибудь покрепче (в этот зимний вечер он поступит именно так), перебросится двумя словами с барменом. С кем-то обязательно раскланяется. Поймает на себе взгляд одной из тех дам, что приходят сюда пить и танцевать. Они уже знают, что он не танцует, поэтому не станут донимать его понапрасну. Они могут рассчитывать только на его улыбку, которая, как пить дать, покажется им скупой. Но в Городе не принято давать кому-то оценки, обижаться на кого-то. Никто никому не досаждают. Здесь каждый волен вести себя так, как он хочет. Всё происходит строго по неписанным правилам. Здесь умеют читать по глазам. Здесь каждый имеет право на одиночество. И слава Богу.

Словом, всё будет как всегда...

Однако, уже принимая у бармена свою традиционную порцию коньяка, он почувствовал, что сегодня что-то изменилось. Многое. Главное. Но — что?..

За одним из столиков «на двоих», спиной к плотной портъере, закрывающей окно, сидела женщина. Она была молода и хороша собой. Коротко стриженные тёмные волосы, чёрное платье по тонкой фигуре, голые плечи и руки; она упиралась локтями в стол, держа в сцепленных пальцах круглый, как капля, бокал, прижимая его ободком к нижней губе. Женщина сидела неподвижно и смотрела перед собой. Александр, сидевший вполоборота на табурете, рассматривал её с непонятным ему трепетом, но безбоязненно, потому что был уверен: взгляд женщины, мысли сейчас очень далеки от окружающих её людей... Там, за дальним столиком, в полумраке, вся она походила на пастельный рисунок, чуть тронутый мокрой кистью.

Александр наконец заставил себя отвернуться, опасаясь, что его внимание к незнакомке, слишком неприкрытое, может быть расценено как вопиющая бестактность. Вспомнив, что в его руке бокальчик с коньяком, он сделал пару глотков. Нет, он никогда не был робким, но сейчас почему-то боялся вновь посмотреть в ту сторону...

«С чего я взял, что имею право навязывать себя этой женщине, мешать её одиночеству — в этом-то городе? Если бы она была весела, если бы я увидел, что она ищет глазами того, кто пригласил бы её потанцевать, может быть, тогда...» Но вдруг сейчас она встанет за его спиной и выйдет из ресторана — в ночь, в снег, исчезнет, оставив ему только призрак своего недавнего присутствия? Может быть, положив деньги на стол, она уже встаёт за его спиной и направляется в гардероб?.. Он обернулся, быстрее, чем ожидал сам. Нет, женщина сидела за тем же столиком, полная ведомого только ей одной одиночества, чужая всему, по-прежнему держа в сцепленных пальцах круглый бокал, бессознательно глядя туда же — в стеклянную витрину бара... И тогда он вдруг понял, что пустота и отчаяние, глумившиеся над ним, окажутся ничем в сравнении с несчастьем пройти мимо этой женщины, не заговорить с ней. Когда-то он думал, что потерял в жизни очень многое, может быть, всё. Нет, он ошибался! Только теперь он мог потерять всё. Только сейчас, побоявшись встретиться с ней глазами, коснуться её жизни, он готов был испытать всю полноту одиночества. Или... попытаться обрести нечто, на что не мог надеяться, в чём отказал себе давным-давно?

Он сделал несколько торопливых глотков, встал, обернулся. Чувствуя себя так, точно все сидевшие в ресторане должны были стать свидетелями чудовищной нелепости с его стороны (хотя ровным счётом никто не обратил на него внимания), Александр направился к её столу...

— У вас не занято? — спросил он внезапно севшим голосом и тотчас же подумал, что если она ответит ему отказом, прогонит его, жизнь наконец-то перестанет иметь для него ту самую незначительную ценность, которую он ещё придавал ей, что он просто-напросто умрёт — тут же, на этом паркетном полу ресторации «Зимний павильон». И для него это будет лучшим исходом. В эти несколько мгновений, ощутив вдруг, сразу, как он устал, вымотан, выжат, Александр захотел именно этого — избавления...

Подняв глаза, женщина посмотрела на него рассеянно, точно не сразу расслышала вопрос. Поставив бокал на стол, сказала:

— Нет, не занято.

— И я... могу сесть?

— Садитесь.

Теперь пальцы её рук переплелись на скатерти, касаясь ножки бокала. Помедлив, Александр сел. От сердца вдруг отлегло. Ему стало необыкновенно покойно. Всё, терзавшее его с той самой минуты, как он увидел эту женщину, — здесь, где теперь сидел сам, — улеглось. Он был счастлив. Но боялся поднять глаза: ему казалось, что этим он может оскорбить женщину, что она тут же встанет и уйдёт. И тогда счастье его в одно мгновение рухнет. И он больше никогда не вернётся в издательство «Омнибус», не станет исполнять свою унижительную работу, не

будет обедать в издательском ресторане, покончит с утренним бритьём. Он просто заперётся в своём гостиничном номере и не откроет даже на стук Елизаветы Марковны. Он просто не выйдет оттуда никогда... Он боялся поднять глаза и поэтому видел только руки женщины — матовые, точно восковые, с длинными ухоженными ногтями. Её руки были, пожалуй, излишне художавы, но удивительно правильная форма скрывала это, делая их просто изящными, тонкими. В этих руках была грусть и нежность. И ещё в них было столько одиночества, что Александр едва сдержался, чтобы не дотянуться до них, не сжать её пальцы...

— Мне кажется, вы очень несчастны, — поднимая на него глаза, проговорила женщина и тут же рассеянно улыбнулась: — Простите.

— Вы правы, — ответил он (его собеседница в эту минуту снова смотрела на содержимое своего бокала). Теперь он не мог оторвать взгляда от её открытых, таких же матовых, как и руки, хрупких плеч. — Вы правы, я несчастлив.

— Почему вы сели именно ко мне?

— Не знаю... Я только вошёл, увидел вас... Вы единственная женщина, не показавшаяся мне чужой. А ведь я долгое время приходил сюда. За многими наблюдал...

— Вот как... Вы всегда так откровенны?.. Или... это просто ваш способ обольщения? — она пожала плечами. — Ещё раз простите, я сказала глупость, — и следом, точно в подтверждение своих слов, кивнула. — Я вижу, всё, что вы говорите, искренне. Правда...

— Но я действительно искренен.

Она снова кивнула. Они замолчали. Наконец Александр обнаружил, что его коньяк давно выпит. Женщина, напротив, держала свой бокал в руках и даже не думала пригубить напиток.

— Ваш коньяк... Вы не пьёте, почему?

— Мой коньяк... — она подняла бокал и, точно в ответ на замечание, выпила всё его содержимое — несколько глотков — разом. Сморщилась и следом спросила: — У вас есть сигарета?

— Да, конечно.

Она взяла из протянутой пачки сигарету, чуть потянувшись к огню зажигалки, выстрелившей в его руке лёгким пламенем.

— Александра, — выпуская дым тонкой струйкой, чуть откинув голову, представилась она. — Можно просто Саша.

Прикурив следом, он улыбнулся:

— Александр.

— Надо же... Ну, а просто Сашей, выходит, нельзя?

— Можно. Я буду очень рад.

— Нет, пусть кто-нибудь остаётся Александром. И пусть это будете вы... Расскажите мне о себе.

Он не ожидал такого вопроса. Рассказать о себе? Но что он мог рассказать о себе? Он не совершал кругосветных путешествий. Не во-

евал. Он жил, как живёт большинство людей, умеренным эгоистом. Жил одним днём. Часто — весело. В тридцать три встретил женщину, которая сумела убедить его, что настоящая жизнь — это вовсе не то, что он думал раньше. Он всем сердцем поверил ей. Это были лучшие дни, недели и месяцы, которые он прожил в этом мире. А потом он потерял её. Теперь он опять живёт одним днём, но уже по-другому...

— А как вы потеряли её?

— Она умерла... Погибла.

— Простите ещё раз.

Он поднял на неё глаза:

— Вы... здесь давно?

Заглянув в пустой бокал, она грустно улыбнулась:

— Кажется, всю жизнь... Сама не знаю, год — это много или мало? Живу и всё. На окраине. Коротая вечера. Точно так же, как коротают вечера многие в Городе, — она постучала ногтем по опустевшему бокалу. — Это вы хорошо придумали: напомнить мне о коньяке. Стало теплее. Спасибо.

— Не за что... Если хотите, мы можем повторить?..

Саша пожала плечами.

— Давайте.

Через пять минут он вернулся на своё место. Саша пригубила коньяк. Он отпил сразу добрую половину.

— Если говорить честно, Саша, вы тоже не показались мне очень счастливой.

Остановив на нём взгляд, пожав плечами, точно речь шла о чём-то естественном, она кивнула:

— Представьте себе, так оно и есть...

И опять он увидел её руки: несмотря на молодость, они были уставшими, безразличными ко всему. Точно разуверившимися в том, что кому-то может понадобиться их теплота, нежность... И тогда, повинаясь импульсу, Александр посмотрел на свои пальцы и вспомнил голod своих рук, проснувшийся не сразу, однажды, когда он захотел — не во сне, наяву — прикоснуться к Жене, к её лицу, волосам и не мог этого сделать... И теперь, глядя на хрупкие руки женщины, прекрасные, полные неизвестной ему беды, он переживал за них.

— А вы думаете, Александр, в этом Городе есть счастливые люди? — продолжала Саша. Она с сомнением покачала головой. — Представьте, нет. Счастливые остались там, в том мире. Счастливые — кто грехом, кто праведностью... Город собирает несчастных. А вот кто и как распорядится своим несчастьем — это уже другое дело, — она грустно улыбнулась ему: — Этот Город собирает тех, кто ходит по тёмным улицам того, другого мира, прежнего, надеясь только на одно: однажды не узнать своих улиц, домов, скверов и оказаться там, где... Ну, в общем, там, где оказались мы.

— Так было с вами?

— Да, так было со мной. Я ходила ночами напролёт по знакомым улицам, закрывала глаза, натыкалась на случайных прохожих, — она улыбнулась ему, — извинялась. Сто тысяч раз называла себя дурой. Я уже было отчаялась, решила смириться. И вдруг — оказалась здесь. И вот теперь обхожу Главную площадь стороной, шарахаюсь от неё, как ребёнок от тёмного угла, из которого его однажды жестоко и глупо напугали. Бегу от того единственного, к чему так стремилась...

— Вы тоже боитесь увидеть там нечто?

— Вот именно: нечто.

— Что, возможно, ломает вас, разорвёт ваше сердце?

Вздохнув, она покачала головой:

— Как вы думаете, Александр, трудно в считанные мгновения прожить всю свою жизнь? И не заново, как хотелось бы, а так, как ты её уже прожил? Увидеть в эти мгновения то, чего в жизни не хотелось замечать, о чём не хотелось думать — свою глупость, злобу, коварство. Наконец, предательство по отношению к человеку, который любил тебя и которого любила ты. И быть не слепым и глухим в эти минуты, но смотреть, слышать, осознавать каждый свой шаг... Это ли не ад?

Она сделала большой глоток коньяка, опять взяла бокал в обе руки. Слушая её, он разминал в пальцах сигарету — долго, так, что из неё стал высыпаться табак.

И вдруг проговорил:

— Да, ад... Подумать только, вся жизнь — несколько шагов. Иногда даже кажется, что это шагаешь не ты, а совсем другой человек. Потом проходит время — и ты почти убеждён в этом. Да, другой человек. Сам ты никогда бы не решился сделать именно этот шаг... Знаете, Саша, закрываю глаза и вижу: знакомые улицы — уже полузабытые, дома, бульвары, парки. Город детства, — он на самом деле закрыл глаза, чуть заметно улыбнулся. — Огромный город. Красивый. Полный загадок. Потом четырёхэтажное здание — школа. Гул в ушах превращается в голоса ребят и девочек, в свист, вопли, в шум проезжающих за школьной оградой автомобилей... — открыв глаза, он встретил её внимательный и отчего-то взволнованный взгляд. — Через школьный двор идёт девочка с портфелем, — не отпуская глаз Саши, он торопливо достал зажигалку, прикурил. Выдохнул дым. — Нескладная, она припадает на левую ногу, изо всех сил старается не хромать, но от этого её походка получается ещё более нелепой, противоестественной. Из крикливой компании выскакивает мальчишка, пристраивается шагах в пяти позади девочки. Он идёт за ней следом, в точности повторяя её движения: неловкие, некрасивые. С той лишь разницей, что по-шутовски ещё сильнее припадает на левую ногу... Несколько лет спустя об этом говорила вся школа: Верочку Кашину возили к знаменитому хирургу на другой конец страны, этот врач превратил её из калеки в полноценного

человека... Но тогда, под разрастающийся смех ребят, так и не сумев дойти до школьных дверей, она обернулась. Мальчишка увидел её глаза — большие, мокрые, в них было столько отчаяния, что его сердце, едва только начавшее взрослеть, больно сжалось. Он перестал слышать смех и улюлюканье, остановился. На секунды. Но он не хотел спасовать перед сверстниками, не хотел расстаться с улыбкой заводилы. Но, поверьте, Саша, ему трудно было улыбаться... Вот он — первый шаг. А потом — второй. Можно закрывать глаза, можно нет. Разницы, собственно, никакой... Коридоры больницы. Тот же мальчишка, только уже взрослый, ему — двадцать. Он идёт с матерью по этим коридорам, идёт быстро. Во всём окружающем чудовищное, почти невыносимое напряжение. Хочется миновать то, что должно случиться. Сбежать. Впереди двери с матовыми стёклами, они ведут в очередной коридор. Мать — бледная, потерянная. Останавливается, садится на кожаный топчан. «А может быть, только ты пойдёшь туда?» — спрашивает парень. «Там твой отец, — отвечает мать, — ему, возможно, осталось жить несколько часов...» Он отворачивается... Вчера вечером его отец не пришёл домой. Человек, который, никогда не выдавая ему, этому мальчишке, своих чувств, жил им... И вот вчера он не вернулся. Только под утро им позвонили домой и сказали, что подобрали мужчину лет шестидесяти с тяжёлой формой инсульта. Вначале подумали, что этот огромный человек, лежавший на тротуаре, пьян, но потом... К утру в дежурной больнице, куда его привезли, медсестра по едва шевелившимся губам неподвижно лежавшего человека смогла понять, что тот пытается сказать ей адрес и телефон... И вот теперь они с матерью были здесь. И он, этот парень, всегда смелый, отважный, задира, боится войти туда... — опустив глаза, Александр прикурил новую сигарету от окурка. — Он всегда видел отца здоровым и сильным. И вдруг увидел другим. Совсем другим. Перед ним на кушетке, даже не в палате — в коридоре, лежал человек. Седая щетина, пустые глаза, полуоткрытый беспомощный рот. Он помнил, как плакала мать, как держала тяжёлую, вытянутую вдоль туловища руку отца. Он помнил, как сам боялся подойти, боялся коснуться его... Днём он уехал в маленький областной городишко (так, три часа на электричке). На свадьбу к армейскому другу. Он знал, что не должен был этого делать, не имел права оставлять отца в больнице. Оставлять в сознании: тот всё понимал или почти всё, но не мог сказать ни слова. Просто лежал с пустыми несчастными глазами и смотрел в белый потолок коридора, от одного вида которого можно было тяжело заболеть. И всё-таки он уехал. И виной тому была даже не отведённая ему роль шафера. Просто ему была нужна та женщина, — Александр утвердительно кивнул. — Тогда она была очень нужна ему... За несколько дней до несчастья, случившегося с отцом, его приятель, жених, заехал к нему со своей невестой и её подружкой... Это была будущая свидетельница, Марианна. Жених и невеста называли её коротко: «Мери». Ры-

жеволосая, весёлая, остроумная. Вызывающе обольстительная. От одного её взгляда стыло в животе. Едва увидев её, он понял: эта женщина должна принадлежать ему. Предположить обратное было мучением. Наказанием. Физической болью. Он хотел просить её остаться. Но... не решился. Хотя она наверняка не отказала бы ему. Был даже мимолётный план: снять для них в одной из городских гостиниц номер. Просто они договорились встретиться через два дня. На вокзале она поцеловала его в губы, поцеловала так, точно он уже был её любовником. И вот в электричке, привалившись к дощатой спинке сиденья, он тупо смотрел на пролетающий мимо осенний пейзаж. Он всё-таки поехал в этот чёртов городок на чёртову свадьбу, поехал потому, что там должен был оказаться ещё один их приятель — Васька Синельников по прозвищу «Кот». Он знал наверняка: если самого его на этой свадьбе не будет, Мери достанется Коту. Это было ясно до какой-то почти физической боли. Просто Кот умел смотреть на женщин точно так же, как смотрела на мужчин Мери. Как она посмотрела в день их знакомства на него... С Марианной у него всё получилось. Иногда ему даже удавалось забывать о том, что он оставил в своём городе. Но чаще он помнил об этом. И в первую очередь даже не больного отца, но мать. Она так и не сумела понять его отъезда. И никогда, если забежать вперёд, не простила ему этого. И теперь, в отведённой им с Мери комнатке, как заклинание он твердил себе: всё будет хорошо. Не о чем беспокоиться. Всё обойдётся. Потому что не может быть иначе... Он остался в том городке и на второй день. Но с каждым часом ему было всё страшнее... Вернувшись, он узнал, что отец умер вечером того дня, когда они с матерью отыскивали его в больнице. Там, на окраине города, в том злосчастном коридоре. Почти до последней минуты отец был в сознании и мать держала его, все эти часы так и пролежавшего неподвижно, за руку...

Александр замолчал. Опрокинул остатки коньяка, покачал головой. Он не поднимал на Сашу глаз, точно боялся этого.

— И что же было дальше? — тихо, едва отважившись нарушить его молчание, спросила она.

— Дальше? — Александр усмехнулся. — Он возненавидел город, в который ездил, рыжую Мери, у которой впоследствии был короткий роман с Котом, на что ему уже было равным счётом наплевать. Он возненавидел многое, а о себе как-то забыл. Наверное, простил... Вот и второй шаг. А за ним — третий. Встречаешь женщину, прекрасную женщину. Уже знаешь наверняка: она всё, что на самом деле тебе нужно. Но у тебя не хватает ни сердца, ни души, чтобы удержать её... И вот однажды тебе, уже взрослому человеку, хочется найти девочку-хромоножку, взять её портфель, вытереть своим платком её глаза, уберечь ото всех насмешников-сверстников, глупых в своей детской жестокости. К тому времени ты уже понимаешь, что вся твоя жизнь — это длинная цепь поступков, которыми ты причиняешь боль тем, кто тебя

окружает, и в первую очередь — людям близким, часто — беззащитным. Цепь поступков, которыми ты, всегда считавший себя «человеком в сущности неплохим», искренне веривший в это, не только отнимаешь часть жизни у этих людей, но отбираешь у них привязанность и любовь к себе. Добровольно лишаешь себя самого необходимого в жизни. И потом ты чувствуешь настоящий страх. Потому что тебе хочется вернуться к отцу — когда он ещё жив, пусть этой жизни осталось всего несколько часов. И ещё тебе хочется вернуть ту, которая поверила тебе, увидела тебя другим. Не жестоким, циничным, упрямым, немилосердным; любящим только себя самого или вообще никого, — он покачал головой. — Совсем другим... Я, Сашенька, никому об этом не рассказывал, даже самым близким. Вам — скажу. Мы поругались, и не по мелочи, как ругаются любовники, и как думали самые близкие наши друзья, а очень сильно. Если можно так выразиться, до крови. Всё было слишком хорошо. Точно нам испытание понадобилось. А к нему я готов не был. Там, за границей этого мира, я работал редактором крупного издательства. Был настоящим профи. Уважаемый руководитель, обеспеченный человек. Мы решили напечатать альбом молодого художника, очень одарённого, тонкого. Я готовил альбом лично. Когда он был издан, первый экземпляр я презентовал жене. Но по её лицу понял, что она не в восторге. Несколько замечаний с её стороны — и я превратился в ежа. Тогда для меня это была точно пощёчина. Слишком много вложил я в этот альбом сил. Я сказал: «Что ты в этом понимаешь? Учи своих бездарей в школе, а я буду издавать книги». — «Ты ведь хотел узнать моё мнение?» — спросила она. «Больше не хочу», — ответил я. Помню, она побледнела, промолчала. Наша размолвка превратилась в затяжной недуг. Мы точно растили опухоль. Пару раз она пыталась поговорить со мной, сказать, что хороша эта книга или плоха — факт ничтожный в сравнении с нашими чувствами друг к другу, но я был неприступен. Меня мучила уязвлённая гордыня. А всё потому, что я вдруг понял её правоту. Единственное, что было хорошего в этом альбоме — сами картины. А всё остальное — чересчур помпезно, вычурно, громоздко. Одним словом — дрянь. Но я в этом не признался. С того дня моя позиция стала моей крепостью. «Я тебя не узнаю, — сказала она. — Точно целый год прожила с другим человеком». Закончилось всё моим ледяным резюме: «Я искал женщину, которая разделит мои убеждения. Вижу, я ошибся». В какой-то момент мы всё-таки сумели сдержаться себя. Но чёрная кошка пробежала между нами. Мы оба чувствовали это. В конечном итоге я предложил устроить пикник на берегу озера. Она согласилась. Мы собирались молчком. Молча ехали. «Как быстро ты забудешь меня, если я умру?» — уже по дороге, в машине, вдруг спросила она. «Ты не умрёшь ещё лет пятьдесят как минимум, — ответил я. — Меня похоронишь. Если мы будем вместе». Страсти ещё кипели. В первую очередь — во мне. «А можем быть не вместе, да?» —

спросила она. Я не ответил. Она выпила вина больше обычного. Я нарезался коньяка. Потом она просто полетела по этому льду, кружась, разбросав руки, задрав голову. «Будь осторожнее», — бросил я вслед. Решил опрокинуть ещё рюмку. Дальше — хруст льда, отчаянный крик. Я два раза упал, пока бежал к ней. Полз на брюхе, хватал её пальцы. Лёд ломался. Я сам едва не очутился в полынье. Её глаза... Она кричала, голос стал срываться на хрип. Я тоже кричал, звал на помощь, оглядывался назад — на дорогу. Её руки — холоднее льда. Они стали неловкими, как сучья. А лёд всё ломался, и я отползал назад... Даже не помню, когда её не стало в этой чёрной воде. Только крошка. Лежу и смотрю на качающийся в полынье лёд. Ничего нет. Пустота... И только потом, когда, очолев, брёл к машине, я наткнулся на длинную ветку. Она бы могла помочь мне спасти жену. Я даже вернулся с этой веткой к полынье, разгребал ею ледяное крошево. Я представлял, как она хватается руками за эту ветку и я тащу её к себе. Как, превратившуюся в ледышку, я везу её домой, отогреваю... — Александр горячо растёр лицо рукой, покачал головой. — Но до чувства потери было ещё далеко. Это был шок. Как смертельная рана, полученная на поле боя. Только потом соображаешь, что тело твоё искалечено, ты истекаешь кровью и жить тебе осталось несколько минут.

Саша смотрела на него, не отрываясь. Она ждала.

— И вот наступает день, когда тебе во что бы то ни стало хочется вернуть ту, которую ты потерял, — сказал он. — Это твоё единственное желание. Вернуть любой ценой. Пусть ценой собственной жизни. Но этого ты сделать уже не можешь. Всему на свете есть свой час. Например, понять, что рядом с тобой — чудо, дар Божий. И всё, что нужно, — не упустить его...

— Вы правы, — едва слышно пробормотала она, сжимая в руках пустой бокал, — всему на свете есть свой час. Особенно — любить и быть любимым. И не упустить его — великое счастье.

К фортепиано подошёл сухощавый пожилой музыкант. Александр, завсегдатай «Зимнего павильона», хорошо знал его виртуозную игру: этот тапёр был местной достопримечательностью. Он сел за клавиши, перебрал несколько знакомых аккордов и заиграл старенькую, но всегда юную мелодию из одного мюзикла, пришедшую сюда вслед за этим пожилым музыкантом из того, другого мира.

— Можно, я приглашу вас на танец? — спросил он.

— Конечно, — просто ответила Саша.

Он встал, протянул ей руку и удивился тому, как холодны были её пальцы. Саша, точно стесняясь, желая чем-то компенсировать этот холод, сжала его руку... Когда в центре площадки она прижалась к нему — вдруг, вся, когда уже плыла с ним в возникшем течении, он внезапно догадался, что знает эту женщину, — и не было в том ошибки! — что она близка ему, всегда была близка, что он чувствует каждое её движение,

самый незначительный порыв, взгляд, когда она поднимала на него глаза, знает звук её голоса. И ему не жаль было целого года ради того, чтобы вот так, во время танца, сжать её руку, пальцы, почувствовать, как она вся, ещё не совсем доверяя, боясь обмануться, уже прижимается к нему, верит, что тепло, которое сумела в себе сохранить, необходимо кому-то. Как это всё было сейчас понятно ему... Она улыбнулась, он в ответ бережно прижал её к себе — хрупкую, готовую отдать всё своё сердце в самом простом прикосновении, таком естественном во время танца...

Когда музыка закончилась, он поцеловал её пальцы, сказал:

— Спасибо вам.

— Это вам спасибо, — откликнулась она.

Он отпустил её руку только тогда, когда они вернулись за стол, на свои места. Встретив его взгляд, Саша улыбнулась — несмело, точно стесняясь их недавней близости. А потом решительно, как совсем недавно, расправилась с остатками коньяка.

Поставив бокал, Саша приложила пальцы к вискам.

— Этот ваш коньяк, Александр. Кажется, я пьянею, — она улыбнулась. — И я рада этому... Дайте мне ещё одну сигарету.

— Откуда вы узнали о Городе? — спросил он, протянув ей сигарету и щёлкнув зажигалкой.

— Думаю, о нём знают или догадываются о его существовании очень многие, — не сразу заговорила она. — Может быть, почти все люди. Другое дело, что попасть сюда дано не всякому. Что-то должно произойти в вашем сердце, в душе. Что-то. Только в этом случае можно рассчитывать, что однажды, в час, когда ты не будешь знать об этом, привычные измерения расступятся перед тобой и новый твой шаг придётся на мостовую этого Города. То, что я говорю сейчас, правда. Для меня. Я очень много думала об этом...

— А вот я как раз совсем об этом не думал.

— И всё же вы попали сюда. Значит, то, главное, в вашем сердце свершилось...

— Тем не менее я уже целый год... как и вы, — добавил он, — обхожу Главную площадь. Я попытался войти туда в первый же день, в первую ночь, как только попал сюда. На площади было безлюдно, выюжило. Я поднялся по ступеням, подошёл к стеклянным дверям, прижался лицом к стеклу. А потом появился этот человек, в смокинге, при бабочке. Вырос прямо из тени. До сих пор не могу забыть его лицо — печально-саркастическое, точно он видел рождение и смерть сотен поколений...

— Рождение и смерть сотен поколений, — прошептала Саша. — А может быть, так оно и есть?

— Не знаю... Одним словом, я отшатнулся от этих дверей. Через полчаса, продрогший, снял номер в гостинице. А далее, как я понимаю, моя история похожа на историю многих обосновавшихся тут людей. Я поступил на службу, зарабатываю прилично, хожу в этот ресторан,

я уже успел полюбить его, пью коньяк, играю в преферанс с хозяйкой гостиницы, пожилой, очень милой и доброй женщиной. Вот такая нехитрая история...

— Я тоже попыталась войти туда в первый день, точнее — в первую ночь, когда нечаянно, подумать только, даже не нарочно, заблудилась в собственном городе. Я тогда не сразу поняла, что случилось со мной. Потом едва не сошла с ума. Мне было страшно. Я забрела на Главную площадь, замёрзла. Я стояла перед этим зданием. Одна или две ступеньки — всё, на что я решилась. Я просто прислонилась к стене, под лестницей, и стала реветь...

Не сводя глаз с Саши, Александр вспомнил ту ночь, те пять или десять минут, которые он провёл у дверей «Цирка-аттракциона». А потом — несколько секунд у каменных перил. Тёмный женский силуэт у стены внизу, в тени...

— Почему вы так смотрите на меня? — спросила Саша.

— Я был на площади около полуночи. Поговорив со странным человеком в смокинге, едва живой, спускался по ступеням и услышал чьи-то сдавленные рыдания. Я перегнулся через каменные перила и увидел в темноте, внизу, силуэт женщины. Она действительно плакала. Женщина была в чёрной шубе чуть выше колен и меховой шапке с хвостом... Всё было именно так?

Саша улыбнулась:

— Эта шуба и эта шапка висят сейчас в гардеробе, — она пожала плечами: — Почему же вы не подошли ко мне?

— Не знаю... Для меня всё было чужим. И страшнее всего — чёрный цирк и всё, связанное с ним. Мне хотелось бежать. Было одно желание — обрести покой. Не привязанность, чью-то теплоту — нет. Я не смел надеяться на это. Покой. Я забился в конуру гостиничного номера, закрылся одеялом с головой, как делал это ребёнком во время грозы. Вот почему я не подошёл к вам...

Саша, чуть помедлив, кивнула:

— В те минуты я тоже вряд ли поверила бы вам. Мне было очень холодно там, глубоко — в сердце... Но если бы я услышала ваш голос, с тех ступеней... не знаю...

— Да, вы правы, — кивнул он, — если бы вы откликнулись...

Она непроизвольно протянула к нему руку, и он, взяв её, сжал её пальцы. Они были всё такими же холодными, но скованность их прошла, растаяла...

Из чёрной утробы фортепиано, растекаясь по зале «Зимнего павильона», медленно и ритмично выползал один из старых блюзов Керна, завезённых в этот город тем же старым музыкантом. Теперь глаза Саши были тёплыми, в них появилось лукавство, они почти смеялись. Заглянув в пустой бокал, разочарованно вздохнув, она потянулась вперёд. Накрывая его руку своей, спросила:

— Можно, я приглашу тебя?.. Можно?

...Теперь их танец в медленной, то вытягивающейся в струну, то становящейся похожей на сигаретный дым, блюзовой мелодии был другим. Не трепетным, хрупким, точно вот-вот готовым прерваться. Теперь он чувствовал на губах её дыхание, руки её были куда смелее — они забирались к нему на загривок, кольцом обвивали шею. Он чувствовал, как она прижималась к нему бёдрами, как искала каждого его прикосновения. И всё было естественно, понятно им обоим. Он не успел заметить, как они уже целовались в центре площадки, рядом с другими танцующими парами. Целовались долго, не отрываясь. И в этом тумане, в этой музыке, похожей на сигаретный дым, он уже знал наверняка, что весь год искал на улицах Города именно её, терпеливо ждал. Ему не жаль было потерянного времени. Если оно и было потеряно, то не напрасно. Он не верил самому себе, своим догадкам, но знал, кто сейчас рядом с ним. Кто эта женщина, встретившаяся ему здесь, в другом мире, в Городе, в этой ресторации всего полчаса назад: женщина с печальными глазами и холодными пальцами, в которых она сжимала бокальчик с остатками коньяка...

Последние ноты блюза растаяли под потолком «Зимнего павильона».

— Мы ведь скоро уйдём отсюда, да? — пока они ещё стояли в центре площадки, спросила она.

— Конечно, — ответил он. — Мы обязательно уйдём отсюда. Прямо сейчас.

В гардеробе «Зимнего павильона» Саша прятала от него глаза. Кажется, она даже была рада тому, что с замком её сапога что-то случилось. И он понимал почему. Они думали об одном и том же...

...Не сговариваясь, они шли к центральной площади Города. По дороге молчали. Когда поднимались по ступеням «Цирка», Саша замедлила шаг. Александр чувствовал, что она может изменить своё решение в любую секунду. У серой стены парадного она остановилась. Прижавшись к стене спиной, у самых дверей, закрыла лицо руками. Александр подошёл близко, обнял её.

— Что с тобой? — он не сводил с неё глаз. Снег на ресницах, чуть побледневшие от мороза губы. — Ты... передумала?

— Знаешь, он был музыкант, хороший музыкант, виолончелист, — тихо проговорила она. — Умный, добрый человек. Он был одним из тех, кого встретив, необходимо удержать, любить. Играл в хорошем симфоническом оркестре. Но первым в труппе не был. И переживал, конечно. Часто играл мне, спрашивал, что я думаю. Мне нравилось. Нам казалось, что мы счастливы...

Порыв ветра ударил в двери, бешено закрутился у их ног. Саша захлебнулась неожиданно налетевшим ветром, и Александр ещё креп-

че прижал её к себе, заслоняя от метели, колючего снега. Порыв стих так же быстро, как и обрушился на них. И тогда, взглянув на двери, Александр увидел за ними тёмный мужской силуэт. Хозяин «Цирка-аттракциона» караулил случайных прохожих...

— Иногда стоит человеку, который значит для тебя очень много, ударить ногой дворнягу, чтобы оттолкнуть тебя от него раз и навсегда, — сейчас глаза Саши показались ему слепыми. Она смотрела перед собой так, точно там ничего не было, самого мира не существовало. — Предательство бывает разным, и предать всегда оказывается так легко. Но можно превратить предательство в особо изощрённую пытку...

— Послушай, не стоит...

— Не перебивай меня... Однажды я оскорбила его. Житейская неразбериха. Вспышка. Мгновение — и ты забыл, что рядом человек, который живёт тобой. Я спросила его: может быть, он не растёт, потому что никудышный музыкант? Что эти несколько лет он морочил мне и другим голову? И что его потолок — то, что он имеет сейчас? — Саша отвернулась, пытаясь спрятать лицо в меховом воротнике. — Главное, что сама я так не думала, верила в него, искренне... Он ушёл из дома: оделся и ушёл, не сказав мне ни слова. А я отключила телефон. Конечно, я не спала. И в первые минуты ругала его. Потом, когда спесь прошла, все ругательства обернулись против меня самой. Я выучила наизусть те слова, которые скажу ему, когда его увижу. Я ненавидела себя, презирала. А утром, когда телефон был уже включен, мне позвонила его мать и сказала, что Паша погиб. Его зарезал трамвай. В квартале от нашего дома. Как потом объяснил водитель, человек, которого он сбил, вышел на красный свет, точно ничего не видел и не слышал. Но это было потом. В то утро, когда в трубке пошли гудки, я села на пол в коридоре и так и просидела с этой трубкой часа полтора, — она закусывала губы, в отчаянии покачала головой. — И вот теперь мне страшно. Очень страшно...

Александр взял Сашу за руку, крепко сжал её. И следом оглянулся на двери. Тень за стеклом уже стала ближе. Ясно читался силуэт человека. Чёрный костюм, бледное пятно лица. Александру даже показалось, что он видит ледяную улыбку хозяина аттракциона. Точно он знал, что они окажутся этой ночью на площади. Поднимутся по ступеням, дрожа перед тёмной дверью. Или ему всё равно, кто и когда? И он всегда стоит у этих дверей, как часовой?

— Назад я не пойду, — проговорила Саша, — даже не думай...

Её голос вывел Александра из оцепенения. Она смотрела на него, вцепившись в его запястье ледяными пальцами. Но теперь он знал наверняка: если и есть для него спасение, то в этой руке — замёрзшей, хрупкой, в глазах Саши...

Глава четвёртая

Открыв полуночникам дверь, здешний хозяин предстал перед ними в том же идеально сидевшем на нём смокинге, при восхитительной бабочке.

— Итак, дамы и господа, — оглядев гостей с головы до ног, пропускающая вперёд, он поклонился им в тёмном коридоре, — вы решили посетить «Цирк-аттракцион». Это приятно, — он театрально развёл руками: — Это уникальный аттракцион. И заметьте, только в нашем Городе! Голографическое изображение, вся звуковая палитра и цветовая гамма, доступные глазу и слуху человека, все оттенки чувств, доступные человеческому сердцу. Вас ждут необыкновенные впечатления. Я бы даже сказал — приключения! Прошу вас, прошу...

— Но мы хотели бы знать, как всё это происходит, — вцепившись в рукав Александра, проговорила Саша. — Мы ведь имеем на это право...

На лице человека в смокинге, уже бравшего её под локоть, смешались снисходительность и нетерпение:

— Имеете, имеете. Но я толком и сам не знаю. Ах, барышня, не пытайте меня. Когда вы смотрите на лесной ручей или того пуще, на штормовое море, вы же не думаете о химической формуле воды? Правильно? — он уже вёл их по тёмным коридорам, сворачивал, тянул за собой, направлял. И вдруг остановился. Обернулся к ним: — Вот мы и пришли.

Они стояли перед высокими двухстворчатыми дверями — тяжёлыми, добротными, из хорошего дерева, может быть, дуба или бука.

— Как вы желаете: по одному или вместе?

— Вместе, — опередив Сашу, сказал Александр. — Вместе.

— Вместе так вместе, — живо откликнулся провожатый. — Так оно даже лучше.

И следом безо всякого труда распахнул перед ними двери...

...Им открылась полутёмная круглая зала, в центре которой стояли, спинка к спинке, два стула, и каждый из этих стульев был обращён к небольшой круглой сцене. В самых дверях, уже переступив порог, но поймав настороженный взгляд Саши, Александр спросил:

— А если бы мы передумали? Прямо сейчас. Вы бы... позволили нам уйти?

— Но... вы уже в самом сердце нашего «Цирка-аттракциона», — резко изменившимся тоном заметил их провожатый. — Верьте мне на слово: это не так страшно, как уверяют в Городе... Поднимайтесь по ступеням на подиум, только будьте осторожны, не оступитесь. И устраивайтесь поудобнее...

И едва договорив, он подтолкнул их вперёд и проворно закрыл за ними двери наружи.

Они поднялись по ступеням, сели на стулья — спина к спине. Александр почувствовал, как рука Саши крепко сжала его пальцы. Не отрываясь, затаив дыхание, он смотрел перед собой...

Прошла минута, другая...

А потом в самый центр подмостков ударил сверху широкий, слепящий глаза луч прожектора. Над маленькой круглой сценой поднималась золотая пыль. Она, точно под лёгкими порывами ветра, начинала кружиться, закручиваясь в причудливые прозрачные узлы. Александр прищурился. А когда глаза его привыкли к свету, он понял, что случилось маленькое чудо: он увидел перед собой, в глубине тёмного пространства, лица. Множество лиц. (Точно ещё мгновение назад он был слеп и только теперь прозрел). И все они были обращены к нему. И тогда же он понял, что перед ним — зрительный зал, дальние ряды которого теряются в темноте. Это не он готовился увидеть некое действо, загадочный спектакль, о котором слышал так много и так мало знал, но сидевшие неподвижно, безмолвно люди. И следом ясно понял другое: эти люди здесь уже давно, может быть, очень давно. И ему, сидевшему в самом центре подмостков, некуда было деться... Он понял всё в то самое мгновение, когда среди зрителей, в первом ряду, увидел лицо Верочки Кашиной из параллельного «Б», а следом — деда, чудака-художника, лицо своего отца... Ему стало не просто жутко — с каждой новой минутой он чувствовал, как его жизнь выхватывает по частям незнакомое ему пламя. Он чувствовал, как оно, обжигая его изнутри горячей нарастающей волной, уже рвётся наружу. Наверное, это были самые обыкновенные слёзы. Александр пытался отыскать ещё одно лицо — женское, но ему никак это не удавалось...

Желание спрятаться перебороло другое стремление — шагнуть в зрительный зал. Идти к тем, кто сейчас смотрел на него. Обнять отца, может быть, встать на колени, плакать, долго. А ещё — отыскать её, Женю... Александр рывком поднялся со стула. Но, сделав шаг, покачнулся: под ним дрогнула сцена. Сердце перехватило. Он боялся смотреть себе под ноги. Он догадывался, что там. Ещё шаг. Оступившись, беспомощно взмахнув руками, Александр провалился в пустоту...

...Он летел вниз — летел так стремительно, что не мог закричать, даже вздохнуть, сжимался в комок; но сила, несущая его через бесконечную шахту, казалось, разрывала его на части, крутила в тёмном пространстве, точно волчок; холод обжигал лицо и кисти рук, пронизывал тело насквозь, превращая его в ледышку. А потом он услышал гул: сотни тысяч голосов, метавшихся рядом, точно молнии, перекликались друг с другом, и гулкое эхо, разрывая пустоту, ещё долго преследовало его... И только потом он ощутил тепло, но это был обман; он летел в пекло, и уже скоро огненная прорва обожгла его, поглотила; охваченный пламенем, он наконец-таки захлебнулся криком, но из-за гудевшего, точно ветер в дымоходе, огня не услышал своего голоса; а языки пламени уже вырывались из его рук, ладоней, из его груди; он чувствовал, как его сердце превращается в пепел; а потом, обратившись в одну пылавшую головню, вывалился из этого пламени — в тот же холод и пустоту...

Весь этот полёт был равен одному мгновению — и всей его прожитой жизни.

...Он лежал на каменном полу. Он знал, что разбился. И ещё — он чувствовал боль. Никогда её не было так много, как сейчас. Он сам был этой болью. И если бы он надумал поделиться хотя бы толикой её с миром, оставшимся где-то — в другом измерении, мир бы погиб. Или стал бы таким, каким был задуман в начале всех времён. Чистым, светлым. Он лежал на каменном полу и думал: почему он ещё жив? Отчего душа его до сих пор с ним? Он долго смотрел вверх, пока не увидел среди окружавшего мрака — там, наверху, бесконечно далеко — светлое пятнышко. Что это было? Как ему сейчас хотелось дотянуться до сиявшего пятака! Наплевать на то, что ещё минута — и он оставит здесь разбитое на тысячи осколков тело. Ему было не жаль его. Наоборот — хотелось освободиться и лететь вверх — к сиявшему пятаку! Во всём этом была неизвестная ранее свобода. Точно сердце его пронзило то, что никогда раньше его не касалось, — острый, как игла, луч бессмертия... И когда это желание — быть там, наверху, — заслонило всё другое, большое и незначительное, свет стал разрастаться. И он не мог в это поверить. Свет сам тянулся к нему! Сюда, в этот колодец... И вдруг за яркой вспышкой что-то великое и огромное раздвинуло тёмные пределы и всем своим существом коснулось его. И тогда в изумрудно-золотом дожде, превратившемся в один падающий с самого неба столб, он увидел светлые лица и протянутые к нему руки. Всё это — яркое, озарённое светом, было обращено только к нему одному, точно он был единственной живой душой на Земле. И среди этих лиц было лицо Верочки Кашиной, лицо его деда, и отца — светлое, помолодевшее. И лицо Жени за ними — счастливое лицо. Именно таким оно было, когда они встретились. Отец протянул ему руку... Он ещё не мог поверить, что сумеет дотянуться до неё, и знал, что другому не бывать. И тогда он оттолкнулся от земли, ухватился за отцовскую руку и прижался к ней, сразу согревшей его, разбитым, обожжённым лицом. Единственное, что ему хотелось, — никогда не отпускать её...

А потом это светлое, к чему он так жадно тянулся, ослепительно вспыхнув, поглотило его. Последнее, о чём он подумал, что смерть, оказывается, может быть прекрасной и что никогда уже он не захочет вернуться назад...

...Он очнулся сидящим на стуле, в середине полутёмной залы, и ещё долго смотрел перед собой, точно пытаясь вновь увидеть чьи-то лица. Но вокруг не было ни души. Почему всё так быстро закончилось? Ему так хотелось коснуться лица Жени, её губ. Хотя бы дотронуться до её руки, до кончиков пальцев — на прощание, на счастье... И тут же Александр почувствовал, что кто-то держит его за руку.

Саша...

В ту же минуту под потолком круглой залы вспыхнул неяркий свет. Дверь в коридор открылась, и там возникла тень служителя заведения. Человек не заходил, но и не старался скрыть своего присутствия, давая понять, что время вышло и противоположная дверь ждёт их.

Державшая его за руку женщина поднялась и потянула за собой...

...Они вышли на улицу. Только здесь, среди света уличных фонарей и золотого снега, он увидел её глаза. Они показались ему ослепшими, но лишь на мгновение. Саша провела ладонью по своей щеке; сжав мокрую кисть в кулак, сказала:

— В детстве мне говорили: если они замерзнут, то уже никогда не оттают. Так и придётся ходить с ледяными дорожками на щеках... Как иногда глупо и жестоко пугают детей, правда?

Осторожно потянув Сашу за рукав, он остановил её. А обняв, зажмурился так, точно вокруг падал не мягкий снег, но мела колючая пурга. «Я знаю, теперь знаю наверняка: это ты, — повторял он про себя, точно в этих словах была заключена тайная сила, способная изменить всё в одночасье, повернуть время вспять, навсегда прогнать прочь ложное и помочь обрести то, без чего нельзя было существовать на земле ни минуты. — Ты пришла сюда, в этот Город, чтобы спасти меня. Может быть, ты сама ещё не знаешь об этом, но это так. И теперь всё будет по-другому. Всё...»

Он почувствовал, как вздрагивают её плечи, как она хочет скрыть это... Потом, высвободив руку, Саша стащила перчатку, аккуратно провела пальцем под нижними веками. И вновь, улыбаясь, потянулась к нему. Коснулась губами его лица.

— Я долго не понимала, что со мной: жива я или нет, — прошептала она. — Теперь знаю...

Никогда ещё он не испытывал такую нежность, глядя в глаза женщины, на опущенные снегом ресницы, держа её руки в своих. Необыкновенная высота коснулась его, была теперь с ним. Он ясно понимал, что весь мир, которым дорожил, который любил теперь особенно сильно, — в этой женщине. И если он хочет быть счастливым, хотя бы немного, если он хочет жить, то должен беречь её — каждое мгновение, не отпуская. Быть с ней...

Саша мягко отстранилась, взяла в кулачки лацканы его пальто.

— Я рассказала тебе о потере, — едва слышно проговорила она. — Но это было давно. В другом мире. С тех пор прошла вечность. А теперь... теперь я нашла тебя. Ты же понимаешь, о чём я говорю. Правда? Нам необходимо жить. И, наверное, любить. Да что там «наверное»...

Они прошли ещё несколько минут молча, когда она крепко сжала его руку:

— В этом Городе так много всего, что нам нужно увидеть вместе. Понимаешь — вместе! Идём...

Давно осталась позади площадь. Они опять шагали по белым улицам. Снег, мягкий, неслышно падающий с ночного зимнего неба, раскрывшего свой чёрный купол над Городом, выбелил их плечи, шапки, ресницы. Всё вокруг оживало. Ярko горели фонари и витрины, тёплый свет падал из маленьких питейных заведений. Где-то недалеко был Бульвар ресторанций.

Да, конечно, им нужно было увидеть многое, увидеть вместе. Но для этого необходимы были деньги, а у него их осталось немного. Разве он мог знать, что встретит её? Что сегодня, именно в эту ночь, ему понадобится всё, что он успел заработать и скопить за этот год?

Скоро они были в гостинице «Чёрная курица». Хозяйка, заядлая полуночница, встретила их в холле гостиницы, когда они спускались из номера. Александр догадался: пожилой даме хватило одного его взгляда, чтобы понять всё: кого он нашёл и, главное, где они только что были... Елизавета Марковна оглядела Сашу с головы до ног, не вынимая папиросы изо рта, одобрительно кивнула:

— Я рада за вас, Александр, — и следом обратилась к его спутнице: — Простите, милая девочка, я должна сказать вашему кавалеру пару слов наедине, — Елизавета Марковна взяла постояльца под руку: — Я не отниму у вас много времени...

Она зашла с ним в конторку, открыла ключом верхний ящик стола, выдвинула его, отсчитала деньги.

— Возьмите, — сказала она, протягивая несколько купюр.

— Что это?

— Это то, что вы мне уплатили вперёд.

— Но почему? Я же не собираюсь...

Она вежливо перебила его:

— Возможно, они вам пригодятся. А мне... не нужны чужие деньги.

Александр недоумённо пожал плечами:

— Я... не понимаю. Всё равно мне придётся уплатить их вам...

— Думаю, вы больше не вернётесь в эту гостиницу.

— Елизавета Марковна, мне пока рано думать о переезде.

— Тем не менее возьмите их.

— Хорошо, если вы настаиваете...

Она выдохнула дым в сторону, грустно улыбнулась:

— Настаиваю, — остановив взгляд на своём столе, она открыла ящик, протянула постояльцу хорошо известную ему вещь. — Возьмите на память. В дороге пригодится.

Это был маленький перочинный нож — с открывашкой, штопором и даже крошечной вилкой. Недоумевая, Александр рассеянно посмотрел на безделушку, лежавшую на его ладони, пожал плечами:

— Если вам не жалко...

Елизавета Марковна покачала головой:

— Не жалко. Мне будет вас не хватать, Саша, — полушутя, полу-серьёзно сказала она. — Не забывайте об этом. Вы были и останетесь моим самым примерным постояльцем. Я буду помнить о вас...

— Даже если я и надумаю съехать, — проговорил он на полтона тише, — мы ещё не раз сыграем в преферанс, Елизавета Марковна. Помните мое слово.

— Дай-то Бог.

На том они и простились.

...В ресторане «Колибри» им достался роскошный кусок запечённого в тесте осетра, того самого двухметрового гиганта, о котором так восторженно писал утренний номер газеты «Город сегодня». «У Кузьмы» они пили старое вино — коллекционное, покоившееся в погребе ресторана более века. В «Тихом омуте» отужинали двумя перепелами, подбитыми каких-нибудь пять-шесть часов назад в окрестных лесах, распили бутылку самого дорогого шампанского...

В половине третьего ночи были в опере на последнем акте «Паяцев»...

...Он удержал Сашу за руку у «Дансинг клуба», за освещёнными дверями которого приглушённо звучал вальс, — ещё одна мелодия из потерянного ими навсегда мира. Взяв её правую руку, удивительно послушную, понявшую его сразу, в свою левую, обнял её — и они закужились на вспыхивающем разноцветьем неоновых огней, утоптанном снегу... Они остановились у фонаря, и он сразу прочитал в глазах Саши удивление.

— Ты прекрасно вальсируешь, — сказала она. — Я не знала этого...

— Я того же не знал о тебе. Хотя... возможно, мне стоило догадаться...

Она посмотрела, ещё нерешительно, на двери дансинга.

— Тогда, может быть?..

— А почему бы и нет?..

Не отпуская её руки, он открыл двери «Дансинг клуба»...

— Я раньше часто заходила сюда, но... не танцевала, — призналась Саша, когда они, сдав одежду в гардероб и намучившись с её правым сапогом, замок на котором никак не желал расстёгиваться, шли по коридору — на музыку, уже громкую — быстрый фокстрот из далёких тридцатых... Музыка всё приближалась и вскоре обрушилась на них. Приглушённый свет открыл им большую танцевальную залу со столиками вдоль стен, занятыми в этот поздний (или уже ранний?) час наполовину; на небольшой эстраде располагалась группа музыкантов, несколько пар ритмично скользили по паркету, то и дело наступали друг на друга, атакуя и сдаваясь, меняли линию танца...

— Идём вон за тот столик, — кивнула Саша. — Я хочу выпить для храбрости... А ты?

— Отличная идея. Тем более я не танцевал уже целую вечность.

Они быстро прошли зал, сели за выбранный Сашей столик. Александр подозвал рукой официанта, вопросительно посмотрел на свою спутницу.

— Коньяк, один, — сказала она.

— Смелый выбор, — кивнул он. — Мне — два. Ну, и что-нибудь закусить, пожалуйста...

— А что мы будем танцевать? — спросила Саша, когда официант ушёл, а маленький оркестр заиграл венский вальс — старую мелодию из французского шансона послевоенных лет. Те же четыре пары, выходя друг за другом, уже динамично входили в танец, кружились по паркету...

Александр протянул Саше руку:

— Идём. Пока не принесли коньяк.

— А как же для храбрости?

— Разве для венского вальса требуется храбрость? Оставим её для чего-нибудь покруче. Идём же.

Саша нерешительно поднялась, и они пошли к ближнему краю залы. Александр не дал ей опомниться, испугаться — и вот они уже летели, кружась, среди четырёх других пар; его взгляд выхватывал светильники на стенах, рояль, лица оркестрантов, ловил глаза Саши, её опущенные ресницы, чуть откинутую назад голову, полуоткрытый рот; он давно не чувствовал себя таким лёгким, способным вот так, чтобы захватывало дух и замирало сердце, лететь, едва касаясь носками ботинок пола...

— Господи, у меня всё плывёт перед глазами! — задыхаясь от восторга, говорила Саша, когда он вёл её к столику. Сев на стул, закрыв лицо руками, она засмеялась: — Это было замечательно, правда?

— Правда, — кивнул он. — Но не пей сразу. Приди в себя.

— Хорошо... Только если ты хочешь, чтобы нам потребовалась храбрость, нужно торопиться. Дансинг скоро закроют. Это уже последние мелодии.

Минуты через две, отпив половину коньяка, Александр уже привычным жестом подозвал официанта. Явно скрывая от Саши, он что-то шепнул тому на ухо, сунул в руку купюру. Понимающе кивнув, официант быстрыми шагами направился к оркестру. Теперь он говорил с оркестрантами. По их уверенным лицам можно было понять, что они готовы сыграть на своих нехитрых инструментах самую сложную симфонию. Александр опрокинул остатки коньяка и, проследив за тем, как то же самое сделала и Саша, одобритительно сжал её пальцы.

— Что это будет? — спросила она.

— Ты... не догадываешься?

— Танго?

Он утвердительно кивнул:

— То, для чего нам обоим понадобится храбрость, — в это время пианист обернулся к двум скрипачам, кивнул им. — Вставай, — Александр почти выдернул Сашу из-за стола.

— Я так боюсь, что у меня ноги подкашиваются, — пролепетала она, — и сердце замирает...

Но он уже выводил её на середину залы и, не сводя глаз со скрипачей, заносивших смычки, шептал ей на ухо название фигур. Они едва успели собраться, как первый скрипичный аккорд заставил Александра сделать на партнёршу шаг — медленный, затем — второй, на третьем, подрезанном, легко, как пёрышко, развернуть Сашу и, сделав с ней два быстрых шага в сторону оркестра, войти в танец... Оркестр играл «Голубку». Мелодия, ритмичная и в то же время полная свободы, вершила своё дело — неловкость испарилась. А вместо неё приходила та лёгкость, которая, казалось, была забыта уже навсегда. Саша вела свою партию так просто и точно, с такой быстротой улавливая каждое его движение, понимая каждый его шаг, что танец их с каждой минутой всё больше превращался в игру — стремительную и виртуозную. На глазах у двух десятков полуночников Саша отвечала ему то яростным порывом, то почти неприступностью, холодом, легко перегибалась на его руке и следом отстранялась, сопротивляясь каждым движением, взглядом сейчас немного сумасшедших глаз... Они даже не сразу поняли, что маленький оркестр нарочно затянул концовку, окрасил её особой ритмичностью, сделав яркой, во всём подыграв единственной танцевавшей в середине залы паре...

Им аплодировали. Под крики «Браво!» он поцеловал её, горевшую, ещё плохо соображавшую, что сейчас было с ними, и прошептал: «Мы исчезаем, сейчас же!» Она едва успела благодарно сжать его руку.

В тёмном коридоре, на пути в гардероб, у стены, обшитой досками, он остановил её — горячую, льнувшую к нему, искавшую его губы...

— Нет, не здесь, — едва ли желая помешать ему, готовая рассмеяться, шептала она. — Ты сошёл с ума...

И только вышедшая из залы — там, в конце коридора — вслед за ними пара, громко обсуждавшая только что увиденное маленькое представление, помешала им.

— Будем скромнее, — пробормотала неровным голосом Саша, одёргивая платье, ещё касаясь губами его лица. — Слышишь, любимый?

— Будем, — откликнулся он, всё ещё не решаясь отпустить её. — Но как долго?

— Совсем недолго. Это я тебе обещаю...

В гардеробе Саша озадаченно топнула ножкой:

— Разберись, пожалуйста, с моим замком. Проклятуций! Вот наказание. И это называется — любимые сапоги!

— Мне кажется, ещё немножко, и колечко сломается, — минут пять спустя, отдуваясь, проговорил Александр. — В любом случае за-

мок придётся менять. Но для небольшой прогулки, я думаю, он ещё сгодится.

— Только мы не пойдём в твою гостиницу, — сказала Саша, когда он помогал ей одевать шубу, — хоть это и ближе. Мы пойдём ко мне. Пусть я живу на окраине города, но там мы будем одни. Хорошо?

— Конечно, — откликнулся он, — как скажешь.

Они вышли из «Дансинг клуба». Метель давно улеглась. Снег стал мягким. Он сразу облепил им губы и ресницы. И ночь как-то особенно нежно обнимала их, державшихся за руки, шагавших по улицам Города, под его чёрным беззвёздным небом...

Уже на окраине, шагов за сто до Сашиного жилища, он сказал:

— Далековато ты забралась... Не страшно?

— Ни капельки. Для меня, если жить в этом городе, то именно в таком месте, как это. Зато ко мне во двор слетаются голуби. Иногда их бывает целая туча. Я им устраиваю благотворительные завтраки, обеды и ужины... — задумавшись, Саша улыбнулась. — Там, откуда я пришла... где жила раньше, — совсем недалеко от моего дома был огромный парк. Почти лес. Я гуляла там ещё девчонкой. Оставшись одна, я стала приходить туда утром, особенно зимой, пораньше, когда никого не было рядом, и кормить голубей. Так бывает: когда некуда себя деть, когда не видишь смысла жить, привязываешься к мелочам. Некоторых голубей я даже узнавала. Я кормила их семечками. Или чёрствым хлебом. Забавно было смотреть, как они топчутся на снегу, торопятся. Однажды я оказалась там очень рано. В то утро, в парке, со мной происходило что-то странное, непонятное мне самой. Точно всё, до этого дня скрытое, становилось ясным. Вдруг я заметила, что верхушки деревьев — заснеженные, вспыхнули алмазной пылью, золотом. Необыкновенно ярко. Я не могла оторвать от них глаз. Думала, с ума сойду от счастья. А потом солнце опрокинулось в этот парк, покатилося по всем аллеям... В тот самый день, в ту минуту, я и оказалась здесь, в этом Городе... Господи, как бы мне хотелось оставить Город и вернуться — в тот же самый час, в ту же минуту. Вернуться с тобой. Даже думать не хочу, что всё может случиться иначе, — Саша остановилась. — Вот и моя калитка. Задвижка с той стороны. Открывай сам: руки не слушаются.

Пока Александр тянулся через доски, отпирал щеколду, Саша, не сводя с него глаз, чему-то улыбаясь, растирала озябшие пальцы. Когда калитка была открыта, полезла за ключом.

— Я порядком закоченела, — открывая дверь в небольшой кирпичный домик, бросила она через плечо. — Сейчас бы ещё глоток коньяка, было бы здорово... — она толкнула дверь вперёд, в темноту. — Вот они, мои хоромы: комнатка, кухонька, ванная, коридорчик, — одним словом, сейчас всё увидишь сам...

— А вот и остатки коньяка, — сказала она, доставая из буфета початую бутылку. — Закончится всё тем, что сегодня ночью мы с тобой напьемся, это точно...

Не выпуская бутылки и двух бокалов из рук, она обняла его, — немного замёрзшего, но уже, в свою очередь, обнимавшего её, бравшего на руки, — целуя в губы...

...Его голова лежала в ладонях Саши.

— Если мне когда-нибудь и было так хорошо, — тихо сказала она, — так очень давно. В другом мире, в другой жизни. Но я и не думаю удивляться. Все так, как и должно было случиться... Правда?

— Конечно, — едва слышно отозвался он.

Потом они снова любили — требовательно, не отпуская слепо ни одного мгновения, и в этой новой близости вновь открывали друг друга, желая узнать и понять больше, подарить другому столько, сколько был способен отдать каждый...

Александр очнулся в середине ночи, выпав из небытия — лёгкого и прозрачного, подарившего ему крылья, и в то же время тяжёлого, потому что к нему вновь — одним мгновением — вернулось старое... Он смотрел на плечи лежавшей рядом женщины, открытую ему ключицу, короткую тёмную стрижку. Как странно могли преломиться все известные ему измерения, думал он, и в одном из них вернуть её. Пусть — другую, но по-прежнему прекрасную, светлую, любящую. Люблю...

И тут, коснувшись плеча лежавшей рядом женщины, он почувствовал, что она вздрагивает — неровно, порывами. Он нащупал её руку, приподнявшись на локте, успел заглянуть в её большие, сейчас совсем чёрные глаза, блестящие, полные слёз. Сжав его пальцы, Саша отвернулась...

За окном всё ещё была ночь. Губы Саши касались его плеча, пальцы перебирали волосы.

— Хочешь, оденемся и пойдём гулять? — спросила она.

— Сейчас вылезать из постели?

— Ну и что? — приподнимаясь и укладывая подбородок ему на грудь, серьёзно и намеренно капризно проговорила она. — Впрочем тебе повезло: моей романтики хватит на нас обоих. Только представь: утро, мороз. Голова кружится. А потом — что мы теряем? Мы вернёмся сюда же — в этот дом, в эту постель. Мы обязательно немного замёрзнем, но дойдём, добежим, заскочим в дом — быстро, очень быстро разденемся, бросим одежду где попало и — под одеяло. У меня уже мурашки бегут от одного предчувствия, как твои руки, холодные, почти ледяные, вдруг окажутся на моей спине. Брр!.. Ну как, я тебя уговорила?

— Сашенька, но сейчас-то мои руки тёплые, — потянувшись губами к уху лежавшей рядом с ним женщины, он забрался рукой под одеяло. — По-моему, так гораздо удобнее...

Саша сбросила его руку.

— Нет, мой хороший.

Сдаваясь, он покачал головой:

— Хорошо, ты меня почти уговорила... Хотя, надо сказать, первый этап — выход в открытый космос, удовольствие сомнительное...

Но она, уже подтягиваясь на локтях, звонко целовала его в щёку:

— Вспомнила! Мы и не подумаем замерзнуть. У меня же есть бутылка ликёра. Она едва начата, стоит в буфете, — и ещё раз поцеловав его, быстро сбросив ноги с кровати, добавила: — Одевайся, мой любимый. И поскорее. Мы застанем самый ранний из всех утренних часов...

...Рассвет уже начинался где-то далеко за заснеженными полями, окружавшими Город, за чёрными цепями его лесов, уходивших так далеко, что, казалось, они тянутся до края земли. Рассвета ещё не было видно, его нельзя было прочесть. Но где-то на самом краю земли он уже медленно наступал на сумрак — на чёрное, беззвёздное, раскрытое над Городом небо...

Здесь, на окраине, пока ещё оставалась ночь. Воздух был чистым, терпким, каким бывает он в такой ранний час — зимой...

Совсем недалеко пропел гудок электровоза.

— Здесь поблизости железная дорога? — спросил Александр, беря за руку Сашу. — Наверное, эти поезда ходят вокруг Города, путают следы...

— Дорога совсем рядом. Странно, но мне она не мешает. Я специально забралась сюда, подальше, чтобы были вот такие ночи и рассветы — с гудками поездов, с такой тишиной... Знаешь, здесь есть один особенный поезд, он проходит под утро. Я уверена, он не попадает в Город. Этот поезд идёт мимо...

— Что значит, мимо?

— То и значит. Он выходит из одной окраины Города и уходит через другую. С запада на восток. Мне кажется...

— Что?

— Мне иногда кажется, он идёт в тот мир, откуда мы пришли...

— Но ведь это только твои предположения?

— И всё-таки... Сколько раз, решив, что испытания не для меня, я хотела остановить этот поезд, просить, чтобы меня забрали. Туда, откуда я пришла. Но у меня не хватало смелости. Я всегда боялась его, чёрного, летящего через ночь — неизвестно куда...

— Ты же прекрасно знала, как и все в этом Городе, отсюда только один путь — через Главную площадь...

Кутаясь в полушубок, Саша кивнула:

— Но мы там уже побывали. Может быть, попавшие в «Цирк» вместе, вышедшие оттуда вдвоём, имеют право точно так же и уйти из Города?.. Ведь у нас есть шанс, разве не так?

Минут через пятнадцать они перешли железнодорожные пути и оказались на возвышении. Внизу им открылось огромное белое пространство — эллипс, перехваченный посередине, отчего поле походило на чей-то гигантский след. Убранное льдом и снегом озеро...

Взяв Александра за руку, но почти тут же выпустив её, Саша быстро сбежала вниз и теперь была там, у самого начала исполинского следа. Танцуя выдуманные на ходу па вальса, умело скользя, взрывая сапожками снег, Саша всё дальше уплывала от него. Их отделяло друг от друга всё большее расстояние... Неожиданно для самого себя он почувствовал боль: она уколола его точно в сердце. Это было предчувствие чего-то плохого, что, возможно, было уже совсем близко...

— Идём же! — разом остановившись, точно негодуя на его нерешительность, на то, что он до сих пор ещё не с ней, крикнула Саша. — Александр! Ну, прошу тебя, здесь, под этим снегом, настоящий каток!

Сжав горлышко торчавшей из кармана бутылки ликёра, он неотрывно смотрел на Сашу. Оцепенев, он чувствовал, что каждая его клеточка наполняется страхом. Так что это могло быть? Чего он боялся? Ледяной пропасти, над которой, ничего не подозревая, стояла Саша? Или... это ещё один аттракцион Города? И он, простофиля, позволил втянуть себя в него, отпустив руку Саши, позволив ей оказаться сейчас там — внизу? В его ушах, предупреждая близкое (и такое возможное), стоял хруст льда, плеск воды и самое страшное — её, Саши, крик, точно он уже слышал его когда-то; и ещё — он чувствовал на своём лице обжигающие ледяные капли...

Его торопливый шаг почти сразу превратился в бег. Он упал, скатился на заметенный снегом лед. «Саша!» — хотел закричать он, но задохнулся от забившего рот снега... Он услышал её смех — издалека. Но опомнился только тогда, когда Саша, ещё не насмеявшись вдоволь, обняв, целовала его в губы.

— Пьяница, — говорила она, выуживая из его кармана бутылку, — ты выдул почти весь мой ликёр... Ну, что ты можешь сказать в своё оправдание?

Язык не слушался его:

— Я... оставил тебе глоток.

— Это верно, глоток ты оставил, — она взяла из его рук бутылку, опрокинула остатки прямо из горлышка, запустила бутылку в снег. — Да что с тобой? Ты замёрз? У тебя озноб... Идём домой, — она взяла его за руку и потащила за собой. — Не хватает ещё, чтобы ты заболел. Сейчас дома я тебя обогрею. Наверное, ты уже знаешь, как я это сделаю, да? Конечно, знаешь. Но вначале я напою тебя горячим чаем...

...Они уже поднимались по пологому берегу. Ледяная пропасть, на которую он боялся теперь оглянуться, осталась позади...

Когда они взбирались по пологому склону, она поставила ему ножку, толкнула в снег и сама легко повалилась следом. Она целовала его жадно, не отпуская, одной рукой расстёгивая пальто, другой забирая ему под свитер — он уже чувствовал на животе её ледяные, но оттого не менее настойчивые пальцы.

— Боюсь, здесь ничего не выйдет, слишком холодно. Послушай, это даже нелепо. Саша... — он скорее мычал, чем говорил: ему мешали её губы.

— Нет, здесь, сейчас. Я сделаю так, что тебя не коснётся декабрь. Я сумею, — она лукаво засмеялась, приподнимаясь, раскрывая — точно барышня на самоваре — полы своего полущубка и усаживаясь на него верхом. — Можно хоть раз в жизни — вот так? — её руки, губы — во всём этом было столько нежности, что спустя несколько мгновений он и сам не позволил бы ей остановиться, сбежать...

— Мне жарко, — проговорила она чуть позже, все ещё сидя на нём, стаскивая с шеи длинный вязаный шарф.

— Мне тоже не холодно, — откликнулся он, всё ещё мало веря в только что произошедшее с ними (что было, скорее, под стать подросткам, жадным до выдумок подобного рода, чем двум взрослым людям).

Похожие на двух белых медведей, они вышли к железнодорожным путям.

Внизу тянулись заснеженные поля и озёра. Дальше, неровными цепями надёжно сковав окрестности Города, начинались леса. Они уходили к самому горизонту. Из-за их ершистых верхушек и пробивался рассвет. Луна стала бледнее... Александр всё-таки оглянулся. Оставшееся за спиной озеро читалось под снегом всё тем же гигантским следом. Он всё ещё не верил, что Саша, кутаясь в полущубок, беззаботная, шла рядом и держала его за руку, что он слышал её голос, напевавший что-то очень знакомое, весёлое и немного грустное.

— Тебе не холодно? — сжав её пальцы, чувствуя, как его переполняет великая нежность к этой женщине, негромко проговорил Александр. — Простыть после таких процедур — пара пустяков.

— Какой вы заботливый, папочка, — откликнулась она и, мягко забирая у него свою руку, остановилась. — Вот и стрелка. Мы почти пришли, — она поправила шарф, застегнула полущубок.

Он улыбнулся её послушности и двинулся дальше.

— А ты вряд ли отыскал бы мой дом, если бы оказался здесь один, без меня, да?... Скорее смотри, какая я ловкая!

Александр обернулся. Саша шла по одному из рельс, балансируя руками, как канатоходец.

— А если поскользнёшься?

— Не-а. Осталось-то несколько шагов — рельсы вон уже сходятся...

Он посмотрел на крыши домов, один из которых — там, дальше — был её домом, но ответить не успел. Стальной звук, точно разряд электрического тока, прошёл под его ногами, превратившись в сухой отчётливый щелчок — совсем рядом, точно захлопнулся язычок английского замка. И следом он услышал крик — нет, скорее, сдавленный стон... В пяти шагах от него, как-то странно и неуклюже наклонившись влево, неподвижно стояла Саша.

— Господи, я слышала, что такое случается, — глухо проговорила она. — Мне в детстве говорил об этом отец. Если бы не высокая подошва, я бы осталась калекой... Санечка, мне больно, очень больно.

Только тут он понял, что случилось. Правая нога Саши оказалась в стальном капкане. Он подбежал к ней и сразу увидел на её глазах слёзы. Закусив губу, она попыталась улыбнуться, но вместо того только растерянно покачала головой.

Он быстро нагнулся.

— Сейчас, милая, подожди.

— Куда я денусь...

Она упёрлась ему рукой в спину, не слишком сильно, стараясь не быть в эту минуту помехой. Взяв её сапог за голенище, Александр рванул его на себя. Мало того, что из этого ничего не вышло — он сделал это слишком грубо, потому что Саша, схватив воздух ртом, прошептала:

— Осторожнее, прошу тебя... Как всё глупо вышло.

И тут позади себя он услышал далёкий пронзительный гудок. Он обернулся: где-то там, за лесом, по направлению к ним сейчас шёл поезд. Он поймал взгляд Саши. В нём было недоумение, растерянность. Только не страх.

— Это... поезд? — едва слышно спросила она.

— Да, — кивнул он, — поезд. Нам следует поторопиться...

Он тоже когда-то слышал, что у рельс отменная хватка. Но никогда не предполагал, что это как-то коснётся его. Или любимого им человека... Точно очнувшись, он взялся за колечко замка, потянул его, — наверное, это вышло не слишком ловко — оно осталось в его замёрзших пальцах. Это был тот самый злосчастный замок, причинявший им столько хлопот в «Зимней ресторации», во всех увеселительных заведениях, которые они посещали в эту ночь. Сталь сдавила высокую подошву и самое начало ступни. О том, чтобы вытащить ногу с сапогом, не было и речи. Всё это время Саша стояла, вцепившись в воротник его пальто, почти не двигаясь, целиком полагаясь на его волю.

Он с силой, обеими руками, рванул кожу, плотно обтягивающую икру Саши, но из этого ничего не вышло. Замок был сработан крепко, на славу. Он сидел, точно литой...

Ещё один гудок — более близкий — заставил его вновь стремительно, почти ошалело обернуться. Из-за далёкого леса, с которым их разделяло заснеженное поле, сейчас залитое молочным ультрамарином

предрабасветного часа, вырвались две далёкие фары. И тотчас за ними потянулось что-то чёрное, под стать плотной полосе деревьев.

— Скорее, — прошептал её голос. — Господи, скорее. Прошу тебя, торопись. Слышишь?..

Да, он услышал его, точно сквозь пелену, сильно, яростно, до боли сдавившую его уши. Неожиданно к нему пришла, захватив его целиком, мысль: немедленно броситься к будке стрелочника, кричать ему, чтобы он развёл рельсы. Эта мысль так завладела им, что на какое-то время он оказался ею парализован.

Тупо дёргая ногу Саши, он знал, что причиняет ей боль. Но сейчас это не имело ровным счётом никакого значения. Пытаясь вырвать у рельс их добычу, Александр рычал. Он то и дело оглядывался назад. Там, среди поля, вырастали фары локомотива и тёмная, густая, извивающаяся змеей лента состава. Саша плакала, закусив шарф.

Он мучил её, себя — и всё было тщетно...

Что же, бежать вперёд, махать изо всех сил, чтобы привлечь внимание машинистов, надеясь на чудо? Вдруг он среди этого глухого утра, ещё почти ночи будет замечен, услышан? Вдруг состав резко замедлит ход, проползёт короткий тормозной путь и остановится далеко от стрелки?.. Но если машинисты заняты разговором, если именно тогда, когда он попытается остановить состав, один машинист захочет прикурить и полезет в карман за сигаретой, а другой будет искать коробок спичек или зажигалку — что тогда? И состав, не заметив его, не узнав о его существовании, пронесётся мимо? И... Саша будет там, то есть — здесь, в этом капкане, — ждать чудовищной расправы?

Из его груди вырвался стон — хриплый, полный отчаяния. Нет, нельзя! Нельзя... А свет фар уже медленно бежал по середине поля, волоча за собой не тёмную полосу, как минуту назад, размытую расстоянием, — он тащил за собой тяжёлую гусеницу — плотную вереницу вагонов...

Всё пришло к нему разом, в одно мгновение: озеро — гигантский след на ландшафте — было шуткой! Как и вальсирующая над бездной Саша. Часть изодрённой и жестокой игры, в которую впутали их обоих. Но теперь игра закончилась. Всё было по-другому. Там, уже близко, через ночь к ним двигался поезд. Тот самый поезд, который проходил через Город, едва касаясь его окраин. Поезд, на котором они хотели уехать отсюда вдвоём. И Саша была его пленницей... Откровение мешало ему дышать. Но внутри рождалось и другое. Да, один день у них был, и его хватило бы на сотни жизней! Да, теперь он точно знал, что смерть может быть не страшна, что он не боится её, не думает о ней. Но он больше не желал с ней мириться. Потворствовать ей. Он знал, что хочет жить. И непременно хочет, чтобы жила Саша. Он знал, что вдвоём они обязательно окажутся сильнее того, что уже неминуемо приближалось к ним. Во всём этом была уже изведанная ранее свобода.

Всё тот же острый, как игла, луч бессмертия, которому, оказывает-ся, так легко пронзить сердце человека...

Два огня, бежавших по полю, приближались. Они с предельной точностью вычерчивали путь невидимых под снегом, но неизменно ведущих сюда — к этой стрелке — рельс. Огни вырастали. Шли секунды. Рельсы пульсировали, дышали этим близким — тяжёлым, гулким, нарастающим, как барабанная дробь, звенящим движением. Рельсы и провода пели, весело пели, возвещая приближение летящего, закрывавшего светом уже ближние пространства состава...

Саша уже не могла плакать, её голос превратился в один хриплый стон, когда рука его в отчаянии нырнула в карман пальто и вырвала оттуда оправленный в пластмассу кусочек стали. Он жадно рассматривал этот причудливый инструмент, вот они — штопор, вилка, нож! Он судорожно, вцепившись ногтем, вытащил короткое лезвие. И, не слушая ни звенящих рельс, ни отчаяния державшей его за плечо женщины, вонзил острие ножа в кожаное голенище сапога...

...Когда тяжёлый гудок выстрелил у него за спиной, когда гудела земля, а волна воздуха ударила сзади и ослепительный мощный свет выхватил из темноты шпалы и рельсы, он вырвал Сашу наверх, вместе с ней повалился в снег. Горячая волна что есть силы обдала их, а он ещё прижимал к себе её колени, прижимал так, словно кто-то и сейчас пытался отнять её у него. Потом всё вокруг превратилось в один, похожий на стремительное, бешеное сердцебиение гром: над ними проносились вагоны, яростно мелькали колёса, быстро пролетали чёрные днища платформ, стянутые тросами брёвна; вновь мелькали колёса. И казалось, этому не будет конца... А потом этот гром и чёрное пятно последнего вагона стали уходить среди синего снега и вновь медленно приходившей прудутренней тишины...

Они лежали на снегу, в полуметре от рельс, лежали, всё ещё не отпуская друг друга. Наконец он решился заглянуть ей в глаза.

— Это действительно было? — шёпотом спросила Саша.

— Не знаю...

Она попыталась улыбнуться:

— Наверное, всё-таки было — нога очень болит...

Он быстро осмотрел её ступню, икру. В одном месте она была рас-сечена до крови. Это был порез от ножа.

— Пошевели пальцами, — попросил он.

Исполнив его просьбу, она всё же тихонько вскрикнула.

— Через неделю я поставлю тебя на ноги, — кивнул он. — Через месяц ты опять будешь танцевать. А теперь...

Своим шарфом он бережно обмотал её ногу. Встав на колени, под-нял Сашу на руки, поднялся сам. Не слишком твёрдо, ещё не сразу соо-бщая, куда идти, шагнул через первую рельсу. А следом увидел остан-ки разорванного в клочья — колёсами пролетевшего состава — сапога.

— А теперь ты будешь моим поводырём. Что верно, то верно: без тебя я вряд ли нашёл бы дорогу.

На руках он принёс её к дому; Саша забралась в карман своего полубубка, отдала ему ключ; перехватив её, крепко державшую его за шею, он отпер дверь. Сразу прошёл в комнату, положил Сашу на разобранную, оставленную ими час назад кровать. Включил настольную лампу. Саша слабо улыбнулась ему, одними губами сказала: «Спасибо».

— Нужно сходить за доктором, — сказал он.

Она покачала головой:

— Нет, не ходи никуда. Я боюсь оставаться одна. Ты и сам сможешь перебинтовать мне ногу. Не ходи. У меня... дурное предчувствие. Мне кажется, что если теперь ты уйдёшь, то...

— То что?

— Что ты уже не вернёшься сюда, в этот дом, ко мне. Что я не увижу тебя. Глупо, наверное...

Сев на самый краешек кровати, он, глядя на свои руки, усмехнулся:

— Это всё с перепуга. Дрожат... Куда я денусь? Теперь я буду с тобой, если ты сама меня не прогонишь.

— Поцелуй меня, — тихо сказала Саша.

Он подсел к ней ближе. Протянув к нему руки, она целовала его с такой нежностью и горечью одновременно, что он вдруг испугался этого поцелуя. Он хотел что-то сказать, оторваться, но Саша, сжав ещё крепче руки на его шее, запустив пальцы в волосы, не отпускала его.

— Ты же взрослая девочка и сама понимаешь, что врач тебе необходим, — всё-таки сумел произнести он, что стоило ему немалого труда. — Правда?

— Правда.

— Вот и хорошо. Ключ я возьму с собой, — вставая, сказал он. — Так где живёт ближайший из докторов?

Не отпуская его глаз, она рассеянно пожала плечами:

— Я слышала, что в кварталах шести или семи от моего дома есть больница. Но где точно — не знаю. Не забудь мой адрес: Окраинная, двенадцать... Может быть, всё-таки подождём до утра?

— Но уже утро, — он кивнул на бледный, сделавший всё серым рассвет за окном. — Самое время, — и подняв зажатый в руке ключ, добавил: — Я буду через полчаса. От силы — час. Жди меня. И, смотри, никуда не уходи.

Саша кивнула. В её глазах сейчас было столько готовых вот-вот прорваться слёз, что он остановился в дверях.

— Да что с тобой?

— Ничего. Иди, но обязательно возвращайся. Я буду ждать тебя. Я очень буду ждать тебя.

Он кивнул и, быстро пройдя коридор, вышел из дома.

В сумраке таявшей ночи он прошёл шесть или семь кварталов в выбранном им самим направлении. Больницы не было. Наверное, если бы с Сашей приключилось что-нибудь более серьёзное, он бы, не раздумывая, стал стучаться во все двери. А так он решил положиться на собственную находчивость. Но полчаса кружения по одним и тем же кварталам стали выводить его из себя. К его счастью (и совершенно неожиданно) его окликнули:

— Вы уже второй раз проходите здесь, милейший. Не спится?

Александр остановился, озираясь. Но улица была пуста. И тогда он посмотрел вверх. На балконе второго этажа одного из домов, одетый в длинное тёмное пальто, кутаясь в шарф, в плетённом кресле сидел человек. Его лицо показалось Александру знакомым...

— Может быть, я смогу помочь вам?

— Да, конечно. Мне нужна ближайшая больница. Она где-то здесь неподалёку?

— Ну, не то чтобы неподалёку... Но больница есть.

— Тогда скажите и, если можно, поточнее: это очень важно!

— Можно и поточнее, — кивнул человек с балкона. — Вам нужно пройти два квартала прямо по этой улице, — он указал рукой в перчатке налево, — так-с... три квартала вправо. Там будет большой сквер, вы его увидите. Так вот, за этим сквером — кварталах в двух или трёх — и будет больница.

Александр просчитал в уме нарисованную ему схему. Ещё раз взглянул на человека, отчего-то в этот ранний час не спавшего, но, к счастью, раздававшего дельные советы. Поблагодарил и поспешил прочь...

«Окраинная, двенадцать», — твердил он, когда, оставив позади дома и кольцевую дорогу, шагал через большой сквер с десятками дорожек и аллей, уже боясь заблудиться, не найти прямой путь обратно. Захочет ли врач отправиться с ним сейчас? Может быть, у них есть дежурная машина? Как всё это получится? И что сейчас думает Саша? Ведь он уже странствует не менее часа, а то и дольше!.. Саша, которая ждет его в своём маленьком домишке — одна. И почему не кончается этот сквер?..

Но с каждой новой минутой его пути все вопросы стали исчезать один за другим. Кроме одного — последнего. Где граница этого сквера, где продолжение Города, его кварталов и домов, улиц? То продолжение, где должна быть нужная ему больница?..

И вдруг Александр остановился. Он разом вспомнил, где видел субъекта с шарфом на шее, говорившего с ним, сидя на балконе второго этажа неизвестного ему дома.

Это был человек из «Цирка-аттракциона»...

...Он бежал назад — бежал что есть силы. Но все аллеи гигантского сквера были похожи друг на друга, одинаково извилисты. Все, как

одна, одинаково терялись за новыми и новыми поворотами. Несколько раз он поскальзывался, падал. И когда наконец, задохнувшись, остановился в очередной раз, то обнаружил, что стоит там, где раньше не был: заснеженная дорожка продолжалась без единого следа... Он понял, что заблудился окончательно.

Но он ещё не хотел верить, что именно это и должно было с ним произойти.

...Теперь тени лежали только под деревьями, в неизвестно откуда взявшихся ложбинах, оврагах. Но это утро было мрачным, точно в некий миг время повернуло вспять и, так и не дав новому дню разгореться, вновь решило затянуть всё сумерками заката...

Продрогнув, Александр тупо бродил по скверу, давно превратившемуся в лес, пока не вышел к каким-то особнячкам. Голова его шла кругом. Он уже не чувствовал ног. Руки в перчатках заledenели. Точно заклинание, он твердил только два слова: «Окраинная, двенадцать...» У одного из деревянных заборов он покачнулся, схватился за колышки, вместе с ними его, терявшего силы, потащило вперёд — и он ввалился в открывшуюся калитку...

Глава пятая

Александр, Сашенька... Он открыл глаза и увидел над собой бледное пятно. Это было лицо женщины. Он пытался всмотреться в него, но не мог. Лицо было прямо над ним. Он различал губы, глаза. Он чувствовал, как чья-то рука гладит его волосы.

Едва разлепив губы, он прошептал:

— Саша...

И снова провалился в небытие... Он стремительно летел в чёрный колодец, и ему было жутко, потому что этим колодцем было небо над Городом — чёрное беззвёздное небо. Потом были снег и пурга, и он шёл, ежась, замерзая, по незнакомым улицам, и не было им конца. Наконец он оказался у серого, стоявшего в середине площади здания. И вот уже странный человек — тот человек, которого он ненавидел, — язвительно улыбался ему, заманивая нечаянного гостя в тёмный проём дверей. Потом целый поток событий — незначительных, монотонных — закружил его, потащил, точно лёгкую щепку, за собой... И вот перед ним была женщина: короткая стрижка, большие карие глаза, не видевшие ничего, плечи и руки — тонкие, хрупкие, полные неизъяснимого одиночества... Потом была танцевальная площадка, звуки очень знакомого, близкого ему танго, домишко на окраине Города. И там, среди нехитрых предметов, было столько нежности, что ему казалось, он не сможет взять всего этого сразу, что сердце его не выдержит и остановится. И он не пожалел об этом... А вслед за этим явился отпечаток чьей-то гигантской ступ-

ни на заснеженном поле, женщина, взрывавшая сапожками снег, танцевавшая на запорошенном льду. И только потом были рельсы, бежавшие по полю фары электровоза и всё, что последовало за этим. И главное — тонкий луч, коснувшийся его сердца... Потом были глаза Саши, одетой, лежащей на постели; человек, сидевший на балконе в кресле, кутавшийся в пальто и шарф, сквер с его бесконечными аллеями...

...Открыв глаза, он увидел над собой лицо Марии. Её длинные белые волосы касались его груди.

— Слава Богу, Сашенька, — сказала она, — кажется, ты приходишь в себя. Мы стали уже переживать. Мог бы замёрзнуть и не вернуться к нам...

— Вернуться... к вам?

— Мы едва отыскиали тебя — на одной из дачных улиц. Уже стемнело. Ты провалился в чужую калитку, лежал прямо в снегу. Что могло с тобой случиться? Эльвира — врач, она сказала: это не сердце, не инсульт. Всё работает прекрасно. И тем не менее... Ты очень сильно замёрз, очень, мы растирали тебя водкой по очереди. Одна из двух бутылок ушла на тебя. Кстати, она за тобой, — взъерошив ему волосы, Мария облегчённо вздохнула. — Ты проспал всю ночь. Но теперь, кажется, всё обошлось. Вот только шашлыки остыли — со вчерашнего-то дня...

— А где... Саша?

— Саша? А кто это — Саша?

Он посмотрел в глаза Маши, полные теплоты, но совсем не понимавшие его.

— Нет, ничего. Это я так...

— С тобой всё в порядке?

— Да, всё в порядке. Я ещё полежу — один. Хорошо?

— Конечно.

Мария встала и, подмигнув ему с порога, вышла... Едва закрылась за ней дверь, как он отвернулся к окну — белому, за которым была та же зима, тот же декабрь, — и, сжав зубы, почувствовал, что задыхается: из самого нутра рвался его собственный, ставший вдруг чужим голос. Ему ничего не оставалось, как уткнуться в подушку, спрятать в ней лицо...

Воспаления лёгких он не избежал. До конца января провалился в больницу, и Вадим с Марией, другие его друзья носили ему бульоны и фрукты. Весь этот месяц он просмотрел в белый больничный потолок, не читая газет, не вступая ни с кем в разговоры... В тот день, когда его выписали, Лушины приехали за ним на своей «Волге», сами забрали его вещи, доставили домой — бледного, тихого, смотревшего на всё так, точно всё он видит впервые...

...Оставив свой дом в трёх кварталах, он вошёл в парк. Тот парк, где так часто любил гулять с самой юности. Была удивительная тиши-

на, и только несколько птиц — негромко, по-зимнему — пели где-то в кронах чёрных, отягчённых снегом деревьев. Этим ранним утром он был здесь первым — ни одного следа впереди. В такой час кажется, что жизнь твоя начинается заново, что ты — ребёнок, делающий свои первые шаги... Он запахнул плотнее пальто, прихватив его у подбородка; посмотрел вверх, где над деревьями и едва видневшимися крышами домов было белое, как молоко, зимнее небо. Вопреки советам врачей закурил. И тут же закашлялся — громко, надсадно. Одна из птиц, обнаружив себя, вспорхнула, разбрызгав снег с высокой ветки, торопливо переметнулась на другое дерево...

Он не мог прийти сюда раньше. Он боялся. И только теперь решил-ся сделать это. Именно сегодня, стоило ему проснуться, он почувствовал, что это — его день. Сейчас он побреется на скорую руку, выпьет чашку кофе, наденет пальто и выйдет. Пройдёт несколько кварталов, пересечёт улицу и — сделает шаг в это белое и недвижимое измерение. По неизвестным ему законам существующее отдельно от всего остального мира... Он не испугается, дойдёт до середины зимнего парка. И тогда же что-то исподволь, ярко, захлестнёт его сердце, заставит его биться иначе, чем прежде. Он знал: это будет чьё-то присутствие, где-то совсем рядом.

Там, на другом конце парка, его будут ждать...

«Да, конечно, — оставляя позади себя ворота и ещё спавшую улицу, шагая вперёд, думал он, — я знаю, знаю всё наперёд. Она будет стоять там — с другой стороны, в полушубке и пушистой шапке с хвостом, и кормить собравшихся в стаю около её ног голубей — семечками или чёрствым хлебом...»

Он уже был недалеко от центральных аллей парка, когда остановился. А что если он всё это выдумал? Если всё — одно его слепое желание?.. Вокруг была та же тишина, покой. Запустив руки в карманы пальто, он стоял среди этой тишины и не смел идти вперёд. Так что же — вернуться? бежать? продолжать ждать чего-то? Он нащупал в кармане пачку сигарет, но вытащить её так и не успел... Заснеженные верхушки деревьев вспыхнули — алмазной пылью, золотом. И следом на заснеженные аллеи парка — где-то за деревьями — легло утреннее солнце. Точно облака распахнулись над землёй, отдавая ей всё золото, которое только хранилось на небесах до этого дня. Солнце бежало-бежало в его сторону! Его было много. Так много, что оно заполняло собой всё пространство. Солнце катилось — по снегу, по всем его синим, ещё хранившим в себе предрассветные тени ложбинкам и сугробам, расплёскиваясь по чёрным стволам деревьев, зажигая иней. Оно летело уже по ближней аллее — летело на него, всё быстрее, грозясь захлестнуть его, ослепить. И когда эта пронзительно звучащая стена уже нависла над ним, едва успев побольше набрать в лёгкие воздуха, он зажмурился. И спустя мгновения, потеряв равновесие, уже подхваченный этим ослепительным вихрем, тонул в его золоте, в его алмазной пыли...

Зечка

В ту ночь, бросив оружие в снег, она бежала мимо одинаковых домов; ей казалось, что жизнь окончилась. Что её, Риты Сотниковой, больше нет на свете. Потом она заскочила в чужой подъезд, забилась в угол рядом с батареей. Шли минуты. Сердце бешено колотилось. А едва оттаяв, она заплакала — закусив шарф, утопив в нём лицо...

В шестом классе, сдавая учительнице сочинение на тему «Мои Карловы Вары», Рита Сотникова ещё не знала, что задание по литературе решит её судьбу. Сочинение заняло первое место в районе, второе в городе (первое досталось племяннику мэра). Женщина из отдела культуры, вручавшая девочке грамоту, назвала её в тот день «маленькой Жорж Санд».

Когда Рите исполнилось четырнадцать, она пришла в школу молодых журналистов, открытую при областной газете. В пятнадцать вышла её первая заметка о заезде зоопарке.

Она сравнила слона, прикованного цепью к земле, с бабочкой, которой не дают улететь. А так бы и вспорхнул этот гигант — только бы его и видали!

— Значит, слон, а в душе он — бабочка? — не поленился спросить у неё сам главный редактор — огромный толстый дядька.

— Точно, — кивнула она.

Редактор одобрительно улыбнулся:

— Мне нравится.

Старшие товарищи подметили ёмкость фразы у юной коллеги, стиль.

В тот же год у Риты случился первый роман. Она училась в девятом. Однажды Рита шла в булочную, когда что-то стиснуло талию, она едва успела вздохнуть, а её уже окружили, подняли к самым небесам. Стоило Рите опуститься на землю, обернуться, как она, ещё не зная, обидеться ли ей, испугаться, сразу узнала его...

Это был Андрей Батюшков по прозвищу «Лось», его помнили все девушки в школе. Баскетболист, задавала. Лось жил в соседнем дворе. Забегая к подружкам, Рита часто засматривалась на высокого парня, которому обыграть противника на площадке и забросить мяч в сетку

было самым плёвым делом. И потом — Лось имел личный транспорт. Колесил по всей округе на старенькой «Яве».

В тот же вечер они пошли в кино. Через неделю Лось пригласил Риту к себе домой: его мать с отцом уехали в деревню к родне. Там всё и случилось — на родительской кровати. Рита вошла в свой подъезд, как и положено, в одиннадцать вечера. Но домой попала за полночь. Потому что ещё часа полтора они целовались на площадке первого этажа.

«У меня самый крутой парень в школе, — когда они устремлялись на танцы в городской парк, оглядывая статного спутника, с гордостью думала Рита. — А по-другому и быть не могло».

Лось любил подразнить водителей за рулём своего мотоцикла, Рита, если в такие минуты оказывалась за его спиной, что есть силы прижималась к нему. Потом говорила, что никогда больше не поедет с ним — может один разбиваться, если хочет. Но вновь садилась. А следом и сама выучилась ездить. Лось было вначале воспротивился её порыву, но Рита настояла. Чем она хуже? Только бы родители не узнали...

Как-то ночью они бежали от автобусной остановки, бежали под проливным дождём, сцепившись за руки, смеялись; едва не растянулись в огромной, похожей на океан луже, в потёмках залетев на самую её середину. Начерпали воды, совсем стали похожи на чертей. Потом он нёс её на руках. За квартал от дома Риты, точно о чём-то вспомнив, Лось быстро опустил её. Чмокнул в щёку.

— Подожди, я сейчас! — рванувшись в сторону, уже на бегу бросил он. Она, съёжившись, стояла под деревом. И ждала чуда. Он вернулся скоро, как тот парень из старой полублатной песни, вернулся с букетом роз.

Лось был мокрый, счастливый, сильный. С исцарапанными руками.

— Прикончил клумбу у кинотеатра? — заливаясь смехом, смахивая с лица дождевые капли, спросила Рита.

— Ага, — просто ответил он.

Встав на цыпочки, она потянулась к нему, обнимая его за шею. А он, подставляя губы, всё дальше отводил за спину розовый букет, чтобы не дай-то бог острые шипы не укололи его девушку, женщину...

Одним словом, Рита влюбилась.

Через восемь месяцев Лось ушёл в армию — на флот. Они обещали писать друг другу каждую неделю, а через три года пожениться.

Рита окончила школу. К тому времени у неё уже было достаточно публикаций, чтобы приходить в редакции нескольких городских газет, как к себе домой.

У одного из заданий вышла особая история. Ей посоветовали написать об одном парне, фронтовике, афганце, лишившемся в бою ног. Имя у него было такое звучное — Борис Броневой. Теперь, инвалиду,

ему приходилось просить милостыню в метро. У Риты сердце сжалось, когда она увидела его в кресле-каталке, с пустыми от колен брючинами. В тельняшке, тощего. Только вот глаза у него бегали как-то странно и блестели чересчур лихорадочно. «Но ведь ему столько пришлось пережить», — подумала Рита.

— Я тут одно кафе знаю, — после короткого разговора сказал парень. — Не посидишь со мной завтра вечером? Там и договорим. Пожалуйста.

Рита не смогла отказать, но сказала:

— Я подружку с собой возьму, хорошо?

Борис пожал плечами:

— Как скажешь.

Вместе с Лерой Ромашовой они оказались следующим вечером в мрачном кафе, где собирались все местные выпивохи. «Ну и рожи», — прошептала Лера, едва они туда вошли. Борис встретил их немного поддатым, но в чистой рубашке, под которой виднелся уголок тельника, и новых джинсах, подвёрнутых у колен. Рита села рядом с Борисом, он сам, ловко управляясь с каталкой, отодвинул стул; подружка — напротив. Лера не подавала вида, но морщилась: в кафе смердело. Грязные скатерти; качающиеся, как кораблики на волнах, кособокие столы. Завсегдатаи только подтягивались, подходили работяги. На тройку молодых людей поглядывали. Кто-то посмеивался, качал головой. Им принесли пива. Лера с брезгливостью разглядывала свою кружку, особенно — ободок. Рита, набравшись смелости, отхлебнула. Наконец она журналистка или кто? Всё должна попробовать, как вот этот парень, герой, несчастный человек. Всё должна испытать.

— Эх, красотки, ну, красотки! — проходя мимо, тяжело балансируя толстым задом, весело говорила краснолицая и уже немолодая барменша. — И где, Борька, таких нашёл, а?

— Не звезды, — огрызался афганец.

Девушки переглядывались: обстановка была натянутой, Лера — так просто мучилась, озираясь по сторонам.

— Я только в последний момент того моджахеда увидел с гранатомётом, — после двух кружек став пьяным, рассказывал Борис. — Потом взрыв — и все, — он так и чертил глазами по Рите, по её высокой полной груди, а когда опускал глаза — по ляжкам, обтянутым джинсами. — Помню, весь в крови, а в ногах — холод...

После третьей кружки он дотянулся и положил руку на ляжку Риты, совсем рядом с низким поясом, горячо сдавил её.

— Вы что, Борис? — Рита дёрнулась в сторону.

— Мы на ты.

— Ты... что? — повторила она.

— Что-что, разве не ясно?

Лера уставилась на них, ещё не понимая, что происходит.

— Ты бы пожалела меня, приголубила, — уперев в Риту тёмный взгляд обалдевших глаз, выговорил Борис.

— Я так не могу, — замотала она головой.

— А как ты можешь?

— Никак, — ответила она.

— Это почему же — никак? — уже зло спросил калека. — Ног нет, значит, никак?

Он ещё сильнее сжал её ляжку. Рита хоть и была смелой, но оцепенела. Всё вышло так неожиданно, что она даже не успела решить, как себя вести. Это был не обычный уличный прилипала. До Леры наконец дошло, что к её подруге пристают, но, проглотив язык, она только хлопала глазами, переводя взгляд с Бориса на Риту и обратно.

— Мы уйдём, — сказала Рита. — Извини.

Она хотела было подняться, но Борис тут же перехватил её за руку:

— А ну, стой, — Рита рванулась, но он ещё сильнее дернул её за руку назад. — Стоять!

На его крик оглянулись почти все. Кажется, барменша обо всём знала заранее. Может быть, видела такое не раз. Сцена забавляла её. Она даже перестала протирать грязную кружку. Пышное тело женщины уже дрожало в такт подступающему беззвучному смеху.

— Отпустите мою руку! — громко выговорила Рита, всё же поднявшись, уже пытаясь вырваться из-за стола.

— Вы чего, вы чего? — глядя на безногого парня, злого, решительного, уже подскочив, бормотала Лера. У неё дрожали губы. — Вы чего, вы чего?

— А ты проваливай отсюда, — рыкнул он на подружку. И тотчас забыв о Лере, цепко удерживая рукав кожаной курточки Риты, глухо заговорил: — Стой, стой, стой!

Теперь барменша-толстуха просто заливалась смехом:

— Остынь, Борька, остынь! Не для тебя девки-то! Смотри, какие красотки! — кивала она на девушек. — Девулечки! Папкины-мамкины дочки, небось! Ты Верку-метлу попроси, она тебя сама отымеет за твой недельный гонорар! — барменшу просто трясло от смеха. — Только культю свяжет, чтоб не брыкался!

Хохоток загулял по забегаловке: в барменше ценили и гостеприимство, и разудалое чувство юмора.

— Да пошла ты! Пошла ты! — нервно дёргая головой, огрызался Борис, не зная, с кем ему воевать. Коляска так и крутилась под ним. — Корова!

Барменша зло засмеялась:

— Ишь, «корова»! Сам-то ты кто? Фронтовик хренов!

Рита всё-таки вырвалась — рукав её, затрещав, разъехался до самого локтя. Уже освобождаясь, она ударила сумочкой Бориса по глазам.

— Скажи спасибо, что инвалид! — отскакивая, выпалила она.

Теперь вся забегаловка, гогоча, плялилась на них: вот представление, и денег платить не надо!

— Ты им не сказал, как свои ноги под электричкой потерял, когда спиртягой упился? — громко продолжала барменша. — Или забыл? Лапшу на уши вешаешь, Броневой! Ты же Пупкин по батьке своему, алкашу! В майку полосатую вырядился! Клоун!

— Суки! — не слушая барменшу, кричал вслед девушкам Борис. — Я вас ещё найду и отымею! Поняли?! На ремешки порежу!

Тяжёлое бранное слово выстрелило им в спину.

— Ладно, Борька, кончай балаган, — уже вдоволь насмеявшись, от кашля став пунцовой, приказала барменша. Она утёрлась несвежим полотенцем. — Остынь, Борька, остынь, тебе говорю, а не то выгоню. У всякого своя судьба. Тебе милостыню просить, мне за вами, говнюками, кружки мыть и дерьмо собирать, — он попытался разрядиться ещё одной очередью мата, но толстуха уже не шутила. — Остынь: милиции нам ещё тут не хватало! Если приведут — ноги здесь твоей не будет! — барменша усмехнулась. — Обрубков твоих...

Подружки переводили дух на улице. Лера держалась за лицо, точно её ударили. Неожиданно она заревела — совсем по-девчоночьи, взхлёб.

Рита, которую и саму трясло, прижала её к себе:

— Ладно, успокойся. Сейчас на тачку — и домой. Вот сволочь, — она недоуменно покачала головой. — Значит, под электричкой?..

Уже в машине Рита взяла подругу за рукав:

— Слушай, я здесь выйду.

— Зачем?

— Так надо, — она забралась рукой в сумочку. — Диктофон у меня с собой. Плёнка есть. Тут один дядька живёт, хороший. Мне с ним поговорить надо. Он будет дома, я знаю. Он всегда дома: работа у него такая, — Рита чмокнула подругу в щёку. — Пока, завтра увидимся, — и хлопнула рукой по сиденью. — Шеф, останови на светофоре!

На следующий день она вошла в редакцию, в свой отдел и смело сказала:

— Материала об инвалиде не будет.

— Как это не будет? — спросила Жанна Елецкая.

— Вот так. Простите меня, Жанна Борисовна.

— Но... я его читала. Твою заготовку. Это хороший материал.

— Плохой, — уверенно сказала Рита.

Жанна не понимала, что происходит с её маленькой протее.

— Ты нас подводишь...

— У меня есть замена.

— Какая?

— О гитаристе Иване Степановиче Подрядном, — она замотала головой. — О мастере, который делает гитары.

— И чем же он хорош, этот мастер?

Рита пожалала плечами:

— Тем и хорош, что мастер. К нему даже из театра «Ромен» приезжали — покупали инструменты. Дольский у него гитару заказывал — двенадцатиструнную. Это рассказ и о нём, и о тех знаменитых людях, для которых он работал. Материал тоже на две трети полосы.

— Ну, хорошо, я посмотрю...

Рита вытащила из сумки распечатанные на машинке листы.

— И долго ты над ним работала? — с сомнением глядя на рукопись, спросила начальница.

— Всю ночь, — просто ответила Рита. — И ещё день, но это было давно. Полгода назад.

Жанна улыбнулась, взяла распечатку:

— Ладно, разбойница, я тебе верю. Ты ведь плохого не принесёшь?

Рита отрицательно покачала головой:

— Не принесу, Жанна Борисовна.

Матёрые журналисты просто диву давались прыти тоненькой, но очень смелой темноволосой девушки. И каждый спешил напророчить ей самое блестящее будущее.

Одним словом, о выборе профессии думать не приходилось. Она с лёгкостью поступила в Педагогический — на факультет журналистики. Тем более что один из её наставников был там заведующим кафедрой. А другой, вернее сказать, другая, Жанна Елецкая, в том же году открыла свою молодёжную газету.

Рита оказалась самой молодой профессиональной журналисткой в своём городе. Правда, родители были недовольны. С утра до вечера их шестнадцатилетней дочери не было дома. Конспекты, интервью, рефераты и репортажи завертелись одним водоворотом, захватили их маленькую дочь, превращая её из девочки во взрослого, не по годам серьёзного человека.

— Сейчас такое время, — говорила она папе и маме, — динамичное. Вам этого не понять.

Времени писать Лосю почти что не было. Рита посылала ему свои статьи...

За две недели до семнадцати лет у неё случился второй роман...

Была весна, апрель. В тот день солнце обрушилось на город неистово, наполнив его до краёв, застав врасплох всех — пешеходов, водителей, уличных собак и даже кошек, которые грелись на тротуарах, у старых городских подворотен, шурясь, лениво следя за движением на весенних улицах.

Рита шла по старому городу в короткой кожаной юбке, в тёмных очках, с фотоаппаратом на боку. Кармашек джинсовой рубашки отягивал диктофон; в наушниках билась и дрожала музыка в стиле диско...

Она очнулась, когда, обогнав её, на тротуар заполз чёрный, как ночь, «Мерседес». Первым её желанием было обойти машину. Но Рита всё-таки остановилась, стянула наушники. Открылась сверкающая дверца (девушке показалось, что дорожное движение остановилось, пешеходы забыли о своих делах и заботах и все смотрят только на неё), в сиденье упёрлась кисть руки с перстнем на мизинце, а следом из тёмного салона вынырнуло добродушное лицо молодого мужчины: «Я только хотел предложить вам прокатиться, — вежливо проговорил незнакомец. — Всего лишь навсего». Он был спортивным, чего только стоили одни его плечи. Улица, затаив дыхание, продолжала следить за Ритой. Только когда на тебе тёмные очки, безразлично — смотрят на тебя или нет. «К чёрту», — подумала она и, легко забросив ногу в салон, нырнула в автомобиль.

Риту привезли в гостиничный номер: в настоящий дворец с зимним садом. Её поразила огромная постель и две гигантских вазы по краям. И ещё — огромное зеркало. Она почему-то стеснялась его. Там, в этом зеркале, происходило что-то удивительное: она поднимала руки и кто-то чужой, стоявший за спиной, брал у талии её лёгкий джемпер и тащил его вверх — её обволакивал запах духов и шерсти, по лицу рассыпались волосы. Она раздевалась. И потом случалось это притягательное и одновременно пугающее: точно в зеркале она оказывалась открытой всему миру. И смотреть на неё было доступно каждому. Ей нечего было стесняться — ни одной линии в своём теле, ни одной чёрточки в лице. Всё было таким, о чём может мечтать любая женщина. Просто, непонятно почему, она боялась встречаться взглядом со своим отражением...

Таинственного незнакомца звали Гариком, было ему тридцать пять лет. В город К. он приехал по делам, как коммерческий директор крупной русско-итальянской фирмы, производившей дорогую мебель. Гарик был очень опытным и сильным мужчиной. И Рита опять почти влюбилась. С ним было легко. Гарик курил «Кэмэл», какой-то особый, «привезённый исключительно из Штатов». И играл на губной гармошке. Кто-то, кажется, его дед, был Поволжским немцем, впоследствии куда-то высланным. Рита тоже несколько раз прикладывалась к гармошке, чем вызывала заразительный хохот любовника.

Они встречались каждый день. Пили исключительно дорогое шампанское. И заедали его икрой. Или наоборот. Когда Гарик оставлял её на своей широкой постели и, обмотавшись полотенцем, выходил выкурить сигарету под весеннее солнышко — на просторную лоджию, с которой была видна вся Волга — наверное, от самых истоков до Каспия — Рита думала: «Интересно, что бы сейчас сказали папа с мамой. Наверное, они отдали бы меня в монастырь. На перевоспитание». И, улыбаясь, делала с этой огромной постели Гарику ручкой.

Однажды, пока он был в душе, Рита сбросила с постели ноги, встала и сразу оказалась перед зеркалом. Это был день, когда она посмо-

трела на себя по-другому. Она вдруг увидела в своём отражении не то-ненькую девочку, но молодую женщину, которой всё удаётся в жизни и будет удаваться. Обязательно. А иначе разве стоит жить? «Странно, — подумала Рита, — что ещё вчера я не могла уразуметь такую простую истину». Рита поняла, что в её жизни что-то случилось. Что-то очень важное. Отчего может перехватить дух...

Сзади, перепопоясанный полотенцем, подошёл Гарик.

— Ты очень красивая, — сказал он. — Я вряд ли когда-нибудь тебя забуду.

— А разве ты собираешься... куда-то деться?

Гарик не ответил. Обняв её за плечи, проговорил:

— В этой жизни, девочка, нужно быть очень сильным. Иначе тебя растопчут. Но ты не просто красивая, ты — сильная. Мне это нравится...

Через две недели Гарик исчез. Бесследно. На следующий день после его исчезновения рано утром Рите принесли из дорогого магазина «Игрушки» ушастого смешного пса — с неё, Риту, ростом. Она стояла в одном конце коридора с гигантской собакой, а с другого конца коридора на неё смотрела мать.

— Это мне, — сказала Рита.

— От кого?

— От коллег по работе ко дню рождения.

Слава Богу, что она ещё успела спрятать записку. Рита прочла её в своей комнате. «Прощай, будь умницей. И помни: ты — сильная». — «Это он по поводу окончания нашего романа? — подумала Рита. — Болван».

Конечно, ей было обидно. Очень. Она даже расплакалась. Один раз. А потом взяла и забыла. И в этот же день написала Лосю, что замужество не для неё. Она будет заниматься карьерой — и ничем больше.

Дежурные романы, закрутившие Риту в свой соблазнительный водоворот, играли для неё роль значительную, но не первую. Поэтому описывать их не стоит.

Через год иерархическая лестница в молодёжной газете, где работала Рита, сдвинулась. И ей предложили стать начальником отдела информации. Ведь именно она среди полного штиля могла отыскать почти что торнадо; запросто перевернуть весь город и положить на стол редактора то, что сразу — в первую очередь — бросилось бы в глаза читателю. Она могла найти событие где угодно. А если не найти — то придумать его. Репортёр должен быть авантюристом, не то — грош ему цена.

Рита не испугалась, согласилась сразу. Хотя знала наверняка: информация — это начало. Первые шаги. Главное её ждёт впереди. Она была смелой, ловкой. И поэтому не обманулась. Интервью с киллером, самым настоящим ловцом человеческих жизней, с которым их свели через десятые руки, в одночасье сделало Риту Сотникову настоящей героиней. Раскрыв газету, родители были в шоке и отпивали друг дру-

га корвалолом. А Рита в телепередаче «Звёздный час» рассказывала о буднях рядового журналиста.

Которому едва исполнилось восемнадцать...

Спустя ещё полгода газета потеряла спонсоров и приказала долго жить. Жанна Елецкая ушла в солидный цветной еженедельник «Предприниматель». Как-никак, редактором журнала был некто Константин Рогожин, старый любовник Елецкой. Известный в городе ловелас сорока лет с седой шевелюрой, разъезжающий на белом «БМВ». Из молодёжной газеты Жанна взяла с собой единственную журналистку — Риту Сотникову.

Через неделю Рита позволила себя соблазнить Константином Витальевичу. Вела она себя с ним прохладно, давая понять, что позволяет себя любить. Но рассчитывать на собачью преданность, которой его желали окружить другие женщины, пусть и не мечтает. С Ритой попробовал заигрывать один из молодых журналистов, Костя Ломов, приткий малый. Рогожин (как говорилось позднее в кулуарах: «Таким серьёзным его ещё никто и никогда не видел».) сказал, чтобы тот забыл о Сотниковой, потому что у них «отношения». Последнее дословно за день-два облетело всю редакцию.

Как-то встретив Риту в коридоре, Жанна зацепила её за руку, сказала: — Далеко пойдёшь, девочка.

Ещё через месяц, вечером, в своём кабинете, Константин Рогожин предложил Рите руку и сердце. Сказал, что одну квартиру оставит жене, дочери и сыну, а в другой будут жить они.

Нет, она его не любила. Скорее, презирала. За его сальность, кокетливость, за чувственный рот. За то, как он распускал хвост перед каждой женщиной. Перед которой даже не стоило его распускать. За его всеядность, самодовольство. И потом — седой лев был коротышкой.

Но с другой стороны...

«Мне девятнадцать, ему сорок, — в тот вечер, сидя на коленях редактора, запустив пальцы в его седую шевелюру, думала Рита. — Классическое сочетание. Может быть, стоит попробовать?»

...Она уже давно ходила не в джинсах и тёртой-перетёртой коттоновой рубашке; с длинной, почти до пояса, тёмной гривой. Теперь её блестящие каштановые волосы были подстрижены и уложены в каре, так удачно сочетавшееся с жакетом, полупрозрачной блузкой и короткой деловой юбкой. Она стала курить, не урывками — постоянно, остановив свой выбор на сигаретах «Винстон». Давно научилась пить крепкие напитки. Но не брезговала и шампанским. На обложке мартовского номера журнала «Деловая женщина» красовался её портрет. Внизу была подпись: «Интервью с самой очаровательной журналисткой города К. Маргаритой Сотниковой».

Провинциальный город-миллионник притягивал своим неискушённым сердцем звёзд эстрады и кино, прочих деятелей культуры.

Рита не пропускала ни одного концерта. Ни одной встречи. На каждую она приезжала со своим седым львом — на белом «БМВ». Со многими знаменитостями выпивала на брудершафт.

— Хотите, возьму вас на подпевку? — негромко спрашивал её певец, уже немолодой, располневший, известный в шоубизнесе сердцеед, кумир родителей Риты.

Константин Витальевич прислушивался и начинал ёрзать на стуле.

— Куда-куда возьмёте? — прищуривая глаза, морщила нос Рита.

— На подпевку, — недоумевая, чего тут непонятного, повторял звёздный певец.

В такие минуты уши Константина Витальевича становились огромными, как локаторы.

— Это где пара-тройка девушек, покручивая задницами, что-то шепчет в микрофоны?

— Вы унижаете их профессию, Риточка, — снисходительно говорил певец.

— Разве? — ещё более снисходительно спрашивала она, прогибая спину, упираясь локтями в стол. — Мне их всегда жалко — статисток ваших. Ну, в смысле, не ваших лично, — она поворачивалась и с улыбкой смотрела в глаза растерявшемуся собеседнику. — А вообще — любых, — Рита пригубливала шампанское и со вздохом добавляла: — Стоят себе бедненькие, хнычут, — певец глаз от неё не мог отвести, а Рита, вся превратившись в одну упругую волну, опускала ресницы. — Я только солировать умею. А подпевать — не-ет.

Уловив последнюю фразу Риты, Константин Витальевич немного успокаивался, его локаторы ослабевали.

— А как у вас с голосом, кстати? — как бы между прочим, точно назло Рогожину, интересовался холёный и мордатый ловелас. — Есть у вас голос?

— Чижики-пыжики напеть смогу — не вопрос, — улыбалась Рита.

— Да что там голос — голос мы вам поставим! — продолжал разливаться стареющий звёздный певец. — А подпевка — это только для начала. Через годик-другой, всему научившись, займётесь и сольной карьерой. Ведь я ещё и продюсер — и очень хороший, кстати, — добавлял он многозначительно.

И вновь Рогожин походил на устрашающую локационную установку военного назначения, обладателям которой просто необходимо знать все тайны мира, особенно амурные.

«Кто сказал, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь? — думала Рита. — Впрочем ловить обоих я и не собираюсь, но поиграть с ушастыми — одно удовольствие!»

— Вы станете звездой, Риточка, — приторно похрипывал певец, — обещаю вам!

Она поднимала глаза и теперь уже смотрела на него открыто, ясно, без всякого лукавства.

— Значит, в гарем ваш приглашаете? — даже голос её становился ниже, бархатистее. — Я ведь, знаете, Лев Анатольевич, на вторые роли не гожусь. Только любимой женой могу быть...

Певец с трудом глотал слюну: стареющий мачо уже задыхался от фонтанирующих гормонов, гулявших по всему его телу.

«А этот точно — настоящий мужик, — едва сдерживая улыбку, думала Рита. — Сразу ясно, чем он думает. Не зря о нём легенды слагают. Чуть не захлебнулся слюной дяденька...»

— Я подумаю, — кивала Рита. — Телефон мне оставьте.

Звёздный мачо оставлял телефон и вкрадчиво говорил:

— Буду ждать, Маргарита. Я остановился в гостинице «Россия», у вас пробуду ещё пару дней. Вы позвоните, обязательно...

— Конечно, — улыбалась она.

У седого льва, Константина Витальевича, по мере развития их диалога непроизвольно отваливалась челюсть — хоть подвязывай. Он уже подходил к ним, натянуто улыбался певцу, нежно брал за руку Риту, сжимал её что есть силы со словами:

— Мне вам нужно кое-что сказать, Маргарита Николаевна, — вытягивал из-за стола, добавлял: — Кое с кем познакомить, — ещё одна натянутая улыбка певцу. — Она здесь на работе, Лев Анатольевич, сейчас я её верну! — брал за локоть и уводил куда-то, подальше ото всех, повторяя: — Чтобы ещё раз Борька Федякин пригласил этого старого подонка! — и уже там, в укромном углу, красный от гнева, спрашивал её: — Что всё это значит?! Какая подпевка? И ещё гарем? Кажется, гарем, да, я не ошибся?! — он поворачивал её к себе. — Любимой женой? А, Рита? Женой?..

— Только что была Маргаритой Николаевной, а теперь просто Рита? — она поднимала брови, но тут же складывала губы трубочкой и, юная, полная порыва, целовала воздух у самого его носа.

Благо, его нос и её губы были как раз на одном уровне.

— Рита... — как и недавно певец — с трудом глотая слюну, упавшим голосом повторял седой лев: — Рита...

В эти минуты ей даже становилось немного его жалко. И она, обнимая любовника одной рукой, точно сдаваясь, прижималась к его щеке. Другая же её рука забиралась в карман модного пиджака Константина Витальевича и рыскала там в поисках сигарет.

— Они на столе — в зале, — врезаясь пальцами в её голую спину, сейчас — немного влажную, после танцев, духоты, утыкаясь лицом в грудь девушки, сбивчиво и хрипло лепетал он.

«Вот ведь, — думала она, — как ребёнок!»

А сколько их было, этих знаменитостей, и сколько ещё будет? И для каждого у неё найдётся свой подход. Своё слово. Ну что поделаешь, если она умеет вести светскую беседу так иронично и тонко, что её седой лев начинает ёрзать на стуле, словно у него чесотка!

Как бы всё это ни происходило, это было упоительно, и Рита чувствовала, что почти касается пальцами невидимого облака, имя которому совершенство. Она была хозяйкой всего, что её окружало. Видела, как на неё смотрят, и от этого мурашки бежали по спине. Было сладкое ощущение вседозволенности и силы.

А потом седой лев увозил её к себе домой — на свою вторую квартиру.

«Вечер всегда начинается лучше, чем заканчивается», — в таких случаях думала Рита.

В один из сентябрьских дней, как и всегда, белое «БМВ» бесшумно затормозило у её дома. Рита прихватила седого льва за нос, отпустила, хлопнула пальчиками о ладоншку:

— Пока.

Автомобиль шефа проглотила ночь. У дверей подъезда Рита вздрогнула, обернулась: отделившись от дерева, к ней подходила тень...

Это был Лось. Высокий, подтянутый, симпатичный. Какой-то несчастный. Но самое главное — совершенно чужой ей человек.

Теперь ей оставалось только сказать ему об этом...

Поход в фирму «Прицел», занимавшуюся продажей стрелкового оружия, был для Риты Сотниковой делом самым что ни на есть рядовым. Узнать краткую биографию столь серьёзной организации, поставить диктофон перед носом директора, перебросить ногу на ногу так, чтобы очередной пузан, говоря, мог любоваться её коленями и глотать слюнки, быть весёлой, остроумной, в меру кокетливой. Потом часок посидеть дома, играя пальчиками на клавиатуре, и в награду получить за две колонки причитавшийся ей гонорар.

Вот и вся хитрость.

Рита была профессионалом, докой. Как задумала, так и сделала. А когда статья, освещающая деятельность «Прицела», вышла в свет, в редакцию позвонили. На проводе был директор. Рита сразу вспомнила этого здоровяка в двубортном малиновом пиджаке, похожего, скорее, на вышибалу, чем на руководителя фирмы. Он пригласил Риту на неделю зайти в их контору. Для неё, как сказал он, приготовлен презент. За удачный материал.

«На неделе» Рита была в «Прицеле». Она, как и любая женщина, любила сюрпризы. Была зима. Январь. Разрумянившаяся, в шубке, Рита постучалась в кабинет хозяина фирмы, зашла запросто, точно проделывала это каждый день. И не успела опомниться, как гигант

(на этот раз в изумрудном пиджаке с золотыми пуговицами) выложил перед ней на стол маленький пистолет. В первую минуту Рита почему-то подумала, что это зажигалка. Но директор объяснил, что это — шестизарядный «Вальтер», дамский пистолет, со стандартными для этой марки пистолетов патронами. Самое что ни на есть огнестрельное оружие. Предназначен для самообороны. К пистолету уже был готов и паспорт на имя пользователя. «Как говорится, — добавил он, — с доставкой на дом». Потом он сам спустился с Ритой в подвал — в тир, объяснил, как пользоваться её миниатюрным оружием. Как заполнить патронами магазин, отправить последний в рукоять пистолета, снять его с предохранителя. Рита заворожённо следила за этой процедурой. И когда хозяин предложил ей повторить, она проделала всё безукоризненно — на одном дыхании.

— Теперь — урок стрельбы, — сказал он.

И ещё минут десять говорил о том, как нужно стоять, держать оружие, целиться. Работая над постановкой её рук, он старался как можно теснее прижать к себе юную клиентку.

А потом предложил расстрелять магазин — за счёт заведения.

Рита легко вытянула правую руку, положила её на ладонь согнутой в локте левой, прицелилась, нажала на спусковой крючок. Через минуту к ним подъехала мишень. Пять из шести выстрелов ушли точно в десятку.

— Ещё один магазин, за счёт фирмы? — едва веривший своим глазам, предложил ей хозяин.

— Нет, на сегодня достаточно.

Ей хотелось выстрелить ещё, но она была уверена, что такое случается только раз в жизни. Пусть этот боров теперь вспоминает её, амазонку.

— Может быть, пообедаем как-нибудь? — после паузы спросил директор.

Рита пожала плечами:

— Может быть — как-нибудь.

Выходя из «Прицела», спускаясь по парадному, Рита сунула руку в сумочку и сразу нащупала оружие. Это же надо: сегодня она поедет к подруге писать реферат на тему «Журналистика в современном мире», а в её сумочке будет лежать настоящий дамский пистолет!

В этот день у неё было много дел. Нужно было написать два материала, вечером заехать к шефу, простуженному, опять заговорившему о женитьбе, помучить его немного, а потом ублажить. И только затем уже отправиться к Лере Ромашовой. Где они непременно должны были успеть написать злосчастный реферат, чтобы назавтра получить за него хотя бы «хорошо». Им обоим был нужен допуск к экзаменам. Работа и личная жизнь отнимали почти всё время.

Рита опаздывала на три часа: задержалась у Константина Витальевича, от него перезвонила Лере, сказала, что будет не в девять, как обещала, а в двенадцать. Приедет и возьмёт огонь на себя. Подруга даже обрадовалась: если Рита сказала, так оно и будет. Главное, чтобы родители не посмотрели косо на полуночиц...

Лера жила в одном из микрорайонов. Было около полуночи. Рогожин слёг, нужно было рассчитывать на левака. Рита поймала «Ниву» с грозно выступающим бампером. За рулём сидел парень лет двадцати пяти. Она назвала адрес, парень, оглядев её слишком пристально для водителя, небрежно бросил: «Садись».

Рите почему-то показалось, очень остро, что именно эту машину ей следует пропустить. Но всё-таки села: стоило поторопиться.

— К хахалю едешь? — на первом по пути светофоре, пока фары выжигали снег, спросил парень.

И тут же поймал её взгляд в тёмном зеркальце над лобовым стеклом.

— От хахаля, — ответила она.

Пятнадцать минут — по ночным улицам, через январскую метель — и они почти уже были на месте. В микрорайоне вьюжило. Облака снега взрывались между высотными домами, их втягивало в эти каменные коридоры, выбрасывало наружу...

— Вот здесь, — сказала Рита, вытаскивая из сумочки купюру.

Парень, с короткой стрижкой, золотой печаткой на безымянном пальце, держа на баранке руку, обернулся:

— А может, киска, придумаем что-нибудь?

— Например?

— Чем-нибудь займёмся. В машине тепло, уютно. Есть что выпить...

В такие минуты лицо у Риты точно каменело. Иногда, летом, когда она шла в короткой юбке и какой-нибудь разудалой майке, обременённой выше пупка, такие предложения сыпались на неё с излишком. Однажды, за один день, она их насчитала двадцать четыре. С этим приходилось мириться. Не паранджу одевать только потому, что на тебя смотреть — одно удовольствие. Живёшь в России, кто что захочет, то тебе и скажет. Да и ты можешь ответить. Была бы она сейчас на людной улице, послала бы этого парня куда подальше. Но здесь, ночью...

— В следующий раз, — ответила она и, положив на бардачок полтинник, открыла дверцу.

— Да пошутил я, пошутил, — улыбнулся парень. — Проводить тебя до подъезда?

— Нет, не стоит, — ответила Рита.

— Я всё-таки провожу, — он уже выходил со своей стороны. — А то вдруг кто-нибудь обидит такую тёлочку. Обидно...

Рита пожала плечами. Шагая, она чувствовала позади себя, как снег хрустит под его башмаками, слышала его дыхание.

— Может, сумочку понести? — не отставая, спросил он.

Она не ответила.

До подъезда оставалось не более десяти шагов. Рита разом обернулась:

— Всё, я пришла. Спасибо.

Он, в короткой кожаной куртке, без шапки, подстриженный под бокс, топтался на снегу.

— А вдруг в подъезде воры-бандиты? А, девочка?

— Я справлюсь, — проговорила она. — До свидания, — и, повернувшись, пошла к дверям.

Она поняла, что он рядом, за спиной, только когда зашла в подъезд. Но не успела сделать и двух шагов, как её схватили за плечо и, развернув, толкнули к стене. У Риты перехватило дыхание, она больно ударилась затылком; её точно парализовало. А к ней уже тянулись его руки — растёгивая её шубку, выдирая из джинсов свитер. Она попыталась оттолкнуть его, но он был сильнее. Она убирала от него губы, пыталась увернуться. Он ударил её по лицу — сильно, хлёстко. И опять продолжал напирать — ещё ожесточеннее. Его руки и дыхание — от них некуда было деться. Рита уже едва отбивалась. Ещё никто не говорил ей столько мерзости. Никто и никогда не называл её такими словами. Парень был настойчив: особенно его руки, от прикосновения которых жгло всё тело. Рита поняла, что не может противостоять ему, что сейчас потеряет сознание: от обиды, страха, отвращения...

Рука сама собой оказалась в сумочке, чудом не слетевшей с плеча, отброшенной за спину; пальцы уже сжимала что-то холодное, ледяное. А потом — гулко громыхнул выстрел...

Парень хрипло втянул в себя воздух, цепляясь за её шубу, сделал шаг назад и, не отрывая от неё глаз, испуганных, повалился ей под ноги. Рита отступила в угол. Она смотрела вниз, где лежало что-то тёмное, ворочаясь, хрипя, задыхаясь. Она обошла это — страшное, непонятное — и опрометью выбежала из подъезда.

Всё, что было у неё за спиной — это зимняя луна, бледная и выцветшая, да такса с длинным, лежавшим на снегу поводком.

...Потом Рита сидела у батареи в другом подъезде, другого дома, и плакала — навзрыд, закусив шарф, спрятав в нём лицо...

Утром, когда родители были на работе, затрещала телефонная трубка. Рита долго не могла решиться: взять её или нет. И что вообще делать ей — теперь, сейчас. Но звонок был настойчивым, неумолимым. Она тотчас вспомнила о пистолете — об этом крохотном кусочке стали, канувшем в безымянном сугробе...

Перебороз страх, потянулась к трубке.

— Алло, Рита? — откуда-то глухо залепетал голос Леры. — Где ты пропадаешь? Я из института звоню. Маленькая, за нас твой седой Костик реферат будет писать? А? Я же тебя ждала, ничего не сделала... Алло!

— Здравствуй...

— Здравствуй, маленькая, здравствуй. А вообще — тебе везёт. Представляешь, у нас в подъезде одного парня застрелили, этой ночью... Ты меня слышишь?

— Да.

— Я его сама видела. Одним глазом. Бритоголовый какой-то.

— И кто... убийца?

— Это ты лучше у милиции спроси, — откуда-то издалека Лера снисходительно усмехнулась: — Маленькая, смеёшься, что ли? Кто в наше время будет искать убийцу? Одним уродом меньше, одним больше. У них свои разборки. Другое дело, как теперь в подъезд заходить. Страшно ведь. Соседи все с ума посходили. Мать сказала, что вечером никуда меня больше не выпустит. Только через её труп, и так далее... Так ты почему вчера не приехала?

— Я... не смогла, заболела. У меня температура.

— Ну вот, накрылись наши пятёрки. Ладно, чёрт с ними. А вообще — голос у тебя плохой. Больной. Лечись. Я завтра тебе перезвоню. Чао.

Рита положила трубку на стол. В глазах у неё потемнело, она скорее откинулась на подушку; чувствуя, как её бьет озноб, закрыла одеялом лицо...

Температуры у неё не было. Она не заболела ни воспалением лёгких, ни гриппом. Так, лёгкая простуда...

Через неделю, когда от синяка на её щеке не осталось и следа, Рита Сотникова пришла в редакцию. Каждый из этих и последующих дней казался ей очень долгим...

Потом случилась весна. За неделю до дня рождения Рита Сотникова получила повышение. Стала начальником рекламно-информационного отдела. Было две кандидатуры: её и Жанны Елецкой. Редактор, при поддержке большинства коллектива, сделал выбор в пользу Маргариты Сотниковой.

Рита сидела в своём новом кабинете, вытягивая уже вторую сигарету подряд. Она смотрела на телефон. Десять минут назад ей позвонил некто Ефим Карлович Трошин, директор масштабного туристического агентства «Глобус», ещё один боров, и предложил стать редактором нового журнала. Полгода назад она брала у него интервью. Журнала обязательно цветного и многостраничного. Подбор журналистов — её прерогатива. Он, Ефим Карлович, убеждён, что Маргарита Сотникова превратит этот проект в настоящее чудо. Она может думать ровно столько, сколько ей для этого понадобится времени. И пусть не забудет

о заграничных поездках. У неё будет роскошный кабинет — напротив его кабинета. Там как раз сейчас идёт евроремонт. Если она хочет, то может подъехать: когда ей будет угодно.

И вот теперь, окутав себя табачным дымом, она пыталась разложить эту шахматную партию...

В день рождения Риты Сотниковой, в редакции «Предпринимателя», собственноручно открывая шампанское, седой лев Константин Витальевич Рогожин объявил, что сегодня все пьют только за именинницу.

Коллеги одобрительно зашумели. Шампанское уже пенилось в нехитрой редакционной посуде.

— А сколько вам исполняется, Маргариточка? — когда посуда разошлась по рукам, громко спросила её пожилая дама, модница, старший корректор. — Я не допускаю никакой бестактности?..

— Нет, Серафима Петровна. Сегодня мне двадцать один год.

— Двадцать один год, — кивая, повторила дама. — Ах, Маргариточка, девочка, у вас вся жизнь впереди. И вы такая красавица! Всё будет у ваших ног. И все. Весь город.

— Маленький у нас город, Серафима Петровна, — принимая из рук редактора бокальчик, ответила Рита. — Очень маленький, — она улыбнулась пожилой даме: — Для моих-то ног, — вскользь бросила взгляд на шефа, уже наострившего слух, забывшего о шампанском. — Что такое полтора миллиона? Захолустье. Надо ехать в столицу. Может быть, ещё дальше. Мне нравится Париж. Или Нью-Йорк, — она точно выбирала, куда же ей поехать завтра. — Вот там — жизнь. Там настоящий успех. Я могла бы стать супругой дипломата. Или бизнесмена. Разве нет? А здесь так — пустыки. Кому не хочется испытать себя и по самому большому счёту? — Рита поймала насмешливый взгляд Жанны Елецкой. Пусть смотрит, как ей вздумается. Дело хозяйское. Её-то время прошло. Улетучилось. Осталось только удивляться прыти других. Своей уже не осталось! Рита прищёлкнула языком. — Нужно уметь шагать и шагать широко. Необходимо быть сильной. Отважной. Иметь когти и клыки, — она подняла бокал, обвела им всех присутствующих. — Не знаешь, что поджидает тебя в следующую минуту. В этой жизни нужно получить всё, Серафима Петровна, а иначе... — она пожала плечами: — Иначе зачем тогда жить?

Последовала пауза. Костя Ломов, прыткий малый, неожиданно громко зааплодировал. Рогожин насупился. Мысленно он уже покупал билеты на Кипр.

Итак, Рита Сотникова и Рогожин гостили на Кипре у старого приятеля Константина Витальевича, бизнесмена, нового русского. Тот открыл на греческом острове ресторанчик и возвращаться передумал.

Среди тамошних жителей Рита сразу прослыла русской Афродитой. На Риту ежедневно любовался весь пляж. Она выходила из пены, и все киприоты глотали слюни. Её загорелое тело, весёлые глаза и тёмные мокрые волосы, прилипшие к плечам, завораживали темпераментных греков. Рядом с ней Рогожин выглядел хлипковато. Рита даже подумывала, не найти ли ей какого-нибудь Анасиса и не остаться ли на самом деле в Европе?

В то же самое время, в России, следовательно Ярыгину, уже немолодому оперативнику, необходимо было выполнить план. Требовали от него этот план вышестоящие начальники, и всё тут. Хватит, сказали они, безымянных убийств! Подай нам, Семён Емельянович, преступника! Тем более вот оно, ЧП, на твоём участке! Нос по ветру, товарищ Ярыгин, а то не видать тебе майорской звезды. Так и пойдёшь на пенсию капитаном, сдохнешь с крохотными звездулками на сутулых плечах.

Бросился по следу преступника участковый Ярыгин.

У соседа Леры Ромашовой, некоего Дударева Ивана Николаевича, жена была истеричкой. Когда она начинала вопить, бросаться на мужа-алкоголика, царапаться и кусаться, тот, в чём был, убегал гулять с собакой. Таксой. Даже среди ночи. Лишь бы из дома. Раньше Дударева жаловалась участковому Петру Трофимовичу Сальникову, что муж бьёт её смертным боем. Оказалось неправдой. Скоро Дударев был с участковым на короткой ноге, вместе выпивали. И проклинали женский род до самого первого колена. От участкового ушла жена. Пока он прорабатывал семью наркоманов, та подло изменила ему с начинающим сантехником из местного ЖКО.

Дударев признал в девушке, выбежавшей ночью из подъезда, подругу соседки. «Она, она, — говорил он. — Видели и не раз. Разодетая такая, важная. Если и поздоровается, — уточнял Дударев, — точно одолжение сделает».

Ярыгин переговорил с Сальниковым, которого знал лет этак двадцать пять, потом с Дударевым. Вышел на Леру.

Нашёл пистолет. Молодая, но способная овчарка Рада выручила. Быстро отыскал контору, продававшую оружие, сверил номер. Директор конторы, здоровяк в двубортном пиджаке, сказал, что девушка стреляла со снайперской точностью и, по всей видимости, и раньше была знакома с оружием. Он даже опешил, как она управлялась с пистолетом! Точно в Чечне служила. А с ним, руководителем солидной компании, дурочку валяла.

Рита вернулась с Кипра, ничего не подозревая. Следователь пригласил её к себе в кабинет, был вежлив, расспрашивал. А потом выложил из стола постановление на арест.

Отпечатки пальцев, пороховая гарь под ногтями и так далее...

Изложил факты. Попросил написать признание. Обещал, что в суде оправдают: самооборона.

Самое страшное, почти из области фантастики — год условно. Рита не посмела отпираться. Слишком всё было явно.

Следователь обманул: судья решил всё по-своему. И прокурор в этом деле сыграл не последнюю роль. Он терпеть не мог адвоката. Очень давно, когда они были ещё студентами и выбрали разные профессии на одном поприще, то поклялись, что, попадись на пути друг другу, не пожалеют коллегу. Одолеют. Сотрут в порошок. Если нужно, белое представят чёрным, а чёрное — белым. И была ещё прекрасная девушка, их сокурсница, которая засвидетельствовала честолюбивый спор и сказала, что выберет сильнейшего. Правда, выбрала она циркача-эквилибриста и давно уехала с ним на Дальний Восток, но суть спора осталась. Занозой. «Самооборона — это хорошо, — говорил прокурор. — Но оружие в кармане у молодой девчонки — плохо. А ещё хуже — сокрытие преступления. Не сама же она пришла в милицию, рассказала обо всём, повинилась. За руку привели...» И потом, разве убивать решил её тот самый паренёк? Всего-то навсего полобызать в подъезде. И что же, сразу палить? Да ещё вот так — хладнокровно, в упор? А если зайдёт далеко, у нас, кстати, и статья по сему грязному делу есть: семь годков получи и распишись. А попадёшь в тюрьму по такой статье — сам пожалеешь. Лучше верёвку и мыло, чем по такой статье.

Риту Сотникову осудили на два года лишения свободы. Апелляция не помогла. Мать рыдала. Отец запил. Когда её отправляли по этапу, Рита знала наверняка: с ней всё кончено. Домой она никогда не вернётся. Просто оттуда не возвращаются.

Скорый поезд остановился на заснеженном перроне. Январь. Метель. Прицепной вагон. Стоянка — полчаса. Это для других. Для них — пересадка.

Там, в других вагонах, ехали нормальные люди. В тёплых купейных вагонах. Даже в плацкарте. Им приносили чай, они спали на чистых простынях. Говорили друг с другом. Говорили по-доброму. Ехали к родным. Или по делам, чтобы потом вернуться домой. А тут, среди таких же зечек, как и она, смотрела из противоположного угла на неё Зинаида по прозвищу «Отвёртка», скалилась. «Каких куколок заносит к нам попутный ветер», — едва увидав Риту, хрипловато пропела она. Зинаида шла по этапу уже в четвёртый раз. Зарезала сожителя, точно стилетом, отвёрткой. Насквозь проткнула — через лёгкое. В какой-то момент она дотянулась до Риты, положила руку на её коленку, сжала что было силы. Рита вскрикнула, брезгливо и ожесточённо смахнула коричневую, точно прокопчённую, руку немолодой уже зечки.

— Ничего, сучка, приедем, разберёмся, — сказала та.

Они стояли друг за другом в вагоне и ждали команды. А потом бросались, точно с обрыва, в метель. Где заливались лаем овчарки. Как в омут с головой.

— Следующая! — крикнули от машины.

— Пошла! — рывкнул конвоир в вагоне и с отяжкой ударил Риту по ляжке дубинкой.

С двумя сумками она прыгнула вниз. Её подхватили под руки, толкнули вперёд — к рельсам. Две овчарки, метавшиеся на поводках, оглушили, рывками потянулись к её ногам, попытались достать. Прижимая к себе сумки, Рита побежала через полотно — первые рельсы, вторые. На третьих она зацепилась ногой, упала. Почувствовала, что расшибла колени. Поднялась быстро — ещё несколько шагов. Едва хватило сил, чтобы поставить сумки на высокий бордюр. Вскарабкалась. И уже там, ожидая следующей команды — забираться в машину, опустив голову, давилась слезами. Это был город, где когда-то она гостила с мамой и папой у дальних родственников. Но тогда было лето и ей едва исполнилось четырнадцать лет... Всё плыло перед глазами, слёзы застывали на щеках, кололо глаза.

Её запихнули внутрь, она куда-то села, привалилась к стене.

«Побереги слёзки, сучка, — услышала Рита голос Отвёртки. — Ещё наплачешься».

Три года спустя, поздней осенью, Андрей Батюшков резко притормозил на троллейбусной остановке, быстро вышел из белой «десятки», хлопнул дверцей — не рассчитал, с силой, чего раньше за ним никогда не водилось... На скамеечке под навесом, одна на всю остановку, сидела девушка в тёртых-перетёртых джинсах и тёплой куртке. Тёмные волосы были схвачены узлом на макушке. Андрей подошёл ближе, остановился в двух шагах...

— Рита?

Подняв на него глаза, посмотрев так, точно с трудом вспоминая, кто перед ней, девушка скупно улыбнулась. Андрей растерялся: было что-то незнакомое в Рите Сотниковой, почти чужое. Нечаянно увидев её, поддавшись порыву, он теперь не знал, как вести себя.

— Привет, Рита...

— Привет, Лось, — от её верхней губы шёл тонкий белый шрам: точно лучик, он упирался в скулу. — Как здоровье?

— Нормально.

Взгляд девушки был жёстким и в тоже время отрешённым, словно не было ей дела ни до чего, что происходило вокруг.

— Помнишь букет роз, под дождём? — неожиданно спросила она.

Андрей нахмурился: задавая вопрос, Рита смотрела мимо него. Было в этом что-то непривычное, неловкое, чужое. Но следом оживлённо кивнул:

— Конечно, — и точно чтобы она поверила ему, спросил: — Ты сейчас занята? — не совсем уверенно, возможно, от смущения, предложил: — Поехали с нами?..

— С кем — с нами?

Андрей кивнул на машину:

— Мы с Пашей едем к нему домой. Родители его умотали на Кипр. Квартира — хоромы. Две джакузи. Хотим оттянуться. Компанию уже пригласили...

— Я не при параде.

— Подумаешь, — уже с сомнением протянул Андрей. — Ты и без парада...

— Что надо? — заключила за него мысль Рита. И пожала плечами. — Тогда поехали.

Поднялась, пошла за Лосём. Он открыл дверцу, Рита нырнула в салон.

— Павел, мой друг, — уже в машине, за рулём, представил спутника Лось. — Рита Сотникова.

— Оч-чень приятно, — поклонился развалившийся на сиденье, холёный красавчик. Задержав взгляд на её лице — на шраме, он вальяжно затянулся, выдохнул в сторону открытого окошка сигаретный дым. Бросил вполоборота: — Для вас, Рита, можно просто — Паша.

— Где трудишься? — когда поехали, спросила Рита у старого приятеля.

— В банке. Зам. начальника валютного отдела. Павел Горобец — мой шеф.

Паша, не оборачиваясь, многозначительно поклонился.

— Чем увлекаетесь, Рита? — на первом светофоре спросил он. — Кино, книги, спорт?

— Спорт, — кивнула Рита.

— И какой же?

Она поймала в зеркальце над лобовым стеклом хитро прищуренные глаза Паши.

— Пятиборье: пью, курю, даю. По карманам лажу и обид не прощаю. Забыв про баранку, Лось нервно оглянулся. Паша хмыкнул.

— Шучу я, Андрей, шучу, — отвернулась к окну Рита. — На дорогу смотри.

В квартиру Павла Горобца сходились гости, все как один — ухоженные, одетые с иголки. Рита читала в кресле, в углу гостиной, толстый глянцевоый журнал... Иногда ей казалось, что она разучилась писать. Те полгода, что она провела на свободе, Рите было страшно подходить к компьютеру. Она боялась слагать слова в строчки. Она забыла, что когда-то её называли «маленькой Жорж Санд». Тогда была другая жизнь. И больше в неё не попасть. «Ты бы определилась, дочка, — пер-

вое время ещё осторожно советовала мать. — Место в жизни всё равно искать придётся...» — «Может, в проститутки податься? — усмехалась Рита. — Чем не место? Всегда при бабках. А трудностей я не боюсь — после зоны-то». — «Оставь ты её в покое», — боясь встретиться с дочерью глазами, примирительно говорил отец. Рита слонялась по городу. Выпивала. Иногда с незнакомыми людьми, почти бомжами. Кто помоложе — пытался прихватить её, облапать. Одному она так накрутила ногой, что тот бухнулся на асфальт за ларьком, калачиком, хрипло матеря норовистую барышню. Курила по две пачки в день. Не ночевала дома. «С таким режимом в Бабу Ягу можно за десять лет превратиться», — думала она. Кто избегал её больше всех, так это Константин Рогожин. Говорили, у него была очередная любовница, совсем юная, лет шестнадцати, и он бледнел, когда с ним заговаривали о Маргарите Сотниковой.

В разгар вечеринки Рита проходила в туалет, когда услышала разговор на кухне. Паша говорил Лосю:

— А твоя зечка ничего. Фигурка что надо. Наверное, её там пользовали? Охрана-то. Или свои же. Не без этого, а?

— Хватит, — мягко оборвал его Лось.

— Не обижайся. Если бы не её шрам, тёлочка вышла бы отлётная... Ты сегодня будешь с ней? У неё после тюряги, наверное, между ног свербит. Теперь за всю жизнь не натрахается. Только дотронься... Так ты с ней?

— Откуда я знаю. Даже не думал...

— А я думал. Уступил. Катя Белкина — твоя. Если получится. Комнат у меня много...

— Послушай...

— Главное, не подцепить от твой урочки какую-нибудь зоновскую болячку, — было слышно, как Паша хлопнул Лосю по плечу, усмехнулся. — Как твоя зонщица говорит: шучу я, шучу. Резины-то у нас — море, Андрюша!

За столом Паша пересел к Рите, пока другие танцевали, положил ей руку на ляжку.

— А вы милы, мадам, — улыбаясь, сказал он. — Ох, как милы!

Рита взглянула на Пашу, улыбнулась:

— Побереги пальцы, пацан.

— А что-то будет? — спросил Паша и чуть сжал кисть.

Рита потянулась к нему, прихватив его пальцы так, что он побледнел, и оказалась так близко, что почти касалась носом его уха.

— Была одна дамочка, дурачок, которая не умела себя вести. Там, на зоне. Знакомая моя, старая урочка. Тоже протягивала ручки, когда её не просили. Ты ей и в подмётки не годишься: мокрушница она. Мужиков ненавидела. Резала их, как поросят. Предпочитала женщин. Так вот взяла я однажды большой нож из хлеборезки и отхватила ей паль-

цы на правой рукоятке по самый корешок, — Рита чуть отстранилась от Паши, не отпуская улыбки, взглянула ему в глаза. — А потом нос откусила... Понял?

Паша, отшатнувшись и побледнев, молчал.

— Понял, дурачок? — переспросила Рита.

— Понял, — так же тихо проговорил хозяин квартиры.

Рита встала, плюнула в тарелку Паше, где распозались селёдка под шубой и холодец, и пошла к выходу. Лось, танцевавший с Катей Белкиной, одним глазом следивший за сценой, обернулся:

— Ты уходишь?

Она подмигнула ему:

— Пока, Андрей, — проходя мимо, шлёпнула Катю Белкину, тут же ойкнувшую, по мягкому месту. — Держи хрен бодрей.

«Ты зачем сюда эту зечку привёл? — одевая в прихожей куртку, слышала она голос Паши. — Рехнулся? Тут приличные люди собрались!»

Как когда-то, она стояла перед зеркалом — нагая. Смотрела на себя и молчала... Нос, который «она откусила», конечно, вранье. Рядовой трюк. А вот с пальцами — нет. Как и сказала: под самый корешок. И стоило это ей ещё года отсидки.

В зоне она качалась. Отжималась так долго, пока, тяжело дыша, не падала на пол. А потом начинала всё сызнова. Руки в кровь разбивала о стены, до ссадин. Зато как такая рука могла пройти по чьей-нибудь морде!

Вернувшись из лазарета, хотела её Отвёртка во сне зарезать, но не получилось. Вовремя Рита проснулась. Махнула лезвием по лицу Зинка — едва задела — и получила удар ногой в живот. А потом, пока охрана подроспела, сделала Рита из неё отбивную. Всё внутри перемолола, до последней косточки, до селезёнки, до почек и прочих Зинкиных потрохов. Перевели Зинку-Отвёртку, беспалую, блюющую кровью, в другое место. А Риту в рецидивистки записали. Зато никто больше к ней не приставал. И осталась она, Рита Сотникова, одна. Её боялись, ей уступали. А кто сидел долго, говорили: «Ты, Ритка-Маргаритка, к празднику открытка, настоящая зечка. Тебе в обратку не идти. Разве что на время. Тут твоё место. Покуролесишь на воле, отмахнёшь кому-нибудь полруки, а другому — хрен с яйцами, и вернёшься к нам. А мы тебя подождём...»

Рита стояла перед зеркалом — нагая, и не могла наглядеться. Тонкая, сильная, поджарая. Хотя сейчас на ринг — в штормовой океан кикбоксинга. Всех бы отделала, никого бы не пожалела. Или на сцену? В яркий свет софитов? Только от шрама надо было избавляться. Портит он её, этот шрам. Выдавал с головой.

Ещё два года спустя в столичном киноцентре шла презентация многообещающего телесериала. Продюсером выступал Евграф Гусев — автор как минимум десяти популярных телевизионных программ. Во время фуршета с Евграфом случилась неприятность — не удержал он свою тарелку. От точного удара она взлетела, взвилась вверх, окружила там, над продюсерской головой — ближайшая часть зала замерла в трепетном ожидании — и опустилась точно ему в руки, но вверх дном. По лицу и смокингу Евграфа Гусева, потерявшего дар речи, рассыпались копчёности, овощи, зелень. На плече, точно эполет, лежал сытный ломоть бекона, к щеке прилипла осетрина, темечко было короновано помидором. В центре груди, как орден, лучилась янтарная сёмга. И соус — везде.

И тотчас, как в сказке, перед продюсером возникла прекрасная дама. Юная, с необыкновенными глазами, карими и, кажется, весёлыми, но в то же время — печальными и виноватыми; она выхватила белоснежный платок, взмахнула им у самого лица продюсера, настойчиво коснулась им щеки, его губ, бровей. Но следом безнадежно покачала головой. А походил продюсер, благодаря тёмно-алому соусу, шмоткам мяса, рыбы и прочей снеди на только что расстрелянного человека. Кто ещё стоит на ногах, но вот-вот должен упасть навзничь.

— Простите, — сказала прекрасная дама, — я не хотела... Правда.

— Да нет, что вы, — озираясь по сторонам, напряжённо улыбаясь, едва выговорил продюсер, — мне даже понравилось...

А потом взглянул в лицо неловкой молодой даме. Охватил её взглядом — всю: темноволосую, яркую, с сумасшедшим декольте, в изумрудном платье. Оно казалось чешуёй, укрывавшей прекрасное русалочье тело...

И весь маленький кошмар, который с ним приключился, уже не казался ему таким кошмаром. А всё выходило даже забавно. И смешно. Тем более что прекрасная дама смотрела на него не только с чувством вины, но и с восхищением.

— Вы... Гусев? — спросила она. — Евграф Гусев?

— А что, знай вы, кто я, — он выкатил грудь вперёд, — то обошли бы меня стороной? Или подождали бы, пока моя тарелка опустеет?

Молодая дама сокрушённо покачала головой:

— Мне обидно вдвойне.

— Утешает, — заверил её продюсер.

Она двумя пальцами сорвала янтарную звезду с его груди.

— А я ведь всегда мечтала с вами познакомиться. Всё, что вы делаете, божественно.

— Вы и впрямь так думаете?

— Конечно!

Евграф отлепил со щеки осетрину. Краем глаза уловил свиной эполет. Свободной рукой молодая дама поспешно сорвала и его.

— Кажется, вы меня разжаловали, — пошутил он.

Незнакомка улыбнулась ещё виноватее. И тут же заверила знаменитость:

— У нас вся семья вас обожает.

Продюсер милостиво вздохнул.

— Но я — больше других, — добавила она.

Евграф, хоть и был обласкан публикой, разрастался в объёмах, становился таким огромным, что мог запросто выпихнуть всех присутствующих из этого зала, а то и выдавить стёкла! Слишком хороша была его поклонница, слишком сладко пела...

— Тут и четырёх рук не хватит, — сняв с головы помидор, пробормотал он.

И следом театрально поклонился всей публике, глаз с них не сводившей. Им заплодировали.

— Поклонитесь, — едва сдерживая улыбку, процедил он сквозь зубы, — кажется, это ваш дебют?

Молодая дама выполнила его просьбу. Кто-то крикнул: «Браво!» Рядом, оглядев незнакомку с головы до ног, прошёл известный режиссёр. От одного имени которого у девушек, желающих стать актрисами, сердце замирает.

— Новенькая? — замедлив шаг, спросил он у Евграфа.

— И, как ты видишь, очень способная, — откликнулся продюсер.

Режиссёр учтиво поклонился даме Гусева и проследовал дальше.

— Две трети всех, кого вы здесь видите, думают, что мы это разыграли, — тихо произнёс Евграф. — Но спектакль закончен и пора переодеваться.

— А хотите... хотите, я помогу вам умыться? — спросила она.

— Хочу, — глядя в глаза незнакомке, честно ответил телевизионный маг.

Что он забыл на этом сборище, направляясь со спутницей в туалетную комнату, думал продюсер. Десять знаменитостей, десятка три бездарей, а то и четыре, которые Бог знает что мнят о себе. И сотня-другая ротозеев, которым палец покажи, и они скажут: искусство! Сколько раз он был на таких сборищах, и что дальше? Богемная тусовка, после которой одно лекарство: горячая ванна... А тут... само естество, само желание — во плоти и крови.

— Вы... со мной? — спросил он, открывая двери мужской туалетной комнаты.

— А вы меня стыдитесь?

— Ни в коем случае.

Молодая дама пожала плечами:

— Тогда в чём дело?

И, когда уже стоял Евграф Гусев, отражаясь в кафеле и зеркалах, умытый и вытертый, сияющий, давно впитавший все расплёсканные вокруг него запахи дамской парфюмерии, прекрасная незнакомка сказала:

— Вот, кажется, и всё. Сделала что смогла. Ещё раз... простите.

Пауза зазвенела в мужской туалетной комнате такой пронзительной и точной нотой, что, кажется, запели в унисон ей даже начищенные до блеска раковины киноцентра. Не говоря уже об унитазах. Продюсер с трудом проглотил слюну:

— А хотите, убежим с этого праздника? Немного он стоит, если говорить честно...

Незнакомка улыбнулась: не она должна была предложить это — он!

— Хочу, — просто ответила она.

Какое знакомое тепло и блаженство разлилось по продюсерскому нутру. Точно двести грамм отличного армянского коньяка — без закуски, разве что с долькой лимона! Но почему-то сейчас это блаженство было особенно жарким, обжигающим. Даже голова шла кругом...

— Мы уже знакомы четверть часа, — уверенно проговорил он, — а я не знаю, как вас зовут...

— Рита, — просто ответила молодая дама. — Рита Сотникова.

— Первый раз знакомлюсь с женщиной в мужском туалете, — вздохнул он.

— Удивили, — сдерживая улыбку, пожала плечами его спутница. — Я тоже не ищу встреч у писсуаров. Но... ради хорошего человека можно сделать исключение.

— Едем ко мне домой, — уверенно предложил Евграф Гусев. — Там всего навалом. Только...

— Меня не хватает? — договорила за него Рита.

Продюсер искренне кивнул:

— Вас... тебя.

В машине, не отпуская руля, он коснулся рукой её руки. Рита сжала его пальцы. Красноречивее жеста и быть не может...

Всё она знала про него: как и когда развелся. В последний-то раз. Кого приглашал и принимал за долгие свои сорок восемь лет. Сколько мучился и сколько мучил. Пусть по разговорам, но знала. Теперь пришло её время творить чудеса.

На Малой Никитской, в продюсерской квартире, едва они закрыли дверь, Рита обняла Евграфа Гусева у порога, поцеловала в губы.

— Эту ночь я подарю тебе, — сказала она. — Никогда у тебя не было такой ночи. И уже не будет.

И закружилась у Евграфа Гусева голова, матёрого волка, потому что почувствовал он себя необычно. Он сам привык быть сценаристом и режиссёром таких вот поворотов судьбы. А тут ясно осознал, что он — только исполнитель. Счастливый исполнитель. Хозяйкой была вот эта самая женщина, так не похожая на других. И как ни странно, это ему понравилось.

А когда подняла руки, уже сбросив платье, прекрасная его гостя, и когда воткнулся он носом в заголѐнную подмышку — душистую поляну, тотчас понял, что одной ночи, вот так, счастьем ему подвернувшейся, будет мало...

Не той женщиной родилась Маргарита Сотникова, чтобы мужчина, насладившись ею, мечтал о том часе, минуте, мгновении, когда же она наконец покинет его жилище. Не была страшна ей участь тупоголовых бабѐнок, что, попав в объѣты мужчины, растекаются, точно к утру — масло, забытое вечером на кухонном столе. Что открываются, точно бульварная книжка, прочитав которую, хочется одного: захлопнуть её и поставить подальше на полку. А может быть, отдать другу — пусть и он развлѣтится. Или вообще — выбросить, проходя мимо, в урну.

Даже не первой главой прекрасной и не читанной ранее никем книги была Маргарита Сотникова — для нового своего избранника. Даже не страницей, не предложением...

Словом.

Первым и вдохновенным.

Рита вышла из душа, обернувшись в хозяйский халат, повалилась на кровать. Утреннее солнце укрывало расписные, в цветах, простыни. Евграф Гусев, ещё сонный, повернулся к ней. Заботливо проведя рукой по её лицу, спросил:

— А что это за светлая чѣрточка у тебя над губой? Девчонкой подралась?

— Не-а, — ответила Рита. — У меня дома кошечка была, сиамская, Нинкой звали. Прыгнула Нинка с шифоньера прямо мне на лицо. Едва глаза рукой закрыла. Располосовала — от скулы до губы. Сейчас едва заметно. Было хуже. Пришлось операцию делать — год назад.

— Прибил бы такую кошку.

— Хотела прибить — кухонным резакom.

— Шутишь?

— Нет, — покачала она головой. — Правда, вышло только наполовину. Убежала Нинка. В окно сиганула. Теперь без хвоста по помойкам шляется.

— Ты — серьёзная женщина, я это сразу понял.

— Серьѐзнее не бывает, — улыбнулась она.

— Мне кажется, — задумчиво проговорил Евграф, — с этой белой чѣрточкой ты ещё красивее... Загадочнее, — добавил он.

Ночью, в час безвременья, он спросил: «Чем ты занимаешься?» — «Я — писательница», — просто ответила она. «Сотникова... не слышал...» — «У тебя всё ещё впереди». — «И о чём ты пишешь? — ему изо всех сил захотелось быть полезным этой женщине. Чтобы не убежала, не выпорхнула Жар-птицей из его рук. — Я могу лучше любого редак-

тора сказать, что хорошо, а что плохо». — «Что хорошо, а что плохо, это уже Маяковский сказал». Он усмехнулся: «Тебе палец в рот не клади. Я, Риточка, недаром продюсер. Универсальная профессия. Только дай почитать. Не говорю уже о своих связях в издательском деле...»

И вот теперь, в дверях, не сказав счастливому и одновременно потерявшему мужчине, плох он был или хорош, придёт она, богиня, к нему ещё когда-нибудь или нет, вытащила Рита из сумочки рукопись, свёрнутую в трубку, и сунула её в руку Гусеву.

— Бери. Несла в редакцию одного журнала, но они могут и подождать.

Евграф поспешно расправил рукопись.

— «Зечка»? — нахмурился он.

— Да, — грустно улыбнулась Рита. — У меня подружка была, села в тюрьму по недоразумению, потому что скоты все вокруг: пацаны, следователи, судьи, адвокаты. И любовники в том числе. Как под юбку залезть — первые. А как помочь — их и след простыл. Попала на зону, там и сгинула. А хорошая была девчонка.

Рита ушла, а Евграф Гусев вцепился в рукопись мёртвой хваткой. Отключив телефон, он завалился на кровать, всё ещё пахнущую ароматами нежданно-негаданно гостей, клубившимися тут, над его головой, всё пропитавшими, от картин до мебели, вытянул ноги и прочитал первую строчку...

Даже если бы не было такой женщины, как Рита Сотникова, он отдал бы рукопись своему другу издателю, коллекционирующему не пустые детективы и фэнтези, но вещи глубокие, интересные, перспективные, и убедил бы напечатать книгу... И как было упоительно знать, что не безымянная рукопись попала ему в руки. Но прекрасной дамы, которую он будет ждать — завтра. Стоит только сделать звонок и сказать: «Я прочитал. Приезжай». Сколько лестного он скажет ей. Отметим стиль, точность образов. И ведь не соврёт! Точно сама она, утончённая, лёгкая, сидела в этой проклятой зоне. А чуть позже предложит молодой любовнице своё покровительство. И чем опытнее она, мудрее, тем полнее оценит его предложение.

Уже лет десять вёл Евграф Гусев свою программу. Она отличалась от тех, которые он, едва изобретая, отдавал коллегам и получал с них барыши. С этой программой он раз в месяц лично возникал на телеэкране, умничал, важничал, хотя демократично и интеллигентно. Суть программы была такова: автор её приглашал в студию известного всему миру человека. Или всей Европе. Или просто влиятельного, значимого. Некую монументальную личность. Что-нибудь из бронзы, мрамора или гранита. Кто был высечен умело, ловко и надолго — временем, обществом, традицией.

Евграф Гусев в считанные дни составлял подробнейшее досье на своего героя, выстраивал всё в аккурат по пунктам, ничего не пропуская. Чтобы, пригласив гостя на представление, крутить его, — конечно, тактично и тонко — как вздумается.

И с каким удовольствием он рассказывал о своей осведомлённости любовнице! Расписывал героя даже теми красками, которые на телевидении вряд ли пустил бы в ход.

Лорд Н., крупный бизнесмен, гость передачи, страстный поклонник литературной классики — Роберта Бёрнса и Вальтера Скотта, наверняка был вылит из бронзы.

— Как известно, война Алой и Белой розы, длившаяся несколько десятилетий, истребила три четверти того дворянства старой и доброй Англии, что создавалось ещё со времён Вильгельма Завоевателя, — перекинув ногу на ногу, говорил перед телекамерой Евграф Гусев. — Распря Йорков и Ланкастеров увлекла за собой в пучину небытия сотни родовых рыцарских гнёзд. Генрих Восьмой, подобно Петру Первому, открыл простор для государственной и военной деятельности новому дворянству. Именно благодаря ему Англия становилась менее феодальной и более капиталистической на общем европейском фоне.

Суть предисловия автора изысканно-популярной передачи была такова, что сидевший напротив него молодой мужчина, сухощавый, изящный, светловолосый, почти рыжий и, кажется, конопатый, был как раз отпрыском одной из тех самых дворянских фамилий, которую приблизил и возвеличил вышеупомянутый король Англии Генрих. Фамилия удачно миновала времена кровожадного Оливера Кромвеля, позже обзавелась мануфактурами, едва не разорилась при Наполеоновской блокаде, в битве с фашизмом во времена Второй Мировой потеряла двух сыновей и, наконец, удачно процветала в наши дни.

Лорд Н. улыбался, редкие зубы его сияли, отражая свет воспалённых софитов, шутил, рассказывал увлекательные истории. Вообще он казался довольно легкомысленным пэром, имеющим фабрики и заводы, ряд магазинов и прочая.

Когда съёмка закончилась, Евграф Гусев, прикрыв рот ладонью, крепко зевнул, пожал руку лорду Н. и оглянулся назад.

Там, у камеры, стояла его «писательница», «муза». «Бриллиант». И уже с полгода — «коллега», ассистентка. Но смотрела она не на него — телевизионного короля, её благодетеля, а совсем на другого человека...

В этот момент Евграфа Гусева оторвал главный редактор программы.

Выйдя за переводчицей в коридор, лорд Н. выглянул в окно, где захлёбывалась поздней осенью Москва, тонула в измороси, и блаженно (понятно, по-англицки) сказал:

— Какая прекрасная погода!

И обернулся. Но вместо переводчицы увидел молодую женщину, темноокую шатенку, яркую и неповторимую, каких никогда не рождал его самовлюблённый остров. Держа в руках упитанную книжицу, женщина улыбнулась ему. А потом заговорила на его языке. «Милый лорд, — сказала она, — очень жаль, что меня пока ещё не перевели на язык Вильяма Шекспира. И на язык Роберта Бёрнса. Поэтому я хочу подарить вам свою первую книгу на русском. Она не очень весёлая, но правдивая».

Молодая женщина улыбнулась лорду N., открыла книгу и на титуле поставила объёмный росчерк. А потом протянула книгу родовитому англичанину.

Пальцы лорда с трепетом и нежностью прошли по глянцевої обложке.

— Бэнджамин, — представился он.

— Рита.

— Для вас просто Бэн, — добавил лорд.

— Сегодня я улетаю домой, — спустя полчаса в «телевизионном» баре, за стойкой, говорил он. — Ещё утром я так скучал по своей родине. А теперь... Вы... не замужем?

— Нет.

Он затрепетал. Поднял на неё глаза.

— Рита, вы хотели бы увидеть Лондон? Моё поместье? Замок? Я беру быка за рога. Со мной такого никогда не было. С женщинами, — уточнил он. — Себя не узнаю. Это... точно озарение. Честное слово. Я ничем не оскорбляю вас?

Она отрицательно покачала головой:

— Нет, даже приятно.

— Наверное, вы привыкли, что мужчины расточают вам комплименты...

— Привыкла, — кивнула она. — Но слова мало что значат. Людей узнаёшь по поступкам.

— Я куплю для вас билет сейчас же. Вам не нужно брать никаких вещей. Уже завтра у вас будет новый гардероб. Всё самое лучшее. Своя машина. Для такого бриллианта, как вы, я подберу самую изысканную оправу. Соглашайтесь, прошу вас.

Надо же, как его разобрало, думала Рита. Но молчала.

— Может быть, ваше сердце сейчас занято? Наверное, это так?

Она цепко смотрела в глаза Бэна. Бог мой, а сколько у него конопушек! Целые россыпи. Рыженький, худощавый. Голубой крови английского разлива. Богатющий...

— Почему вы молчите? Я прав — занято?

Рите захотелось плеснуть ему валерьянки, успокоить беднягу. Надо же, как разнервничался. Неровен час, удар хватит. Хоть и молодой.

— Было занято. Но я разочаровалась в своём избраннике, — она пожала плечами. — Не люблю мужчин-собственников. Которые думают, если женщина красива, то она — вещь. Как ваш Сомс Форсайт.

— О, Сомс Форсайт, я понимаю, — закивал он. Кажется, лорд ожидал. Возвращался к жизни. Едва сдерживал ликование. — Тогда прошу вас, окажите мне честь...

— Но в качестве кого? — спросила Рита. — Я не куртизанка.

Краска бросилась в лицо англичанину.

— Как вы могли подумать! На роль самой желанной гостьи.

Она презрительно поморщила нос:

— Слабо звучит.

— Почему?

— А сами вы не догадываетесь? Вы точно покупаете меня.

Вопреки выдержке поколений лицо лорда представляло собой стремительную игру красок. Никакого аристократического постоянства: например, холодной бледности на все случаи жизни. И во всём виновата была его собеседница. Окажись на её месте другая женщина, всё вышло бы иначе. Но не с ней. Теперь конопатая физиономия Бэна стала серой от отчаяния.

— Но... — пролепетал он. — Я бы не посмел...

Он взял её руку, и Рита почувствовала, что его ладонь вспотела. Пальцы Бэна дрожали от волнения. Господи, подумала она, с ним будет легко и скучно. Такое состязание можно сравнить лишь с дуэлью матёрого снайпера и новобранца-недотёпы. Или с охотой леопарда на ягнёнка, отбившегося от стада. Таких мужчин, как Бэн, укладывают одним выстрелом — наповал! Взгляд, прикосновение, голос. А потом готовят их, на жару и пару, как готовят искусные повара отличную еду! Сколько рецептов! Можно не торопиться: очаровывать, подчинять, завладевать душой, сердцем, плотью. Иначе говоря, поджаривать на медленном огне, с обеих сторон, до хрустящей корочки! Или — напротив: опалить, заставить сразу стать покорным и безропотным рабом. На молниеносном огне довести до кондиции в считанные минуты! Спазмы нервного смеха душили Риту, но комок уже подкатывал к горлу, не давал дышать, душил...

— Я не понимаю, что с вами, — беспомощно выговорил Бэн.

— Не важно...

— Очень важно, — возразил он. — Для меня...

Сжав губы, Рита замотала головой.

— Я всё-таки оскорбил вас... Простите.

Но Рита уже справилась с собой. С накатившим, точно штормовая волна, отчаянием. Как ей было бороться с собой? С такой, какой она была сейчас. И непременно будет завтра. Опасной, как отточенный нож, спрятанный в складках плаща... Подняв на собеседника глаза, где, навернувшись, блестела нечаянная влага, она печально вздохнула:

— Знаете, что хочет услышать от мужчины — женщина?

— Подскажите.

— Женщина хочет услышать: «Любимая, моя жизнь заключена в тебе. Я понял это с первого взгляда. Обещаю, я буду любить тебя вечно, и даже смерть не разлучит нас». Думаю, ваши предки говорили именно так. А вы — машина, гардероб, — она накрыла его руку своей. — В этом городе сходу найдётся тысяча красивых девушек, которые с радостью откликнутся на ваше лестное предложение. Даже если вы их позовёте всех одновременно, — Рита уже стояла рядом с ним. — Простите, мне надо работать.

— Нет-нет, подождите, — попросил он. Бэн сложил руки так, точно собирался молиться, коснулся пальцами кончика носа. — Простите меня. Не уходите. Простите... Я ищю слова...

Рита улыбнулась:

— Меня ждут, правда. Не хочу получить из-за вас выговор.

— Если нужно, я встану на колени, — искренне выговорил лорд.

Рита огляделась.

— Нет, — покачала она головой, — это лишнее.

Бэн стёк с табурета, но преследовать собеседницу не осмелился.

Подходя к зеркалу, Рита уже давно видела там другую женщину. Раньше она только ловила себя на этой мысли, пристально оглядывая незнакомку. Теперь — знала о ней наверняка. Дух захватывало от подобного откровения! Эта женщина — ослепительна и коварна. Всегда. Она может быть отчаянно жестокой. Или великодушной. По настроению. Она умеет любить и подчинять своей власти мужчину. От её прикосновения он трепещет, как осиновый лист. Её тело превращает его в раба, голос завораживает, взгляд сводит с ума. Она опытна, потому что прошла огонь и воды. Она была в плену, её держали в клетке. Но она выдержала, не сдалась. Быть слабой — не её удел. Она вышла из ада без единого ожога. Если не считать белую чёрточку над верхней губой. Зря они поступили так с ней. На свою беду. Теперь она была — сильнее, мстила — жёстче, обольщала — со всей, данной ей Богом и дьяволом, страстью. И бросала — легко. Без сожаления. Она брала своё, пуская в ход клыки и когти. И беда тому, кто вставал у неё на пути...

Женщина в зеркале...

Но главное от Маргариты Сотниковой оставалось сокрыто: кем была эта незнакомка ей — врагом или другом?

Рита обернулась на стук. Нет, это не Евграф. Тот входит по-хозяйски. Как падишах на женскую половину. Да и стук был слишком робкий...

— Войдите.

Дверь открылась...

На пороге стояла огромная корзина — вся усыпанная алыми розами. Из-за верхних цветов Рите улыбался Бэн. Глаза его блестели немного ошалело.

— Разрешите войти? — попросил он.

— Пожалуйста, — пригласила его Рита, оглядывая букет. — Вы разве не должны были вчера уехать?

Заноса корзину в кабинет, Бэн оступись: едва не нырнул в благоухающую клумбу.

— Должен был, но не уехал.

Любопытное лицо барышни промелькнуло в коридоре. Знакомый редактор, едва не свернув шею, даже притормозил у её кабинета. Рита только и успела, что рассеянно улыбнуться приятелю Евграфа — через корзину цветов. И сама закрыла дверь.

— Садитесь, милорд.

— Нет-нет, — улыбнулся своему титулу Бэн. — Я буду говорить стоя. Иначе нельзя.

— Нельзя? — переспросила Рита.

Она не сводила глаз с англичского гостя, сейчас чересчур бледного. Он был похож на человека, готового сделать поступок, который должен изменить всю его жизнь. Точнее говоря, Бэн был похож на помешанного.

Он покачал головой:

— Исключено. А вот вы, Маргарита, садитесь.

Рита послушно села.

— Я мог только мечтать о такой спутнице жизни, как вы, — проговорил он. — Едва я вас увидел, то понял, что в ваших жилах течёт кровь всех королей мира. И что именно такую женщину я бы хотел видеть рядом с собой. Если вы поедете со мной, завтра же я представлю вас своей матушке как невесту. Господи, у меня голова кругом идёт...

Рита задумчиво опустила глаза. Случайно поймала взглядом туфли Бэна. Как лучезарно сияла обувь её новоиспечённого жениха!

— А вы умеете говорить, когда захотите...

— О, боже! — вдруг воскликнул Бэн. — Забыл! — он вырвал из кармана куртки маленький футляр, дрожащими пальцами открыл его, схватил руку Риты. Она заметить не успела, как на её левом безымянном пальце красовался перстень с бриллиантом. — Теперь, кажется, всё, — выдохнул Бэн. — Пока всё.

Перстень наверняка был дорогущим! Правда, чуть великоватым. Из утончённой золотой вязи бриллиант поглядывал на свою новую хозяйку так уверенно и преданно, точно был крошечным джинном, отныне готовым выполнять все её прихоти. Рита не сдержала улыбки.

— В юности я очень любила читать сэра Вальтера Скотта, — она смотрела в глаза англичанина и говорила таким тоном, словно готова была открыть гостю заветную тайну. — Так вот, я всегда представляла себя хозяйкой старинного замка... Вы не находите это странным, Бэн?

Стоило ей открыть дверь кабинета Евграфа Гусева, войти — смело, тот, подскочив, схватил её за руку, развернул, почти толкнул в кресло.

— Ты меня так изуверишь, — вся собравшись, точно на ринге, усмехнулась она.

— А стоило бы, — Рита ещё ни разу не видела своего любовника таким взбешённым. Но к его ярости примешивалось почти отчаяние. — Ты что надумала? Говори.

— А что я надумала? — бесстрастно спросила она.

Евграф Гусев был кем угодно: циничным соблазнителем и охотником, когда рядом оказывался достойный объект; опытным конъюнктурщиком, появившись значительная выгода; конформистом, если того требовали жёсткие обстоятельства; наконец, талантливым художником, которого уважали коллеги, даже те, кто страстно завидовал ему.

Но никто и никогда не назвал бы Евграфа Гусева дураком. Не только ум, даже интуиция ни разу в жизни не подвела его.

— Ты спятила? Разве я не вижу? Хочешь заполучить этого англичанина? Конопатого пэра?

Рита подняла брови:

— А, ты о Бэне...

Евграф ткнул в неё пальцем:

— Он должен был уехать ещё вчера. Разве нет? Этот хренов пэр очень торопился. А сегодня раскланялся со мной, как ни в чём не бывало. Его слуга тащил корзину алых роз — с себя величиной. Едва видно было этого Дживса!

Рита перебросила ногу на ногу, положила руки на подлокотники.

— Красивые розы, ты тоже заметил?

— Ты... издеваешься?

— Даже не думаю.

Их взгляды встретились. Взгляд Риты был таким прямым, острым, жалившим, как рапира, что сердце Евграфа Гусева сжалось. Он первый не выдержал поединка. Казалось, не находя себе места, он готов был стремительно закрутиться юлой и рухнуть на пол.

— Зачем он тебе — европейский куклёнок?! — он зло усмехнулся. — Ведь он — пустышка. И ты знаешь об этом.

— Напрасно ты так. Бэн очень даже мил. А потом, — улыбнулась она, — он и моложе тебя, и богаче. А это тоже немаловажно.

— Ну ты и...

— Сука?

— Как ты угадала?

Рита встала с кресла:

— Уже называли.

Евграф Гусев покачал головой:

— Какая же ты дряннь... Мразь.

Рита цепко ухватила любовника за галстук, рывком притянула к себе:

— Только никому об этом не говори.

Они смотрели в упор друг на друга.

— Думаешь, я не догадался, что это ты сидела в тюрьме? — притянутый, точно пёс на поводке, процедил Гусев. — Что про себя писала? Я наводил о тебе справки...

Рита усмехнулась ему в лицо.

— Догадливый ты мой, — она отпустила его и вдруг, подумав, хлёстко шлепнула тыльной стороной ладони между продюсерских ног. — Тебе надо меньше пить, дружок, — Евграф Гусев, задыхаясь, уже съезжился у неё на глазах. — Неровен час, опозоришься.

Через четверть часа Евграфу Гусеву, бледному, с зелёным оттенком кожи, безмолвному, секретарша принесла лист бумаги. На нём Маргарита Сотникова просила уволить её по собственному желанию. Взглянув на лист, Евграф Гусев поставил автограф. Секретарше показалось, что шеф её, жизнелюбивый повеса, стал ещё зеленее.

Рита, не отрываясь, смотрела в окно такси. Осталась позади кольцевая. Город опустился в плотный сумрак наступившего вечера. Ещё минут пятнадцать, и аэропорт. Она там переждёт эти несколько часов...

Спортивная сумка в багажнике — одна-единственная. Все её пожитки за двадцать семь лет жизни. Впереди — роскошный дом в Лондоне, сногсшибательный автомобиль. Замок в предместьях, где бродят одинокие призраки десяти поколений лордов N. Рита рассеянно улыбнулась: до неё, русской странницы, им вряд ли будет дело.

События последних нескольких часов не отпускали её. Мысленно Рита то и дело возвращалась назад, когда, вся пленительная, договаривалась о встрече с рыжим, счастливым до исступления Бэном. Когда, превратившись в лёд, укусила, по-волчьи, Евграфа. Не понял он её за эти полгода, не узнал. Не захотел узнать. Держал под прицелом — днём и ночью. И при удобном случае не забывал напомнить, кому она обязана своей карьерой. Конечно, не заслуживал он такого укуса и рана эта будет ещё долго кровоточить. Но с ней, Ритой Сотниковой, надо было иначе...

Неожиданно, с быстро нарастающим рёвом, вперёд вылетел мотоцикл. Рита отпрянула от стекла — так он оказался близко. Чуть замедлив ход, мотоцикл выровнялся с такси. Два седока: парень, за его спиной — девушка. Светло-русые, выбившиеся из-под шлема волосы полоскал встречный ветер. Задирали юбку. Мутно переливались заклёпки на кожаной куртке её ковбоя. Мотоцикл ехал бок о бок с «Волгой», точно готовился к стыковке и обмену пассажирами.

— Ему дороги мало, — вяло огрызнулся пожилой водитель. — Хрен бестолковый.

Рита присмотрелась: на бензобаке — череп и скрещенные кости. Мотоциклист повернулся к таксисту. Голова в шлеме, чёрное забрало. Парень выбросил вперёд правую руку в перчатке, выставил средний палец.

— Сам туда иди! — оглядываясь, зло бросил таксист. — Научились, а? — он раздражённо сплюнул. — Дурачье-то.

Наглец за рулём мотоцикла точно вывел Риту из оцепенения. Из транса, в котором она пребывала с той самой минуты, как набивала сумку тряпками в квартире Гусева.

Она не захотела, чтобы Бэн заезжал за ней. Рита сказала, что сама приедет в аэропорт к означенному часу, и теперь вспоминала, как затрепетал её англичанин. «Почему, Маргарита?» — спросил он. Она не ответила. Сама не знала — почему. Только теперь стала догадываться... Она — очень остро — напонила себе ловца жемчуга, который, разгребая руками водные толщи, погружается всё глубже. Совсем не думая о том, что от давления вены его могут не выдержать...

А парень в седле не унимался. Его мотоцикл вырвался вперёд и теперь шёл петлями впереди такси.

— Ну ты погляди, а! — негодовал водитель. — Вот паскудник! Куда ГАИ смотрит? Как бабки стричь, так они тут как тут! А чтоб этого козла прижучить...

Рита рассеянно следила за сумасбродом в каске и его подружкой, кажется, вцепившейся в проклёпанного паренька что есть силы.

Такси резко притормозило, и Рита едва не влетела носом в переднее сиденье.

— Да вы что? — резко спросила она.

— Что, что! — в ответ заревел таксист. — Сволочь он, вот что!

Только тут Рита сообразила: мотоциклист резко сбавил скорость — инстинктивно нажал на педаль и водитель такси.

— Камикадзе херов! — теперь пожилой водитель негодовал всерьёз: матерился, грозил небесами и преисподней стремительно уходившему вперёд дикарю и его спутнице. — И себя, и девуку угробит!

Как видно, это был прощальный аккорд придурка, скрывавшего физиономию за чёрным забралом.

Вновь отстранённо мимо пролетали машины. Рита знала, о чём сейчас думали оба мужчины. Один, оскорблённый до глубины души, проклинал её. Другой жил предвкушением. Дождаться не мог, когда же получит её. Всю. Молодую, отчаянную. Красивую и желанную — до обморока. Во взглядах мужчин, касавшихся её, она читала именно это чувство. Другого просто не замечала...

Справа, лучась дешёвым неонам, открывался придорожный ресторан. Роскошный притон — островок для полуночников всех мастей.

— Стой! — быстро сказала Рита.

— Ты чего? — вполоборота спросил шофёр.

— Остановись, говорю.

Таксист притормозил у обочины.

— Ну?

— Я здесь выйду.

— Да тут вроде нет самолётов?

— Так надо, — отсчитывая купюры, сказала Рита. Протянула несколько штук через сиденье. — Как и договорились — четырёста.

— Надо, так надо, — принимая деньги, откликнулся шофёр. — Дело хозяйское.

...Стоя со спортивной сумкой через плечо, Рита смотрела, как таксист развернулось на трассе и помчалось в сторону Москвы.

Рита подняла голову. Аэропорт был уже не за горами. В густую холодную синеву взмыл самолёт, лучась бортовыми огнями, пошёл на круг.

У неё в запасе ещё часа два. Она должна выпить, всё обдумать как следует, решить, как ей поступить. Не из жадности, прыгая, цепляясь на лету, как обезьяна, с ветки на ветку, через гущу тропического леса — за самым сладким бананом. И не из ненависти к миру, шагая по головам, никого не щадя. А по-другому. Как — это Рита и хотела сейчас понять.

Ещё один самолёт поднялся с невидимой взлётной полосы, поплыл в ночь.

Пусть Бэн посидит в ресторане, выпьет своего шотландского виски или русской водки. Покумекает. Вдруг интуиция подскажет ему: брось эту женщину, не дури, не лезь в полымя; отыщи себе такую же рыжую англичаночку, голубой крови, нарожай с ней племенных пэриков и будь доволен.

Рита оглянулась на светлые двери кабака, сейчас распахнувшиеся, откуда, вместе с блатной музыкой, вывалилась компания.

— Теперь Лёха поведёт, — крикнул кто-то, — мы не в состоянии!

Компания качнулась и несмело покатила в сторону автомобильной стоянки.

Но прежде, чем увидеть это и услышать, Рита запечатлела в памяти другое, что пронеслось перед глазами чуть раньше, в десятую долю секунды. У пристроя, грубо прилепленного к кабаку, стояли двое — парень и девушка. Она — прижавшись к стене. Он — точно тень над ней. Парень хлестко ударил девушку по лицу, как бьют напуганную собаку, зная, что она в ответ не укусит. Только подожмёт хвост и станет ещё более жалкой. Рита увидела всё это ясно и чётко, как на белой простыне в кинотеатре. Виной тому был далёкий, ставший фоном, свет уличного фонаря.

Вспышка, несколько кадров, пустота. И только потом — пьяная компания, ковыляющая к стоянке. Рита жадно искала глазами двух призраков. Их не было. Привиделось?.. Может быть. Но среди деревьев, на фоне того же лимонного света, Рита прочитала силуэт накренившегося мотоцикла.

Рита огляделась по сторонам. Рядом — в двух направлениях — проносились машины. На стоянке подвыпившие полуночники заводили автомобиль. Рита взглянула на светлые двери бара, подтянула сумку и быстро зашагала в сторону пристроя.

Она кралась вдоль кирпичной стены. Ступала неслышно. Вот и знакомый мотоцикл. Череп и кости на чёрном бензобаке. Ещё шагов десять, и Рита наткнулась на дверь. Та была чуть приоткрыта, приглушённый свет сочился изнутри. Она услышала голоса. Мужской — настойчивый, хрипловатый. И женский — беспомощный.

— Отпусти, пожалуйста.

— Чуть позже, — голос был насмешливым, глумливым. — Не ленись, крошка. Всё равно работать.

— Я не хочу.

— Да я не спрашиваю — хочешь ты или нет.

Возня не затихала. Отчётливее слышалось порывистое дыхание девушки. Она сопротивлялась.

— Прощу тебя, не надо.

— Ещё как надо... Что тут у нас, трусики?

— Я закричу.

Треснул материал.

— Они нам не понадобятся. Вот так.

— Закричу, — это слово было сейчас единственной её защитой.

— У тебя отличная задница, детка, — продолжал голос пересмешника. — Она — всё, что мне от тебя нужно.

Рита слышала, как колотится её сердце — бешено, настойчиво. Готовое выпрыгнуть. Она сразу вспомнила — зима, подъезд. Жадные руки, горячие, лапающие её тело. И слова — омерзительные. Какие ни одна женщина на земле не должна слышать.

Девушка закричала — первый раз, второй. Она сопротивлялась. Её голос сорвался на отчаянный вопль.

— А это видела?! — перерывал её парень. — Видела?!

Голос девушки непроизвольно оборвался. Рита поняла: нож.

— Видела?! — повторил он. — Повернись, сучка. Так не люблю, — он ударил её. — Повернись, сказано! — ещё пощёчина. — Вот так. Можешь скулить, но тихо, ясно?

Рита открыла дверь разом.

— Чёрт! — услышала она. — Чёрт! Чёрт!

Вошла смело, остановилась напротив них. Душно было в этом пристрое, заваленном всяким строительным хламом.

Девушка стояла у теннисного стола, согнувшись, придавленная рукой парня. Щека прижата к заляпанному краской ДВП. Заплаканное лицо, спутанные светлые волосы, завёрнутая юбка. Рукой, в которой был зажат нож, парень зло дёргал молнию на джинсах: «Чёрт! Чёрт!»

— Член себе не отрежь, — сказала Рита.

Увидев свидетеля этой сцены, парень в первое мгновение обомлел.

— Отстань от неё, — сказала незнакомка.

Парень был длинноволосым, грязноватым на вид, в проклёпанной старой кожаной куртке. Так и не справившись с замком, он смотрел на неё, Риту, во все глаза.

— А ты откуда взялась?

— Я тебе сказала — отстань от неё.

— Понятно, — усмехнулся он, — хочешь присоединиться?

В ответ усмехнулась и Рита:

— Почему бы и нет?

— Тогда проходи, — зло выговорил он. Бросил девушке: — Жди, — шлёпнул по ягодице. — Я скоро.

С ножом парень управлялся просто — из правой руки перекинул в левую, вновь поймал правой. Видно, тренировался.

— Хочешь быть первой? Я согласен.

Быстро оглянулся на девушку, приподнимавшую голову. Ткнул ножом в её сторону:

— Порежу, сучка, — шагнул к Рите. — А ты смелая, мне это нравится. И красивая, падла.

— Ну, кто из нас падла, так это ты, — она была невозмутима. — Можешь поверить мне на слово.

Парень улыбнулся, вытянул вперёд левую руку, поманил её пальцами.

— Идём.

— Ты иди.

Парень ещё раз метнул взгляд на девушку, неподвижно следившую за ними. Двинулся на Риту, держа в вытянутой руке нож.

— Зря ты ввязалась, — приближаясь, проговорил он. — Ох, зря.

— Посмотрим.

Рита отступила, когда он махнул у неё перед лицом ножом, отпрянула второй раз. Ударила его по голени — что было силы — и отскочила в сторону. Но третий выпад, вдогонку, достал острием ножа её плечо. Она прихватила порез левой рукой. Лицо противника тоже исказилось от боли. Удар ногой получился крепким, точным. А главное — умелым.

— Сука, — припав на подбитую ногу, хрипло сказал он.

Раздражение и гнев внезапно вспыхнули в нём. Он бросился на Риту, рассчитывая на мужскую силу и мощь.

Рита прыгнула на дощатый пол — под врага, ударом левой ноги подсекла парня. Тот не ожидал такого выпада — не выпуская ножа, повалился в кучу мусора. Пока он неистово разгребал руками картонные ящики, банки из-под краски и прочий строительный хлам, Рита быстро подскочила, ища глазами, чем бы можно было вооружиться. У одной из стен стояли метлы и лопаты, но они были придавлены стендами.

В считанные секунды достать их было нельзя. Единственное, что могло привлечь внимание, так это ящик с песком. А парень, рыча, уже выбирался из той кучи, куда нырнул с головой. Падая, он распорол себе скулу, порез обильно кровоточил — струйка крови ползла по шее.

— На куски порежу! — хрипло заревел он, смахивая с лица кровь, ища глазами противника. — Убью, тварь!

Рита метнулась к ящику, зачерпнула в кулаки песок. Распрямившись, встретила взглядом с девчонкой: та забилась под стол. Обхватив коленки, онемевшая, таращилась то на неё, то на парня.

Тот уже понял: его противник — не промах. Настоящий боец. И с ним стоит быть осмотрительным и осторожным. Но гнев в парне теперь превратился в слепую ярость. И справиться с ней ему было не под силу. Бормоча угрозы, он второй раз провёл тыльной стороной ладони по лицу. Рана была глубокой, и кровь никак не унималась.

— Нет, я тебе не убью, я тебе всё лицо изрежу. Будешь, как Фредди Крюгер. Поняла, тварь?

Рита не отвечала. Она знала — нельзя. Собравшись, она следила за единственным — острием ножа, что сейчас плавало в воздухе, целилось на неё, приближалось.

Надо было всё сделать по-другому, лихорадочно думала Рита. Не дать ему позволить подняться из той кучи. Попытаться свернуть шею. Выдавить глаза. Нет, думать так — значит проиграть!

А парень уже стоял перед ней, широко расставив ноги, разведя руки. Рита догадалась: он попытается ухватить её левой, лишь бы она никуда не делась, не выскользнула, а потом пустит в ход нож.

В это мгновение девчонка, спрятавшаяся под столом, всхлипнула. Нож в руке парня дёрнулся, он собрался в броске. И тут же Рита выбросила вперёд правый кулак — пригоршня песка ударила точно в глаза парню. И едва он отступил, не успев опомниться, с трудом открыв глаза, выстрелил её левый кулак. Лезвие ножа, выброшенного вперёд — вслепую, разрезало воздух у самых губ Риты, но она успела отдёргнуть голову. Успела ударить парня между ног, а следующим ударом — угодить ему в горло.

Парень опрокинулся — рухнул навзничь. Нож оказался у самой его руки, но он не видел его. Только беспомощно щурясь, хлопал перед собой ладонью. Рита успела выдернуть нож из-под самых его пальцев и тотчас, не раздумывая, ударила ножом в запястье. Её враг взвыл, дёрнулся и взвыл ещё отчаяннее. Он был приколот к полу, как бабочка.

— Тварь! — хрипел он не столько яростно, сколько жалобно. — Убью тебя, тварь!

— Да ну? — тяжело дыша, усмехнулась Рита.

— Тебе не жить, — продолжал подвывать парень, хватаясь другой рукой за рукоять ножа, но не решаясь освободиться.

Рита рыскала глазами по сторонам. Мельком заметила, как из-под теннисного стола, съёжившаяся, выползала девушка. И наконец нашла, что искала. В куче мусора, куда её противник нырнул совсем недавно, Рита углядела край табурета. Она вырвала его из этой кучи и, ухватив за обе ножки у основания, подошла к поверженному противнику.

— Может, не надо? — тихонько за её спиной спросила девушка.

— Ты чего, а? — забыв про боль, зашипел парень. — Ты чего?

Рита замахнулась — крепко сбитый табурет навис над головой парня. Он только и успел, закрывшись здоровой рукой, пропищать: «Не надо!»

— Это тебе за тварь, — сказала Рита.

Всей плоскостью, как пресс, табурет приземлился на вертикально стоявшую рукоять ножа. Парень зашипел, точно капля, попавшая на раскалённую сковороду, и затих. Открыв рот, не моргая, он смотрел на Риту. Она отбросила табурет в сторону. Сказав: «Ну-ка, повернись», — отыскала в кармане кожаной куртки парня ключи. Подбросила их, поймала в воздухе. Посмотрела на девушку:

— Пошли.

— Куда?

Рита пожала плечами:

— По своим делам. Только ничего не забудь, возвращаться мы не будем. И приведи себя в порядок, а то ты выглядишь, как будто по тебе голодный гарнизон прошёлся.

Она усмехнулась. Девушка несмело улыбнулась в ответ. Ноги парня заёрзали, он опять потянулся к рукояти ножа, но замер, так и не достав её.

— Стойте, а я? — зашипел он. — Мне же больно. Сучки...

Рита цепко посмотрела на него:

— Кто-кто мы?

Корчась от боли, поверженный враг не ответил. Но всё же выдавил из себя:

— Мотоцикл — мой.

Рита усмехнулась:

— Был когда-то. Теперь это мой трофей.

Парень, похожий на большого дождевого червя, выброшенного из банки, зло замычал.

— За тобой бандитское нападение, — продолжала она, — и попытка изнасилования. Так что лучше помалкивай насчёт своей тачки, — кивнула девчонке, не сводившей глаз с прибитой к полу окровавленной руки парня. — Пошли.

Они вышли на улицу. И ночь стала спокойнее, и звёзды горели приветливее. Светлее.

— Сколько тебе лет? — направляясь к мотоциклу, спросила Рита.

— Семнадцать.

- А звать как?
- Катей.
- И откуда ты, Катя-Катерина?
- Из Рязани.
- Хороший город.

Рита с видом знатока уже оглядывала мотоцикл.

- Не из самой Рязани, из области, ближе к Москве...

— Угу, — промычала Рита. — И мотоцикл неплохой. Только эта черепушка с костями мне не нравится.

- А тебя как зовут? — спросила Катя.

- Меня?.. Миледи, — усмехнулась Рита.

- Так и зовут? — не поверила девушка.

Но Рита не ответила. С брезгливостью оглядела взятый шлем.

Другой протянула Кате. Одеда свой, подняла забрало.

- Надышал в него этот подонок. А ехала куда?

- Так, автостопом, — ответила девушка.

- Куда, спрашиваю?

- Никуда.

- Из одной жизни в другую?

Девушка всё ещё стояла со шлемом в руке.

- Ага.

- Ага, — передразнила её Рита. — И не страшно было?

- Не знаю. Я со своим парнем поругалась.

- Обидел?

- Да нет...

Рита заботливо посмотрела на девушку.

- Любовь была или как?

Катя пожала плечами. Промолчала.

- А поругались, конечно, насмерть?

- Не знаю. Сказала — сбегу. И сбежала. Вообще-то он хороший...

— За хорошего держаться надо, а не бегать от него, — заключила Рита. — Автостопом.

Из помещения послышался слабый стон. За ним — жалобный мат.

— Пора сваливать, Катерина, — Рита перебрала ногу через сиденье. Усевшись поудобнее, стала присматриваться к управлению. — А то найдут этого ублюдка, будут расспрашивать. Что-то обязательно ляпнет. Надо было всё-таки разmozжить ему башку этим табуретом! Я вначале так и хотела. В первое мгновение... — она поглядела на девушку. — Или не стоило?

- А ты бы смогла?

- Я — да. А ты?

- Не знаю, — девушка опустила глаза. — Нет, наверное.

- Ладно, забирайся.

- А водить умеешь?

— Был у меня приятель по юности, Сохатым звали. Научил. Каску не забудь. И держись крепче, подруга.

Завёлся мотор, мотоцикл сорвался с места. Выехали из темноты. Вот и парадные двери заведения. Очередная компания под музыку шумно покатила наружу.

Рита затормозила у самой дороги. Справа был аэропорт. Крохотный самолётник, мигая бортовыми огнями, набирал высоту.

— Мы куда? — спросила Катя.

Рита представила себе Бэна, который через несколько часов будет дожидаться её в аэропорту. Нервничать, изводиться. Его бренди будет уже выпит. Или водка. Он, в роскошном пальто и кепи, станет вертеть головой. Рядом истомится слуга с корзиной цветов — алых роз. Целым миллионом, как в песне! Их пленительный запах обползёт весь аэродром, и все будут вдыхать и его спрашивать: где та женщина, для которой всё это богатство? А ведь Бэн пообещал ежедневно дарить ей по такой клумбе.

— Каждый день по корзине цветов — так можно и разориться, — проговорила она. — Зачем мне такой расточительный муж? Неровен час, и замок по ветру пустит. Да и рыженький он больно...

— Ты о ком?

— Это я сама с собой... К тому же ни черта не знает по-русски. А я на этом языке говорю и пишу. И на что он мне сдался, спрашивается?

Катя ждала — она не решалась задавать ещё вопросы. Рита мечтательно улыбнулась. С другой стороны, как он слушал её речь? Именно: точно голос её был прекрасной музыкой, пропустить каждую ноту которой — преступление. Но сколько так может продолжаться — неделю, месяц, год? А если ей надоест ублажать его слух? Ведь она не музыкальный инструмент — не флейта и не виолончель. Что тогда? Может и обматерить.

— Куда, говоришь, поедем? — вполоборота бросила Рита. — Ладно, решим по дороге.

Справа был Бэн, обеспеченная жизнь. Чужая жизнь. Слева — Москва. А за Москвой — вся необъятная, спящая Россия. Рита набрала в лёгкие побольше воздуха, хотела что-то сказать, но... выругалась. Отжала сцепление. Поддав газу, стремительно проскочила встречную полосу, вылетела на другую, пристроившись в хвосте сонного «Икаруса». Не вытерпев, вырвалась вперёд и на всех парусах понеслась по трассе.

Большой тихий пригород встретил их мирным провинциальным сном.

— Твоя станция, — тормозя напротив выстроившихся вдоль дороги хрущёвок, сказала Рита. — Конечная.

— Я не могу сейчас — туда, — всё ещё вцепившись в талию Риты, жалобно сказала Катя. — Не хочу.

— А что ты хочешь — влипнуть ещё в одну историю? — возмутилась Рита. — А ну, марш домой! Во двор въезжать не буду: всех перебуду. Тебе потом втык сделают.

Сняв шлем, девушка вылезла из седла.

— Где твои окна? — спросила Рита.

— Вон те, — кивнула Катя туда, где ещё горело кухонное окошко. — На третьем.

— Видишь — ждут, — Рита взглянула на часы. — Два пополночи. Самое время для возвращения с прогулки. Сколько тебя не было дома?

— Дня три, — дрогнувшим голосом ответила Катя. — Но я им звонила...

— Молодец, — похвалила её Рита. — Проводить?

— Нет, — покачала головой девушка. — Тут я всех парней знаю: сюда чужие не сунутся. У нас ребята ещё те.

— И то хорошо, — вздохнула Рита. — Шлем не забудь вернуть. Может пригодиться — для нового попутчика...

Всё ещё прижимая к себе шлем, девушка потупила глаза:

— Возьми меня с собой.

— Не могу, — серьёзно ответила Рита.

— Почему?

— Дороги у нас разные. Помиришься со своим парнем. Для начала. И постарайся быть счастливой. Если бы я смогла, так бы и сделала, — Рита что-то решала. Затем растопырила пальцы на левой руке, легко сняла обручальное кольцо Бэна. Забрав шлем, взяв правую руку девушки, одела перстень на её безымянный палец. — Смотри-ка, а тебе как раз.

— Не нужно...

— Береги его: оно дорогое.

Катя заплакала.

— А ты куда?

— Подальше от Москвы, — усмехнулась Рита.

Она притянула девчонку за шею, чмокнула в щёку.

— Ладно, Катерина, долгие проводы — лишние слёзы. Прощай. Помогай мне светом, когда войдёшь в дом. Хорошо?

Закусив губы, вся заплаканная, Катя кивнула и пошла через дорогу. Рита провожала её взглядом: девушка прошла садик, завернула за угол.

Рита взглянула на бензобак с черепом и костями: вот урод, пират долбаный. Что же делать теперь ей? Останется позади Рязань, а она всё будет скользить по уснувшим дорогам? Перекусит в кафе у обочины, заправит бак. Денег, слава Богу, хватает.

Рита закрыла глаза.

Она будет лететь по трассе и сама не ведать того, где тот край, тот предел, что ей нужен. Чёрными зеркалами станут блестеть озёра, кри-

выми лентами — сонные реки. Уходить назад мосты, поезда. Поля — великие тёмные острова. Бесконечные цепи лесов. Россыпи огней ночных городов будут встречать её, и они же — провожать. А потом она остановится на трассе перед рассветом. Не будет ни одной машины — ни сзади, ни впереди. Она поднимет голову к небу. Там, за пологом осенней ночи, медленно будут таять звёзды. И она, Рита Сотникова, обязательно поверит, что среди миллиардов алмазных крупиц, видимых и невидимых, есть и её звезда? Одна-единственная. Ослепительная. Главная. Неуловимая. Она, Рита, не усомнится, что нет её ярче на белом свете! Но никогда она не узнает, где эта звезда. Никогда...

Катерина! Рита открыла глаза и тотчас увидела, как одно из окошек лихорадочно вспыхивает электричеством и гаснет. Так приветствовала её и прощалась с ней новая подруга. Глядя на мигающее окошко, Рита перекинула ногу через седло мотоцикла, легко и быстро побежала к дому девушки.

— Катя! — забравшись в садик, соединив ладони рупором, закричала она. — Катерина! Ка-атя!

Окошко открылось, и девушка перегнулась через подоконник:

— Да?! Что, Рита?!

А за ней, не отходя ни на шаг, грубо перебивая, уже нависали какие-то тени.

— Да вы с ума посходили! — истошно кричала за спиной девушки её мать. — Полицию вызову!

— Отдай мне перстень! — во время короткой паузы, пока мать беглянки после первого залпа переводила дух, так же громко выкрикнула Рита. — Только быстрее!

— Сейчас! — отозвалась девушка.

Кажется, второпях она готова была стянуть его с пальца да так и бросить вниз — в темноту.

— В газету заверни, дурёха! — закричала Рита. — В газету, скомкай её и бросай!

Девушка метнулась от окна, и на её месте сразу же появилась тучная женщина, а рядом лысая голова мужчины.

— Я сейчас полицию вызову, — трясла пальцем женщина наверху. — Сейчас вызову! Степан, иди звони! Вас за похищение малолетней заберут! Так и знайте!

Рита ещё раз взглянула на часы, подняла голову. Мужчины уже не было: как видно, пошёл звонить. «Да где же эта девчонка? — думала Рита. — Только бы отец не остановил! Только бы...»

— Ваша дочь — уже совершеннолетняя, — как ни в чём не бывало, слушая трескотню сверху, крикнула разбушевавшейся женщине Рита. — Маленькая уже!

— А вы мне не дерзите, не дерзите! — визжала мать загулявшей девушки. — Я найду на вас управу! Найду! Вас ещё посадят!

«Она — моя подруга! — услышала Рита из комнаты истошный вопль Катерины. — Уйди! Папа, уйди!»

Катерина всё-таки сумела пробиться к окну, оттолкнуть мать и с криком:

— Держи, Рита! — бросить ей свёрток газеты.

Рита ловко поймала свёрток, распотрошила его и в самой сердцевине этой бумажной капусты отыскала перстень. Одеда его на безымянный палец и бросилась обратно к мотоциклу.

— Катя, будь счастлива! — крикнула она уже из седла, с той стороны дороги, и шумно завела мотор.

За спиной девушки бушевали родители. Вопли будили весь квартал. Впереди Катю несомненно ждали репрессии, но девушка и впрямь была в эти минуты счастлива. Может быть, потому что увидела, как, вспыхнув прежним огнём, быстро развернула мотоцикл её подруга и на полной скорости рванула в сторону Москвы...

.....

По зелёной лужайке, целому полю, носилась лохматая белая собака. Уши её, как крылья гигантской бабочки, хлопали и хлопали по заросшей морде. Высунув язык, собака бегала от одного рыжего мальчишки к другому. Мальчики, одному было лет восемь, другому — не больше шести, играли в серсо. С деревянных мечей они бросали друг другу кольцо и ловили его. У старшего получалось ловчее, младший торопился, то и дело падал на ровную траву. Но стоило собаке увидеть, что младший растянулся, упустив кольцо, как она припускала вперёд, жадно хватала это кольцо и неслась в сторону. И тогда старшему что есть силы приходилось кричать: «Чарли! Чарли! Назад! Чарли!» Собака делала вокруг игроков пару заветных кругов, возвращала кольцо и, махая хвостом, вновь принималась выжидать промаха младшего из ребят.

Женщина в солнцезащитных очках, сидевшая в раскладном кресле, зевнула. В коротких шортах и майке, она вытянула ноги на маленький столик, где стоял открытый ноутбук. На экране теснились строки. Женщина потянулась. Так хотелось курить, но она дала себе слово, на этот раз самое что ни на есть честное, бросить, и теперь надо было его держать.

Она оглянулась. По асфальтовой дорожке, не спеша, шёл слуга с серебряным подносом и двумя стаканами молока. Это для детей. Он вышагивал от серой прямой скалы с приземистыми башнями, высокими крышами и узкими белыми окнами. Там, наполовину увитый плющом, поднимался их миниатюрный замок. Такой ухоженный, как игрушечный...

Женщина зевнула:

— Я устала смотреть на зелёную траву и холодный океан, милый. Хочу поближе к Лазурному берегу, — в её голосе читались капризные нотки. — Я соскучилась по югу Франции. И мне там лучше пишется...

Муж в белоснежном костюме, сидевший рядом в таком же кресле, расправил толстую газету.

— Сразу после Эпсомского Дерби в Аскоте, дорогая. Ты же знаешь, я не могу пропустить заезд Генри Сендерса на его Большой Дженни. Они, как и всегда, произведут фурор, — мужчина взглянул на губы женщины, положил руку на загорелое колено жены, улыбнулся. — Я поставил пятьдесят фунтов на Сендерса и Дженни и хочу увидеть, как вместе с ними стану победителем!

Он отвечал на ломаном русском. Этот подвиг он совершил для неё. Когда-то она поставила ему условие: либо он с рвением отличника учит её родной язык, либо она никуда не едет. Этих условий было много, но, вот что интересно, её муж все их выполнил или продолжал выполнять по сей день.

— Хорошо, — вздохнула она, — а что дети? Возьмём их с собой?..

— Милая, — муж никак не убирал руки с её загорелого колена, — если не возражаешь, оставим Бэнджамина-младшего и Ричарда дома. Я хочу провести это время только с тобой. Наш дом в Сен-Тропе, яхта, тёплое море. И только мы вдвоём. Идёт?

Женщина ещё раз вздохнула:

— Как скажете, сэр. Лорд Бэнджамин-старший, — немного язвительно, но очень дружелюбно добавила она.

— В вашем тоне, миледи, я слышу насмешку, — улыбнулся её муж.

Женщина потянула его за рукав, и он с нежностью поцеловал её в губы. Дети выпили молока и продолжали свою рыцарскую игру. А собака всё носилась и носилась между ними, охотясь за деревянным кольцом.

«Почему они оба такие рыжие?» — думала женщина. Порода, видите ли! Столетиями они её ковали! Кузнецы, туда их растуда! Ребята, конечно, красавчики: не в отца пошли, слава Богу, и не в его чопорную родню! Но до чего же рыжие и конопатые! Женщина, прикрыв рот ладошкой, опять зевнула. Ничего, дочка пойдет в неё. Только в неё!

Птица в зимнем небе

Памяти А. И.

1

У редакционного фотографа был день рождения. В разгар торжества мы отправились за очередной порцией вдвоём с именинником. Февраль выдался на редкость тёплым; закутались в шарфы, этого хватило.

Уже на обратном пути Володя мне сказал:

— Представь, ирония судьбы. Позавчера, когда горело УВД, я был в машине с Тимофеевым из «Вечёрки». Он меня приглашал к себе, я отказался. Говорю, жена, мол, дочь, то, сё. Отмазался, одним словом. Выбросил он меня у моего дома. А через пятнадцать минут ему в машину позвонили и сказали: пожар, — прижимая две бутылки водки к груди — нежно и бережно, он остановился. Именинник смотрел на меня многозначительно, требуя понимания. — Представляешь?

Держа в руках свой груз, я кивнул. Мы двинулись дальше, глядя под ноги, боясь поскользнуться.

— Теперь у него три кассеты нащёлкано, — продолжал Володя, — как люди из окон прыгали — с четвёртого этажа, разбивались об лёд. Огонь. Всё есть. А у меня ничего. Он ведь теперь за границу сможет свои фотографии продать — в любой журнал. Такое раз в жизни бывает. Прославится. А я — ни хрена... Ирония судьбы.

Это уже было повторено у дверей редакции.

— Заходи, — сказал я, — всё-таки не лето.

Домой я вернулся только к полудню следующего дня. Принял душ, завалился спать. Проснулся вечером, настроение было ни к чёрту. Позвонил матери, сказал: сегодня не приеду. Она ответила: хорошо. Голос её выдал. Что случилось? Панихида — трансляция из Дворца спорта. Город прощается с погибшими во время пожара. Как такое могло случиться?.. «Чего не хочу сейчас смотреть, так это панихиду», — подумал я. Пожелал маме и бабушке здоровья.

Взял из холодильника пиво, включил телевизор. Сериалы. И всё-таки не стерпел, стал переключать программы... Да, всё так: шла пани-

хида — уже в записи. Огромный зал Дворца спорта на сутки превратился в мавзолей. Гробы по периметру. Тысячи людей прощаются с погибшими... Когда два дня назад я смотрел на горящее здание из окна маминого дома, разве я мог подумать, что всё обернётся вот так? Что пожар сможет захлестнуть людей, погубить их — столько? Да какое там, тогда я не знал даже, что горит.

Всё вернулось ко мне одним мгновением — ярким и затяжным, как вспыхнувшая в ночном небе гроздь фейерверка...

...Я видел пламя. Его было много. Так много, что оно, казалось, закрывало собой ночь. И ночь боялась этого пламени. Стена огня росла, двигалась краями, верхушкой. Но основание её было прочно. Незыблемо. И стена эта была всего в квартале от нашего дома. Тогда мне показалось, что она — зловещая, гигантская — наступает на нас...

Тот день был для меня самым заурадным днём. Ничем не лучше и не хуже остальных. А главное — он ничего не предвещал. Даже выплат долгов по зарплате. Впрочем к этому я давно привык.

С работы я приехал к своим. Вместе поужинали. Чай пил уже в комнате. Тогда я и подошёл к окну... В первое мгновение увиденное показалось нелепицей. Показалось тем, чего быть не должно. Через квартал полыхало многоэтажное здание. И как полыхало! В три окна по горизонтали пламя уже завладело им — от первого этажа и до последнего. Жилой дом? Неожиданно огненный столб точно разорвался от внутреннего давления — он стал шире, ярче, страшнее. Пламя стремительно разрослось и теперь занимало по горизонтали уже пять окон. Меня поразил зеленоватый свет лампы в одной из комнат четвёртого этажа. Как пить дать — кабинет. Наверное, предупредительно брошенный, оставленный своим хозяином. Мерный зелёный свет, уютный, полный одиночества, замкнутости в себе, отчего помещение походило на аквариум. Странное было зрелище: точно кабинет с приглушённым светом и чудовищное, разраставшееся пламя, бушевавшее совсем рядом, уже за стеной, не имели ничего общего друг с другом; существовали в разных мирах, измерениях; точно им никогда не соприкоснуться. Ещё один внутренний толчок — вширь, и колонна огня стала мощнее, лютее. Кабинета с аквариумным зелёным светом больше не существовало. Наверное, он просто мне пригрезился.

Минут через пять всё здание было охвачено пламенем.

Огненная стена выросла в самом центре старого города, всё плотнее укрывая кварталы шапкой чёрного дыма... Допивая уже остывший чай, я зачарованно смотрел в окно.

Усидеть на месте было невозможно. «Я поеду домой, — сказал я маме, — а заодно посмотрю на пожар. Когда ещё такое увидишь». — «Только близко не подходи», — предостерегла она меня. Когда я уже оделся, мать схватилась за своё пальто: «Пойду с тобой».

На улице Фрунзе народу было как во времена демонстраций. Река течёт в одну сторону, ей противоборствуют утекающие в другую ручейки. Уже насмотрелись.

Прошли полквартала: стоп, оцепление. Пионерская перекрыта. Дальше хода нет. «Что горит?» — пробиваясь через толпу, спросил я у одного из милиционеров. «Не знаю», — резко ответил он и больше не замечал меня. Сзади я услышал: «УВД». Обернулся: мне ответил один из двух молодых парней, таких же, как и я, ротозеев. УВД? Присмотрелся... Мог бы и не спрашивать. И всё-таки, неужто такое бывает? Не склад же это наконец. «Разойдитесь! — крикнул другой милиционер, — здесь место для машин!» Но никаких машин не было. Из-за пламени нельзя было разглядеть самого здания. Зато несколько кварталов вокруг светились. Над старым городом летали горящие искры. Гарь яростно поднималась над зимним вечером, окутавшим дома, вверх, дым зло заворачивался в узлы, уходил в ночное небо, высоко. Неожиданно в зоне пожара один за другим разорвали тяжёлый гул огня выстрелы, неровный огненный ком стремительно вылетел вверх, оставляя за собой чёрный хвост, и стал падать на соседний квартал. «Боеприпасы взрываются, — со знанием дела выпалил кто-то рядом. — Ого!» — «Все назад! — почти одновременно с ним истошно закричал один из милиционеров. — Я сказал: назад!» Толпа колыхнулась, неровно поползла к середине дороги. Я прихватил мать за руку и потащил её в сторону. На пожарище уже грохотали взрывы — целая канонада.

Мы перешли улицу, вместе с другими тупо постояли ещё минут десять, глядя на огонь. «Надеюсь, никто не пострадал, — пробормотал я. — Невероятно...» — «Нужно купить молока для бабушки, — вздохнув, сказала мать. — Она просила». Я поплёлся за ней в магазин — тут же, на углу.

В магазине огромный милиционер, старший сержант, налёгший на прилавок, кричал в трубку: «Коля, сбегай к моим, скажи, что со мной всё в порядке! Я же сегодня в охране должен быть! Не откладывай, сбегай. Там уже киношники понаехали, сейчас весь город переполошат! Алло?!» Рядом с ним толпилось с десятков мальчишек, глядя на него восхищённо, азартно. «А ну, брысь отсюда! — шикнула на них продавщица. — Не до вас!» Милиционер что-то ещё прокричал в трубку и быстро направился к выходу.

Мы купили молоко, вышли на улицу. Стена огня выростала в квартале от нас. Живая, изменяющаяся, она не отпускала, притягивала так, как может притягивать только огонь. Много огня.

«Всё, поехал домой, — сказал я. — До завтра». — «До завтра, — откликнулась мать. — Будем ждать тебя».

Мать потерялась на улице среди людей. Трамваи не ходили. Уже сделав несколько шагов в противоположную сторону, я обернулся. Нет, я не спал. Всё было на самом деле так: переполошенный город, огонь...

Через час, сидя перед ящиком, я жадно глотал информацию, идущую наперегонки по двум самарским каналам телевидения, и бормотал: «Быть такого не может». Фрагмент Апокалипсиса, пусть крошечный, но камера телеоператора поймала его в объектив. А ещё на экране — на фоне горящего здания — то и дело появлялась женщина с иконкой в руках, крестившаяся, бормотавшая что-то. Эти кадры уже вряд ли кто-нибудь сможет забыть.

Получасом позже о трагедии в Самаре должны будут заговорить все центральные телеканалы...

...И вот теперь я досматривал панихиду. Битком набитый Дворец спорта, рыдающие люди у гробов с останками близких. Далее — пауза. Тёмный экран. Музыка. И вслед за этим — портреты погибших: имена, даты рождения. Женщины и мужчины. Подполковники и майоры, капитаны и лейтенанты. Сержанты, секретарши. Пожилые, молодые. Жутко было смотреть на эти лица, но переключить программу у меня не получалось. Они погибали, пока я, глядя на огонь, пил чай. Даже не верится... Слава Богу, думал я, сидя в кресле, закутавшись в халат, что никого из этих людей я не знаю. Никого...

А портреты, подолгу оставаясь на экране, всё шли: чёрное поле, фотография, скупой текст...

2

Ты помнишь, как мы познакомились? Это было лет десять назад, в июле, на турбазе, принадлежавшей УВД, куда приехала моя компания в полном составе. Жена Алексея Галина, работница отдела кадров этого славного управления, очень деловая молодая женщина, встретившая своего суженого вблизи этих же мест, доставала путёвки для всех мужниных друзей. Очередной выезд обещал многое. Как-никак, полная сумка водки и три гигантских канистры пива. Для всех, кроме меня: на эту же турбазу, достав путёвку через своих знакомых, отправлялась со своей приятельницей моя мать.

Заезд, как всегда, к вечеру в пятницу. Час от города до прекрасных мест, сплошь занятых турбазами, на многих из которых приходилось отдыхать и не раз. В округе леса и озёра. Рядом Волга, обрыв, пляж. Напротив — Жигулёвские горы. Выдолбленная в одном из каменных исполинов, покрытых сосновыми лесами, надпись на полмира: «Слава партии, слава народу». Золотые косы посередине реки. Зелёные островки.

Мы взяли ключи от пары двухэтажных домиков, повалялись на матрацах, посидели на веранде, раздавили бутылочку перед ужином. Закусили символически.

...Я хорошо знал тропинку, выложенную каменными плитами, ведущую к стеклянным дверям турбазной столовой. С какой стороны

ни подбираешься к зданию, всё равно выпадает идти по этой дорожке. Справа кусты и беседка. Я отстал от своих, задержался у старого многоячеечного умывальника. Шёл последним. В беседке — два белых платья. Потом я вынырнул из-за кустов, за столиком сидели две девушки. Одна загорелая, темноволосая, с короткой стрижкой. Вторая — белокожая, с длинными, до самой талии, белыми волосами. Это была ты. Вместо того, чтобы встать и зайти в столовую, девушки лениво играли в карты. Я догадался сразу: у них вторая смена.

Через полчаса, когда мы уже заканчивали свой ужин, я не мог оторвать взгляда от вашей парочки, только что взявшейся за вилки. А вы, мило стиво приглашённые в столовую, заметно повеселели, смеялись. Время от времени поглядывали в нашу сторону.

— Смотри-ка, девчонки есть, — сказал Геннадий, допивая компот.

— Это ж не мужской монастырь, — со знанием дела ответил Жека. — Турбаза культуры и отдыха. Пусть даже ментовская.

Сергей, наш гитарист, уже закончивший свой ужин, наконец выдохнул:

— У кого ключ?

Я, запиравший дверь последним, отдал ему ключ. Торопиться мне не хотелось... Одна бретелька уже в который раз сползла с круглого плеча светловолосой девушки. С твоего плеча. И в который раз ты поправила её. Кажется, я пил уже третий стакан классического компота из сухофруктов. Жека смотрел в ту же сторону. Геннадий забыл очки в домике и теперь мучился. Но мне до их переживаний не было никакого дела.

Итак, белые волосы, бретелька, подвижные лопатки... Сейчас ты оглянешься. Ты увидишь меня и... совсем другого человека. Прости, прошло много лет. Более старшего, рассудительного. Тогда я не мог нырнуть в ещё не пришедшие часы, месяцы, годы. Проплыть во времени и вынырнуть там, где бы мне этого захотелось. А теперь могу. Потому что все эти часы, месяцы и годы — со мной. И я хозяин над ними. Полновластный хозяин. Поэтому я рискну: хотя бы на самую малость приоткрою дверь. Выдам несколько тайн. Может, это коварство, но я не могу удержаться. Надеюсь, простишь...

Для воров-карманников ты была находкой. Спорить — дело пустое. Болтая с подружкой или глядя в окно автобуса, ты могла запросто проворонить свой кошелек. На тебя, открытую и весёлую, валились все шишки. А от яркой и романтической внешности ты терпела одни неприятности. Запросто могла оказаться в компании, из которой потом приходилось уносить ноги, рискуя едва ли не жизнью. Просто тебе все казались хорошими и добрыми. В твоём восприятии мира, по-детски непосредственном, и была вся твоя несуразность. Что не столько умиляло, сколько раздражало меня. Хотя, может быть, это я был слишком циничен? И всё же нельзя было родиться такой незащищённой, просто слабой. Ты не умела отказывать, быть жёсткой, а надо было учиться.

Тебе казалось это неприличным? Ещё ты записывала истории из своей жизни. Впрочем стать королевой эпистолярного жанра тебе не грозило. Кстати, ты любила петь — громко, разудало, не имея ни слуха, ни голоса. Слушать тебя представлялось настоящей пыткой. Но чего не простишь привлекательной женщине! У тебя было много фотографий, и везде ты походила на драматическую актрису, уже сделавшую первые и очень удачные шаги на подмостках. Ты смело раздавала их знакомым. «Запомните меня такой, — говорила ты, — а не то состарюсь и не буду больше красивой». Помню, женившись, я спрятал твой портрет подальше, а когда развёлся, опять вернул его в альбом. (Увидев этот портрет, жена обязательно стала бы ревновать. Или, по крайней мере, допытывать расспросами). И время от времени, доставая альбом с полки, я натывался на эту фотографию... Большие серые глаза, непонятно, весёлые или грустные: случается такое у людей одухотворённых, с внутренним светом; улыбка то ли задумчивая, то ли рассеянная, ямочки на щеках. Ты никогда не меняла причёску и правильно делала. Белые волосы, забранные назад, открывали твой лоб, удивительно чистый, и перетекали густой волной через одно плечо.

Итак, ты оглянулась...

Что и говорить, увидев тебя однажды, забыть было уже трудно. Да что там трудно — просто невозможно.

Мы выпили наш компот и отчалили к домикам. С веранды наших соседей хорошо были видны двери столовой. Вот вы у её входа, два белых платья затрепетали в кустах, укрывавших беседку. Потом появились на дорожке. Отхлебнув пива, я сказал Геннадии: «Иду на охоту», — и быстро сбежал по ступеням.

Я был у вас на хвосте, этак посвистывая, делая вид, что меня если что и занимает, так это медленно темнеющее небо и крадущиеся к турбазному благоденствию сумерки. Я же не мог знать, что времени терять нельзя и вы резко свернёте с дорожки — к первому домику слева, одна из вас откроет дверь и вы скроетесь!

Тем не менее так и случилось.

Часом позже я спустился по ступеням своей веранды, дабы отлучиться по делу крайне необходимому, и на дорожке, в темноте, столкнулся с вами носом к носу. Когда-то я был очень самоуверенным молодым человеком. Я взял вас под руки и сказал:

— Привет.

Поглядел налево, посмотрел направо. Направо — была ты.

— Я же тебе говорила, — уверенным тоном произнесла твоя коротко стриженная подружка, — он за нами следит.

Ты прыснула и, наверное, покраснела: я-то знаю, как обильно и по всякому пустяку краска заливала твоё лицо! Ты выглядела очень довольной.

— Слежу? — почти возмущился я.

— Да. Я сказала, что после ужина вы к нам обязательно пристанете. Правда, мы думали, часом раньше.

— Вот как... — озадаченный собственной нерасторопностью, почти растерялся я. — В смысле, по пути к вашему домику?

— Да, когда вы нас преследовали, — добавила коротко стриженная. — Или этого не было? И ещё я сказала, что будет очень хорошо, если вы всё-таки решитесь на этот смелый шаг.

Замечание прозвучало ободряюще. Открытый и вызывающий взгляд стриженной подтверждал это. И, конечно, твои опущенные глаза.

— И куда же вы сейчас держите путь? — спросил я.

— Осматриваем окрестности, — разговорчивая спутница казалась очень самоуверенной. — Я здесь — в первый раз.

Мы уже свернули с дорожки, огибали кусты и тёмные домики с ярко горевшими окнами. У одного из них с высокой верандой мы остановились. Точнее, притормозил я. И отрекомендовался:

— Дмитрий.

— Антонина, — представилась твоя подруга.

— Ира, — сказала ты.

— Зря мы так далеко ушли, — становясь вальяжным, выговорил я. — Приглашаю вас — к нам. Пиво, водка, закуска на любой вкус.

— А у нас есть домашние пирожки, — поторопилась ты поддержать меня.

Я облегчённо вздохнул, шумно хлопнул ладонью по крашеным доскам чужой веранды.

— Пирожки — это здорово!

И тут же, повинуясь таинственному импульсу, поднял голову. С высоты веранды на меня смотрела моя мать. Это был её домик. По выражению материнского лица всё понял сразу: видимо, я открылся для неё с новой стороны. Этакий Казанова, распушенный тип.

— Привет, мамуля, — тихо сказал я.

Девушки тоже подняли головы и присмирели. Кажется, моя компания маме не очень понравилась. Вот так, запросто, взять и дать себя окрутить незнакомому молодому мужчине? Да ещё в потёмках? Весьма сомнительное поведение...

Как странно складываются человеческие взаимоотношения... На нашей первой вечернике ты досталась не мне. Точнее, вообще никому не досталась. И я сам был тому виной. Антонина оказалась языкастой и остроумной девицей, училась в педагогическом институте. Она читала многие из тех книг, которые читал я. Мне это пришлось по душе. Она умела вести интеллектуальную беседу. Это тоже импонировало. Ты же работала в милиции, сидела на телефоне «02» и принимала вызовы. Возможно, это было даже романтично... Ты мило улыбалась, иногда

шутила — невпопад. И сидела рядом с Геннадием. Да, тогда он ещё интересовался девушками больше, чем водкой.

Всё вышло само собой. Я пошёл провожать Антонину, Геннадий — тебя. Сергей, заправский гитарист, и Жека оказались в пролёте. Первый потому, что всё время музицировал, развлекал компанию, второй потому, что много выпил. Когда мы выходили вчетвером из домика, наш менестрель, кажется, готов был кусать локти от своей оплошности.

Парочками мы целовались где-то совсем недалеко друг от друга.

Вернулись мы с Геннадием почти одновременно. Я не знал, завидовать ему или нет. Мысли мои путались.

И вот наступило утро. Завтрак окончен, мы идём на пляж. Как всегда, я и Геннадий собираемся дольше всех. Вы уже сидите в лёгких цветных платящих у нас на веранде. Сергей и Жека завидуют нам. Надевая плавки, я слышу голос подходящего к нашему домику Алексея:

— Где эти оболтусы?

Мы покидаем турбазу, выходим через ворота, переходим дугообразный мостик, покрашенный синей краской. Тропинка ведёт вокруг двух небольших озёр. Впереди уже виден широкий обрыв. За ним — голубая дымка. Там Волга, огромная, непостижимая, близкая, дальним краем омывает подножие гор. У обрыва — несколько машин, по их числу — палатки. Дикари. Мы их не любим. Кто отдыхает на окрестных турбазах, по неписаному законоположению считает этот обрыв и огромный широкий пляж своим. Мы спускаемся по песчаной тропинке вниз, помогая девушкам преодолеть скромный перевал. Твоя рука оказывается в моей. Ты опять краснеешь, опускаешь глаза...

Мы расстилаем покрывала, раздеваемся.

Ты раздеваешься...

Вам обоим по девятнадцать лет. Вы прекрасны. Какая лучше? Вот так, запросто, и не ответишь. Антонина была сбитой, загорелой, но в то же время от неё веяло холодком. Здесь правил рассудок. Какой была ты? Я-то помню — какой... Лёгкое платье, тоже с бретельками, оказывается на покрывале. Ты — белокожая, может быть, это не совсем модно, но цвет твоей кожи — признак высокого благородства и утончённости. А с белыми, как лён, волосами сочетание просто фантастическое! Твой купальник ярко-красный. Под цвет губ и ногтей. Лента материала, взятая в сборку и наложенная на лиф, прикрывает его, оттого кажется, что на груди ничего, кроме ленты, и в помине нету. Есть в этом что-то островитянское. Сексуальное. Твои глаза светятся. Ты улыбаешься, зовёшь кого-нибудь искупаться. Сразу. Это обращение в первую очередь ко мне и Геннадию. Я соглашаюсь первым.

Мы идём к воде. Утреннее солнце над Волгой — особенное чудо. Под ногами уже холодок от мокрого песка. Вода ещё не взбаламучена, дно янтарно, ребристо. Совсем рядом испуганно рассыпается и, вновь

собираясь в стаю, бесследно исчезает косяк ярких мальков... Потом обжигает вода, но очень скоро оказывается едва прохладной; хочется плыть — к буям, дрыгать где-то там, в бездне, ногами, отплёвываться, радоваться жизни. Плыть на спине и слепнуть от солнца. Вот уже Геннадий разгребает руками воду, ему бы спортсменом быть. Ещё не поздно. Антонина — в солнцезащитных очках, плывёт по-собачьи, улыбается. Ты же барахтаешься на спине, смеёшься. Вся эта катавасия в воде увлекает тебя, в этот момент, кажется, ты не помнишь ни о ком из нас.

Даже обо мне... Да и с какой стати?

Уже на песке, застеленном покрывалами, мы едим яблоки и конфеты. Ты лежишь на животе. Мокрые волосы хлётко прилипли к твоему лицу, к плечам. На твоей белой коже крупные капли воды.

— Ира, ты не боишься обгореть? — заботливо интересуется Жека, разглядывая твою спину.

— К полудню оденусь, — отвечаешь ты. — А вообще я плохо загораю. Меня касается бедро Антонины. Прохладное и волнующее.

После обеда, по пути к деревенскому магазину, мы забрались на исполинскую песчаную гору. Обойти это чудо природы было просто невозможно. Песок предназначался для расширения здешних пляжей. Нас отпустили вчетвером — две пары. За «Жигулёвским» и водкой. Мы лежали на этой горе, кто где, и смотрели на небо. Рядом — Волга, синяя, широченная. Лазоревое небо над головой. Облака...

— Кто бы хотел сейчас очутиться во-он на том облаке? — громко спрашиваешь ты, вытягивая руку, указывая пальцем вверх.

— На каком? — пытаюсь уточнить я.

— На том, которое похоже на слона.

— Серьёзное облако, — отыскав его взглядом, говорю я.

— Антонина? — спрашиваешь ты подружку.

— Не хотела бы, — без желанья вступая в игру, отвечает моя избранница. — Падать высоко.

— А ты, Гена?

Геннадий не знает, что ему ответить. Но все ждут. Он становится очень серьёзным.

— Лучше дойти до магазина, — решается ответить он. — Чего тянуть? Реплика вызывает улыбки. В первую очередь — искренностью тона.

— А Дмитрий не ответил, — не унимаешься ты.

Отвечаю легко:

— Можно, если в компании.

— А вот я хотела бы — даже одна.

— И что бы ты там делала? — снисходительно спрашивает Антонина. — На облаке-то?

— Смотрела бы на вас. И на весь мир. А когда бы надоело, мне бы подарили крылья и я тихонечко опустилась вниз.

— Кто бы подарил? — спрашиваю я.

Кажется, мой вопрос заинтересовал Антонину.

— Ангелы, — отвечаешь ты и загадочно улыбаешься.

Геннадий нетерпеливо садится:

— Пора идти в магазин.

Мы покидаем горячую зыбкую гору. Искупаться можно и на обратном пути. Вода слаще покажется.

Потом ещё один вечер, ещё одна ночь. Поцелуи в потёмках. Далеко идущие объятия. (Экий оборотец, почти каламбур!) Антонина сказала мне, что хочет со мной встречаться, когда мы вернёмся в город. Сказала, что всё это время искала именно меня. Я даже ей поверил.

Что было потом? Выходные — рай сроком в двое суток — закончились, и мы должны были вернуться в город. Так всё и случилось. В воскресенье после обеда сели на турбазный автобус и были таковы. Первым вышел Жека: его дом в Приволжском микрорайоне был последним в городе домом. Вы с Антониной выбрались чуть позже и долго махали нам. Ты обернулась, когда наш автобус тронулся. Я приложил ладонь к горячему, пыльному снаружи стеклу.

Дальнейшая неделя показала, что мы вчетвером — я, Геннадий, ты и Антонина — ошиблись. С последней мы оказались совершенно чужими друг другу людьми. Двум индивидуалистам, заикленным на собственной независимости, рядом делать нечего. Тем более обладающим язвительным умом. Мы даже не попытались развить наши отношения. Всё поняли сразу. Геннадий однажды приехал к тебе с бутылкой водки, выпил всю её сам и, на том попрощавшись, отбыл. В нём уже тогда трепетно пробивался на свет Божий алкоголик.

Мне хотелось позвонить тебе, набрать это грозное «02», но я не позвонил. Если бы не Антонина, то, возможно, всё вышло бы по-другому...

3

В начале осени я пришёл на работу в новую газету. Она именовалась «Молодёжной волной». Потом началась зима, наступил Новый год. Я вспоминал о тебе всё реже. И наверное, готов был однажды представить тебя всего-навсего лишь светлым видением, но ты мне этого не позволила.

За что я тебе до сих пор благодарен.

Как-то под вечер я печатал в редакции свой материал. Звонок. Поднял трубку: «Алло, редакция «Молодёжной волны». — «Какой у вас голос важный, Дмитрий Валентинович...» (У моей абонентки голос был, напротив — весьма приветливый. И очень знакомый...) «Кто это?» — «Угадай». — «Девушка, не дурите мне голову. Признавайтесь

немедленно, кто вы». — «Ира, непонятливый ты какой». — «Ира... Артемьева?» — «Ну да, конечно». — «Привет...» — «Привет, — молчание и тщательно скрываемый смех. — Как твои дела?» — «Да ничего себе дела...» — «А мы твои статьи читаем». («Мы»!) «И как, нравятся?» — «Очень». (Нет, ты была не одна. Мог дать на отсечение руку). «Антонина с тобой, конечно?» — «Со мной... Дать трубочку?» — «Давай». (А зачем — подумал? Болван). «Привет, репортёр». (Голос доброжелательный и в то же время такой, точно сегодня она со мной говорит уже раз этак в десятый. Причём инициатором всех звонков являюсь, конечно, я). «Читаешь все мои статьи?» — спрашиваю беззлобно, но не скрывая сарказма. «Через одну». — «Хочется верить, что тебе попадают лучшие образцы моего творчества». — «Мне тоже хочется».

Ещё несколько дежурных слов и наконец выясняется, что у вас ко мне важное дело. «На сто рублей». Эта простецкая фраза принадлежит тебе. Договариваемся встретиться завтра же. Я приглашаю своих старых приятельниц на работу. Наверное, для пушей важности. Дело так дело.

На следующий день двери редакции распахнулись, и в них вошли две красавицы. Антонина в рыжей шубке, ты — в белой. Шубки, правда, искусственные, но вы в них — принцессы. Зав. отделом информации, кажется, завидовал мне чёрной завистью.

— Дмитрий, — говоришь ты, — я записываю самые прикольные звонки по нашему телефону, по «02», хочешь почитать?

— Это и есть «важное дело»?

— Ага, — отвечаешь ты и смеёшься.

Антонина снисходительно смотрит на нас обоих.

— Давай, почитаю.

Ты достаёшь ученическую тетрадку. Там каллиграфическим почерком написана всяческая ахиня. Впрочем весьма милая. Даже кое-что попадает забавное.

— Это можно опубликовать у вас? — спрашиваешь ты.

— Разве что для рубрики «Городской сумасшедший»... Подпись твою поставим?

— А вы в соавторстве, — предлагает Антонина.

— Стоит подумать.

— Не хочешь, как хочешь, — говоришь ты и тут же словно бы спохватываешься. — У нас тут идея возникла...

Я, кажется, хмурюсь:

— И какая же?

— Давайте поедem вместе на турбазу.

— Летом?

— Да нет же, на эти выходные.

— И куда?

— Турбаза завода «Прогресс», — прохладно поясняет Антонина. — «Горки» называется. Я могу через маму достать путёвки, — я вспомнил: её мама была секретарём у крупного заводского начальника. — Она сама мне предложила. Там сосновый бор.

— А что, это мысль, — говорю я и тут же не на шутку загораюсь. — Отличная мысль! Стыдно признаться, но я ни разу не был на зимней турбазе...

— Ни разу? — спрашиваете вы почти в один голос.

(Стыдно признаться, но я действительно ни разу не был на зимней турбазе).

— Увы, — и следом решительно киваю. — Хочу в сосновый бор.

— Тогда едем, — говорит Антонина. — Только деньги завтра же. С тебя и... Сергея.

— А почему именно Сергея?

— Мы так решили. Он... не занят?

Смотрю на Антонину. Её тон и взгляд меня озадачивают. Единственное, чего я не хочу, начинать всё сызнова. Поедем просто друзьями.

4

Сергей — мой друг детства и сосед по подъезду. Я жил на первом, он на втором этаже. Собирая дома сумку, пока я бренчал на его гитаре, он спросил: «Как у вас с Антониной?» — «Никак, — ответил я. — Не хочу делиться по парам. Как случится, так и случится».

Он, соглашаясь, кивнул.

И вот электричка несла нас через заснеженный пригород. Было три часа дня. Мы с Антониной сидели у окна, друг напротив друга, ты на одной скамейке с подружкой — напротив Сергея. Рядом лежали наши сумки и гитара в утеплённом чехле. Гитара — Сергея, чехол — мой. Мы играли в дурака. Я играл в паре с тобой. Ты была прекрасной партнёршей, и не потому, что могла просчитывать ходы, запоминать, какие карты вышли, что и кому дать, а потому, что тебе фатально везло. Всё время ты отбивалась не так как нужно, всю дорогу хлопала ушами, невинно подстраивала мне — нам — фантастические козни. И в конечном счёте мы же оказывались в выигрыше. Тебя это страшно веселило. Меня, надо сказать, озадачивало. Ты смеялась, прикрыв рот рукой и запрокидывая голову, когда Сергей, хмурясь, бормоча: «Да, ребята», — в очередной раз тянулся за картами, собирая их в колоду. Антонина сдавать наотрез отказалась. А потом, насмеявшись, ты, разругавшись, встречалась со мной взглядом. Твои глаза блестели. Сергей с непроницаемым видом раздавал карты.

Два часа езды, впереди — четверть часа ходьбы до места. Мы в компании ещё десятка трёх отдыхающих шли по просёлочной дороге. Да, это были настоящие леса! Чащоба. Две стены из корабельных сосен

подходили к самой дороге. Шаг влево, шаг вправо — канешь безвозвратно.

Турбаза «Горки» встретила нас тишиной. Это был целый городок. Четырёхэтажные дома с номерами для отдыхающих; гигантское здание в середине: на первом этаже столовая, на втором — концертный зал. Ели, заснеженные клумбы, ледяные горки, а также — деревянные, жестяные. Все, как одна, обледенелые. Садись на санки и катись без оглядки.

Отдавая нам два ключа от номера, сестра-хозяйка сказала: «В этой части корпуса вы одни, — и встретив именно твой взгляд, добавила: — Ведите себя хорошо».

Номер наш был четырёхместный, две койки вдоль одной стены, две вдоль другой. Тумбочки. Стол у окна. Едва я вошёл, разглядел интерьер, как сразу загрустил. Бывает такое: что-то вдруг накатит, обнимет, сожмёт этак сильно, переполнив печалью. Сразу вспомнил провинциальные гостиницы, в которых мне приходилось останавливаться, работая репортёром в газетах. Ещё вспомнил палату госпиталя, куда попал на втором году службы с травмой ноги. Точно почувствовав что-то, ты ущипнула меня за локоть, улыбнулась. А я, дурак, обернулся на Антонину, стало отчего-то неловко.

Когда мы выбрались из номера, было уже темно. Народу прибывало. Что и говорить, завод большой, у каждого инженера и рабочего — семья. Да и знакомых немало. Например, вот таких, как мы.

Потом был ужин. Мы едва не проворонили нашу смену. Не помню, четвёртую или пятую. Я сразу отказался следить за многомудрым расписанием, взвалив обузу на Сергея и Антонину. Ум у них был прагматичным, им и карты в руки.

После ужина мы потаскались по турбазе, помыкались по углам гигантской территории и, трезво решив отложить осмотр окрестностей до завтра, вернулись в номер. «Зря мы что ли водку и закуску привозили?» — была моя, убеждающая безоговорочно, реплика. Тем более в девять часов нас ожидала дискотека и кино. Вы с Антониной принялись накрывать на стол. Пирожки, жареные цыплята, разопревшие в бумаге и целлофане, колбаса, опять пирожки, варёная картошка, яйца, консервы. Лимонад, минералка. «Столичная». Набор для отдыхающих, кто относится к себе серьёзно и с уважением.

Сергей был непьющим и некурящим. Вот такая для меня трагедия. Антонина могла «выпить водочки», правда, по-другому это и не назовёшь. Иное дело ты. Компанейская девчонка! Не то чтобы мы решили оторваться, но разойтись — точно. Единственное, чего я боялся, так это того момента, когда Сергей достанет гитару и ты запоешь. А запеть ты должна была громко, с огоньком. И не попасть ни в одну ноту. Но Сергей, старый хитрец, обманул всех, даже меня. Даже Антонину! Когда ты потребовала музыки, он стал исполнять песни, в которых ты не зна-

ла ни одного слова. А когда ты вежливо настояла на «чём-нибудь, что знают все», пора было отправляться в народ.

На дискотеке от басов содрогались пол и стены. От мелькающих цветных огней темнело в глазах. Глядя на каменное лицо ведущего дискотеки, я понял, что он давно оглох, и музыка, пытавшаяся раздавить всех в лепешку, как давление на дне океана, едва доносится до его слуха. Выдержать такое можно было минут пять, не более.

Когда мы оказались на улице, случилось то, чего я никак не мог ожидать. А может быть, наоборот — ждал и не верил, что случится.

Взяв Сергея под руку, Антонина сказала:

— Что вы теперь собираетесь делать? — «вы» — это мы с тобой. — Мы, например, пойдём в кино.

Она сделала нам ручкой и потащила Сергея, ничуть, впрочем, не сопротивлявшегося, за собой. Я понял, эта выдумка если и принадлежала Антонине, то лишь наполовину. Стоило только заглянуть в твои глаза.

Пряча нос в воротнике шубы, ты смотрела на меня. Потом спросила:

— А что будем делать мы?

— Гулять, например.

Ты пожала плечами:

— Давай.

Мы шли молча. Я, конечно, мог быть и понапористее, но как-то не получалось. Почему — неизвестно.

— И как это вы решили нам позвонить? — спросил я.

— Мы давно решили, — ответила ты. — Жалко, что только сейчас получилось... Скажи мне, только честно: мы с Антониной всё правильно сделали? — ты запнулась. — Если нет...

Я сжал твою руку.

— Всё правильно.

Даже при неярком свете фонарей я заметил, как вспыхнуло твоё лицо. Довольная, ты спросила:

— Ты вспоминал всё это время о нас?

— Да, конечно.

— А обо мне?

— Вспоминал.

Теперь ты смотрела себе под ноги.

— И что ты вспоминал?

— Всё.

— Что всё?

— Что ты замечательная, красивая, добрая, весёлая...

Подняв голову, ты опять улыбнулась, открыто:

— Мог бы и сам мне сказать, чтобы я из тебя не вытягивала...

Мы шли мимо рядка голубых елей-подростков. Справа был виден чёрный, до неба, лес. Впереди горели огни очередного корпуса.

— Расскажи мне о себе, — попросила ты.

Рассказать о себе? Сколько угодно. Родился, учился, как и положено, в школе. С математическим уклоном. Это была пытка. Потом служил в армии — ещё одно истязание; вернувшись, поступил в университет на филфак. Тут, наконец, и вздохнул свободно. Решил стать журналистом. Наверное, призвание... Ты рассказала, как в детстве упала с яблони и вывихнула руку. Но думала, что обязательно умрёшь. До самой выписки из больницы. Ещё — как оказалась в милиции, на телефоне «02». После техникума связи взяли и решили пойти на пару с подружкой. Подружка не задержалась, ушла через неделю, а ты осталась. И работаешь вот уже полгода. Сказала, что отец твой болеет. Что у вас есть машина, и мать уговаривает отца продать её, а тот хочет, чтобы дочь научилась водить. А вообще ты мечтаешь стать фотомodelью. Девятнадцать лет, ведь пока ещё не поздно, правда? А у тебя бы обязательно получилось. Однажды на последнем курсе техникума ты познакомилась с матёрым фотографом, уже почти стариком, и он предсказал тебе блестящее будущее. И ещё сказал, чтобы ты никогда не подстригала волосы, потому что они чудесные — твоё богатство, чтобы ты всегда носила их вот так, естественно, зачёсанными ото лба и переброшенными через одно плечо. Что лучше этого и не придумаешь.

Кажется, разговаривая, смеясь, выдерживая волнующие паузы, ты сама выбирала дорогу. Иногда брала меня под руку, тянула за рукав. И я сам не заметил, как мы оказались у нашего корпуса. Света в этой половине не было.

— Пошли к нам? — улыбнулась ты.

— Хорошая мысль.

Десять шагов из холла — в тёмный коридор. Вот и наша дверь. Ключ отказывается проворачиваться в замке. Дверь заперта изнутри.

— Эй, открывайте! — говорю я громким голосом.

— Поди вон, — откликается приглушённый голос Антонины.

(Перед тобой — ни единого слова извинений. Дело ясное — договор).

— Ну вот, мы опоздали, — со вздохом говоришь ты. — А всё из-за тебя. Погуляем, погуляем.

Ты смеёшься. Я улыбаюсь. А что мне остаётся ещё делать? Положение — глупее не придумаешь. В холле — кожаный диван, никем не занят. Мы садимся на него, устраиваемся поудобнее. Ты молчишь, я тоже молчу. Потом беру твою руку в свою. Рука твоя белая, с длинными пальцами, с алыми ноготками — в тон губной помаде. В холле пусто, тихо. Никого. Мы вчетвером — на весь этаж. Через пять минут, уже вытянувшись вдоль дивана, мы тонем друг в друге.

— Что, прямо здесь? — спрашиваешь ты.

— Да, — отвечаю я.

— Мы же обещали сестре-хозяйке вести себя хорошо...

— Ну мы же не собираемся поджечь весь корпус, правда?
— Правда...

— Ты меня любишь? — чуть позже, лукаво и в то же время доверительно глядя в мои глаза, спросила ты.

Мы лежали всё на том же кожаном диванчике, среди тишины. Я хотел сказать: «Наверное», — но в дверях нашей комнаты щёлкнул замок. В холл вышла Антонина, огляделась. Обернувшись назад, сказала:

— Опять гуляют.

Ты засмеялась, выдав нас.

Потом — ночь. Мы вчетвером лежим на своих кроватках — поскрипывающих, лежим невинно, как дети. Только поменявшись местами. Мы у одной стены, Сергей и Антонина — у другой. Никакую другую комбинацию из-за тесноты придумать невозможно.

Твоя рука — ладонь, пальцы — кисть винограда. Мы лежим на постелях голова к голове. Ты просунула руку сквозь железную решётку кровати. И я изучаю губами твою ладонь — душистую тёплую гроздь. Я не пропускаю ничего. Ни одной ягоды. Играю с ней. И никак не могу ею насытиться...

5

Бывают места, делаешь шаг, оказываешься там и понимаешь: этого уже не забыть никогда. Останется с тобой. Многое отнимет у тебя время, унесёт навсегда, это — оставит. Потому что есть в таком месте что-то настоящее, главное — от земли и неба, поровну. Какой-то уголок, из которого ты вдруг, неожиданно для самого себя, сможешь увидеть мир вовсе не ничтожным, каким он представляется часто, а великим, прекрасным, каков есть на самом деле.

Вот так и мы, сделали шаг за ворота турбазы и оказались в сосновом лесу. Лес был бесконечен, мне так казалось. Стволы, рыжие колонны, чуть обесцвеченные зимой, держали на себе зелёный сумрачный свод. И он был высок, этот свод, очень высок. Он касался молочного зимнего неба, и часть его пиков точно уходила ещё выше. Может быть, где-то они касались солнца — холодного зимнего солнца. Очарованные, мы шли молча. Здесь не было утоптанной дороги — так, тропинка, занесённая снегом. Сугробы. Не дай Бог оступиться — провалишься.

Сергей и Антонина вышли вперёд. Мы с тобой отстали.

Какой это был день! Мороз — лёгкий, едва колкий, ни ветерка. И великолепная тишина. Благородная. Точно идущая с самых вершин неба. Хруст снега под ногами, вот тебе и все звуки. Даже наступать бо-язно. А говорить — так просто страшно. Точно это будет святотатство...

Я остановился, обводя взглядом зимний лес.

— Не жалеете, что приехали, Дмитрий Валентинович? — вполборота спросила Антонина. Я не ответил. Она хотела было остановиться, но Сергей, которому она преградила путь, мягко подтолкнул её, и поэтому новый вопрос, как и первый, был обращён скорее лесу. — Нет?

Бывают такие места, попав куда, снисходит на тебя озарение, может быть, благословение чьё-то. Где надышаться не можешь. Хочется убежать, спрятаться от величия и вместе с тем остаться — навсегда. Как в этом лесу. Среди его покоя, величественного, умиротворяющего, вселяющего в тебя силу, дающего крылья. Эти места чем-то схожи с церковью, не тронутой вековыми распрями, суетой, мирскими заботами. А в общем так оно и есть — церковь, храм. Только сотворённый не руками людскими — иной рукой и резцом, мастерству и гению которых никогда не устанешь удивляться. Это великое искусство всегда будет с тобой — от первого часа и до последнего. Только сумей распознать его и тогда будешь жив им. А если однажды ваши дыхания попадут в такт, будешь счастлив. И ни о чём никогда не пожалеешь.

— Здесь и умереть не жалко, — взяв меня за рукав пальто, сказала ты. — Правда?

— Точно, — тихо ответил я.

Стоя в этом лесу, я наверняка знал, что дышу вместе с ним. И ещё догадывался, что с тобой происходило то же самое. Ты взяла меня за руку, трогательно и естественно одновременно:

— Сейчас бы взять и полететь, не дожидаясь чего-то. Прямо в небо, к солнцу. Только оно, наверное, холодное-прехолодное...

— А по мне так лучше остаться. Здесь.

— Эй, мечтатели! — уже издаലെка окрикнула нас Антонина. — Пошли!

— Иди, мечтатель, — сказала ты, мягко ткнув меня в бок.

Мы несколько раз поворачивали, пока не вышли к железной дороге. Она шла по заснеженной насыпи. Сергей взобрался наверх, помог подняться Антонине. Я тем временем подталкивал тебя снизу.

В две стороны света уходили рельсы, превращаясь в стальные нити, исчезая, растворяясь в белом. Где начало этой дороги, где её конец? Кто откроет секрет? Тем более в России. Бесконечный лес, горизонт над путями с одной стороны, с другой хоть и поворот, а дойди до него, и тоже откроется горизонт. И так — горизонт за горизонтом. Шагай сколько влезет...

— Давайте остановим поезд, сядем на него и уедем куда-нибудь, — предложила ты всем.

— Куда? — спросила Антонина.

— Куда-нибудь... Ты хочешь?

(Это уже ко мне).

— Не знаю, — пробормотал я.

И впрямь, хочу ли я изменить свою жизнь? Нужно ли мне это? Или пусть всё идёт как идёт? Размеренно, более или менее разумно...

— Ну вот, я так и знала, — вздохнула ты. — А прыгнуть отсюда вниз слабо?

Она кивнула на спуск, противоположный тому, по которому мы взобрались на укрытую снегом насыпь. Там, с той стороны, у самого подножия насыпи, начинался лес. Если бы меня вот так, с задором, попросили спрыгнуть с моста, я бы отказался. Не дурак же я наконец. А что здесь — девственный снег толщиной этак метра в полтора — меховая перина.

С криком: «Эх!» — я повалился вниз, пытаюсь катиться, но быстро увяз... По пояс стоя в снегу, предложил последовать моему примеру остальным. Взять и совершить этакую глупость. Сергей и Антонина отказались. Ты решила было, аккуратно усевшись, съехать, но вместо того просто утонула в снегу, заливаясь от смеха.

Вот и все дурачества. В сапогах, рукавах и за шиворотом — лёд.

Мы уходили из леса. Нас ожидал турбазный обед. Ещё один счастливый вечер. Впереди уже виднелись ворота турбазы. А я всё замедлял шаг, мне хотелось повернуться, идти назад. И если бы ты не согласилась пойти со мной — идти назад одному. Лучше бы это было, хуже — не знаю. Может быть, тогда мне так и стоило бы поступить? Остаться в этом лесу и не сходить с места?

Эка меня занесло.

6

Возвращаясь в город, мы были готовы больше не расставаться. А зачем? Ведь всё было так замечательно в эти выходные.

На следующий день ты приехала ко мне с альбомом своих фотографий. Везде твоё прекрасное лицо, открытый лоб, белые волосы через одно плечо. На некоторых — открытые плечи. Что и говорить, смотрелась ты исключительно. Одну из этих фотографий, на выбор, я оставил себе. «Эта — самая лучшая», — одобрительно сказала ты. «Не жалко?» — «Нет, конечно... для тебя».

Несколько раз мы вчетвером выходили за город — в близлежащий лесок, где собирались обычно лыжники. Всё было хорошо. Только не было тех удивительных сосен, той необыкновенной тишины и покоя. Два дня в «Горках» оставались в памяти, как прожитые в другом мире, ином измерении, куда уже никогда нельзя будет вернуться.

Видеться часто у нас не получалось. Ты жила на одном конце города, я — на другом. Ты на окраине, в хрущёвском посёлке, прозванном негритянским, я в самом центре, куда вели все дороги. И по этим дорогам ко мне день изо дня спешили приятели и приятельницы, с которыми меня связывала долгая дружба, отношения, интеллектуальная близость.

Что ни говори, это тоже не пустой звук.

Переехать ко мне вряд ли было бы для тебя возможным: родители не отпустили бы, да и я дорожил своей независимостью. Решиться на более серьёзный шаг в те времена просто не было желания. Даже в голову такое не приходило. Вначале карьера и творчество, всё остальное потом. Обсуждению не подлежит.

Мы почти одновременно поняли, что наши отношения, едва начавшись, рушатся... В зимнем лесу был рай. И там неважно — кто ты, чем занят. Мы были обнажены, хоть и в шубах. Только любовь, только дыхание вечности. Пронзительное и опьяняющее. Островерхие купы сосен, пронизывающие небеса. Железная дорога, уходящая на два конца света. И снег, похожий на облака.

А здесь, в обычной жизни, всё по-другому. У каждого своя одёжка — она сродни коже, если сбросишь, жди беды.

Ты всё реже приезжала ко мне. И во время этих визитов у тебя были очень грустные глаза. Мы не объяснялись, тянули: мне не хотелось; ты боялась, ждала, наверное, чуда. Всё становилось понятным само собой. Я так и не ответил на твой вопрос, люблю ли я тебя. Не сказал даже «наверное». А потом мы просто перестали видеться. Как это случилось, я и не вспомню. Вышло — и всё тут.

В твоём доме я так ни разу и не был. А ведь ты меня приглашала, хотела познакомить с мамой и отцом...

Иногда я вспоминал о тебе, вспоминал нашу поездку. Что-то незначительное, происходившее тогда, стёрлось из памяти, ушло куда-то, но главное осталось. И тогда я спрашивал себя: «А может быть, я всё-таки что-то упустил в том зимнем лесу, когда ты взяла меня за руку? Что-то прошло мимо? Что не должно было пройти ни в коем случае?»

Поди и разберись, так это или нет... А встретиться нам никак не удавалось. Город-то огромный — больше миллиона жителей. И столько в нём дорог!..

Огромный?

Я опять вспоминаю день пожара. Разрываю повествование и ухожу туда, на годы вперёд, в день сегодняшний. И хотел бы не делать этого, да не могу. Всё движется вперёд, и я не исключение. И ты тоже. Остаться бы в зимнем лесу, в турбазной комнатухе, и никогда не встретить день завтрашний. Пусть ничего не меняется, пусть все будут живы. Но так не бывает. И поэтому слепленное из опилок здание в означенный час вспыхнет, как спичечный коробок, и сотни людей не успеют опомниться, как вся постройка уже будет охвачена огнём. Одни устремятся к центральному входу, но этажи заволочет дымом — горели дерево и линолеум — дышать будет нечем. Многие останутся на лестнице, так и не отыскав выхода. Это они будут считаться пропавшими без вести. Потому что от них не останется ничего. Три тысячи градусов тепла —

не шутка. Другие, потеряв возможность выбраться по коридорам, будут выпрыгивать из окон — с третьего и четвёртого этажа, предпочтя разбиться о лед, нежели сгореть. Но в первую очередь надеясь на чудо. Эти будут похоронены. Фээсбешники, соседи по зданию, примутся сдёргивать шторы с окон и растягивать их под окнами, чтобы смягчить удар падающим, потом пойдут в ход куртки, пальто. Когда тряпки превратятся в лохмотья, самые отчаянные будут ловить людей на руки, ложиться на лёд, принимая на себя удар. Шестнадцать человек они спасут именно так — ценой собственных переломанных костей... И вот когда в церквях отпоют погибших, а больницы примут сотни искалеченных, все поймут, какой маленький, крохотный был и есть город-миллионник Самара. Потому что не окажется ни одного человека, кого бы не коснулся этот кошмар. Кто-то мне расскажет, как его друг, полковник милиции, прыгнет на дерево, надеясь уцелеть, а через час его будут снимать с сучка уже мёртвым, наколотого, точно бабочку на иглу. Другой расскажет о своём приятеле, спасшемся чудом, отделавшемся незначительными переломами и ожогами; а тот, в свою очередь, в больнице поведает ему, как они, пятеро сотрудников — капитаны и майоры уголовки, повиснут на оконных рамах четвёртого этажа, дожидаясь пожарных лестниц, а эти лестницы будут доходить всего лишь до третьего этажа; и когда жар окажется нестерпим, как они по очереди станут прыгать на эту лестницу; четверо разобьются, он один сумеет налету ухватиться за поручни и очнётся только в больнице. И потом узнает, что его мать, полковник того же управления, пропала без вести. А ещё через несколько дней согласится на пункцию, чтобы на генетическом уровне опознать часть превратившейся в уголь ноги — всего, что от его матери осталось. Нужно было похоронить хоть что-то. Ещё мне расскажут о молодой женщине из бухгалтерии, которая, когда отключится свет и двери автоматически закроются, останется в четырёх стенах — один на один с пламенем. И о другой, в этот день в первый раз вышедшей на работу, нашедшей в себе силы вместе с мужчинами прыгнуть с четвёртого этажа — на лёд...

7

Н всё-таки наши встречи будут, и между каждой проляжет вечность... Прошло несколько лет, я стал заведующим отделом уже в другой газете. Изменил внешность: теперь на моём лице кучерявилась буйная растительность. Уже никто из моего окружения не вспоминал меня с босым лицом. Однажды я сбрил бороду, и меня не узнали. Я восстановил потерянное достоинство за две недели. Это был романтический период — переходный этап от молодого человека к взрослому мужчине.

Я ехал в автобусе, сидел у окна, смотрел на весенние улицы. Снег таял, солнце смывало остатки зимы. Кто-то сел рядом со мной,

взял меня за мизинец. Белая женская рука прекрасной формы. Я обернулся...

— Ты смотрела на меня и улыбалась. А потом спросила:

— И зачем же ты бороду отрастил?

— Это было неожиданно.

— Не знаю, — не сразу ответил я, разглядывая твоё лицо. — Ты хорошо выглядишь...

— Хотелось бы верить...

Мы вышли на одной остановке. Нам обоим нужно было пересеживаться.

— Я ушла из милиции, — сказала ты, наблюдая за тем, как я, впрочем, ненавязчиво, ловлю взглядом номера проходящих автобусов.

— Почему? — обернулся я.

— Ты потупила взгляд.

— Меня один тип... изнасиловал. Большой начальник, — она назвала фамилию. — Его все друзья Михалычем зовут. Поехали компанией за город, все из управления. Зачем я, дура, согласилась? — ты пожалала плечами. — Судьба, наверное, такая. Все выпили, я тоже. Он меня на краю турбазы выследил, — ты невесело усмехнулась, — у туалетов, потащил за руку в кусты. Я стала сопротивляться. Даже укусила его. Он надавал мне по физиономии и так далее. Сказал, будешь орать, прибью. И никто ничего не докажет. Вот такая история. Я окончила курсы бухгалтеров, теперь работаю в одной фирме.

Ещё несколько слов — с моей и твоей стороны. Ничего не значащих слов.

— У тебя кто-нибудь есть? — спросила ты.

Вот какое дело: если ты не один — сейчас, прошлое становится почти ничтожным. Или его просто нет. А я ехал на свидание — домой к своей подружке. Сексуальная мажористая девица, очень неглупая. Ценила мои таланты. Её родители были в отсутствии, этим непременно нужно было воспользоваться. Тем более она приготовила мой любимый пирог — с вишней.

Точно извиняясь, я улыбнулся:

— В общем да.

— Понятно...

Мы больше ничего не говорим.

— А знаешь, — ты наконец прервала молчание, — меня один наш фотограф приглашал к себе. Он работает на какие-то журналы. Ты как журналист, наверное, знаешь его — Станислав Савельев, — Я кивнул. — У вас, говорит, такая внешность, которая стоит денег. Этим надо воспользоваться.

— И что же ты?

— Во вторник иду.

— У тебя должно получиться, — киваю я. — Я в тебя верю.

— А я нет.

Ещё несколько слов, и я на подножке автобуса, машу тебе рукой. Ты провожаешь меня взглядом, улыбаешься. Кажется, ещё чуть-чуть, и расплачешься. Но что я могу поделать? Меня ждут. И для меня это главное.

...Через полгода мажористая девица, моя возлюбленная, бросила меня. Талант у меня был, а денег, увы, нет. Одной перспективой жив не будешь. А ей хотелось ездить на хорошей машине. В общем я могу её понять. Точно чего бы я не стал делать, так это, бросив всё, зарабатывать ей на тачку. Так что всё просто-напросто встало на свои места. Обидно немного, но можно и пережить.

Вторая наша встреча оказалась куда более неожиданной. Это случилось летом, в парке, на Самарской площади. Кажется, в июле. Парк был прозван мною садами Академии. Я работал в одной небольшой газетке редактором, перетащил туда многих своих друзей. В том числе Геннадия и Жеку. В обед мы выходили из редакции, устраивались на лавочке, выпивали и говорили. О литературе и музыке. Разговоры шли как под портвейн, так и под водку. И обязательно под сигарету.

И вот во время этого разговора появляешься ты — в белом платье, похожем на то, первое, в котором я увидел тебя, сияющая. А рядом с тобой кавалер. Кто? Сергей. И в отношениях между вами чувствуется вовсе не дружеская связь, а совсем иная. Ты щёлкнула нас фотоаппаратом, сказала, что Антонина вышла замуж и уехала в Тольятти. А потом твой кавалер быстро тебя увёл. В этот вечер я отметил особенно, как он несведущ в моде и что на голове его причёска полового. Впрочем одевался он всегда скверно. В тот же вечер я поднялся к кавалеру на второй этаж и спросил, как же всё это случилось? Но он только пожал плечами и ответил: «Это жизнь, друг мой».

Третья встреча сразила меня наповал. Или почти так. Я был близок к удару. К тому времени я уже успел жениться и развестись, поменять ещё пару газет. Стать узнаваемым среди прочих бумагомарателей. Театральные режиссёры и устроители выставок интересовались моими рецензиями на свои творения. Меня приглашали на всевозможные мероприятия. Я освещал провинциальную культуру во всех её проявлениях. И то и дело обнаруживал на своём столе приглашения на презентации, после которых следовали фуршеты или вполне сносные банкеты. Дома я мог просто не обедать.

На одной из таких презентаций я и оказался зимой. Показ мод, выставка художественной фотографии и т.д. и т.п. Носом почуял, что корреспондента из своего отдела посылать не стоит: лучше взять фотографа, прийти самому и вдоволь насладиться хорошей жизнью.

Сказано — сделано. Пришёл наслаждаться. И около первой же фотографии остолбенел. На ней, укутанная воздушным покрывалом,

на белом полу сидела ты. И на второй, но уже лёжа и в чёрном платье, по которому так изысканно рассыпались твои белые волосы. И на третьей — в цветах, и на четвёртой — всюду ты. Попадались и другие девушки, но их присутствие на фото явилось миру незначительным. Королевой была ты и только ты.

А позже состоялся выход моделей на подиум — в тех нарядах, в которых они были на фото. Всё это было немного наивно, провинциально, но очень красиво. Я не мог оторвать от тебя глаз. Наверное, это правда: люди светлые в ладах со временем. На их внешность трудно повлиять. Это божественное провидение и примитивному объяснению не поддаётся. Ты была именно таким человеком, такой женщиной. Всегда юной и прекрасной.

В промежутках между вашими выходами я не вытерпел, поспешил в служебные коридоры. И столкнулся с тобой нос к носу у костюмерной.

Ты всплеснула руками, обняла меня крепко, поцеловала в щёку.

— Дима! Я так рада...

И я растаял. Почти опьянел от твоего поцелуя. Пусть — в щёку. Но тут же собрался, потянул носом воздух, выдохнул:

— Ах, запах кулис!.. У тебя получается.

— Ты знаешь, у меня отец умер, — после незначительных фраз, которыми мы обменялись второпях, сказала ты. — Полгода назад. Инфаркт, сразу как-то. Мы с мамой знали, что у него сердце больное, но не думали... — потом добавила: — А на машине ездить я так и не научилась.

— Что ты делаешь вечером? — чуть погодя спросил я.

Смутившись, ты улыбнулась:

— За мной приедет мой друг.

«...Ну да, конечно. Вот болван! Ты хотел, чтобы эта девушка была без друга? Все эти годы поджидала, когда ты наконец явишься и скажешь: «Возьми меня, я твой принц. Наконец-таки я всё понял и раскаиваюсь. Ты прекрасна, лучше тебя нет никого на свете». Так?.. Болван».

До меня доходили о тебе слухи. Ты познакомилась со столичным фотографом и уехала в Москву. Твои фотографии появлялись в журналах. И жизнь твоя обещала превратиться в сказку...

8

Что было со мной в это время и позже? Я окончательно сбрил бороду и пополнел. О юности вспоминал как о далёком и уже едва ли понятном явлении. Точно всё это было не со мной. Хорошо одевался, любил вкусно поест и выпить. И не привязывался ни к кому. Одна женщина мне сказала: «Ты ленивый и равнодушный кот. Тебе не нужен никто, кроме самого себя». Я вытер усы и ушёл из её жизни.

А потом сошёлся гражданским браком с опытной молодой женщиной, работавшей по торговой части. Хорошо готовила, всё умела...

— Привет, — сказал я, переступая порог дома своего приятеля. — У меня телефон отключили. Я от тебя позвоню?

— У меня гости, — предупредил Сергей.

Он был приодет, кажется, даже опрыскан непонятным, удушливым одеколоном, чего раньше никогда не делал.

— Я не съем её, — сказал я, — твою гостью, — и, приняв хавшись, поморщился. — «Красная Москва»?

— Иди, иди, — кивнул он в комнаты и последовал за мной.

Я аккуратно толкнул дверь вперёд и уже приготовился отвесить один из своих галантных поклонов... Ты сидела в кресле, перебросив ногу на ногу — в белой юбке и белом жакете. Ты изменилась — вся. Но я не мог оторвать взгляда от твоих волос — от роскошного, не достающего даже плеч каре. Длинных белых волос больше не было. Ты предстала мне обладательницей дорогой, мастерски выполненной причёски... Да, конечно, ты тоже не ожидала этой встречи. Но ты слышала мой голос в коридоре. И теперь глаза твои сияли. Ты изменилась. И окажись ты в прошлом веке, войди в сверкавшую паркетом залу, старые дамы, сияя брильянтами на старых морщинистых шеях, обязательно бы зашептали: «Как она хороша!» А молодые офицеры бросились бы к тебе, обступили и уже не давали прохода до самого окончания приёма. Ты действительно была хороша.

Сидя в кресле хозяина, точно решая, сделать это признание или нет, ты всё-таки прошептала:

— Как ты пополнил!

— Увы, — развёл я руками. — Семейная жизнь до добра не доводит... Ну, рассказывай, что с тобой? Где ты сейчас?

Ты засмеялась, покачала головой:

— Перед тобой, собственной персоной.

— Это я вижу, и всё-таки...

— В Самаре, вот уже три дня.

— А потом?

— Всё, хватит. Наездила... Вернулась я, Дмитрий Валентинович. Можете сказать: «С приездом».

— С приездом.

Только тут я заметил стоявшую на журнальном столике бутылку «Смирнова», шоколад. Вафельный торт из нашего магазина, который Сергей покупал для своих гостей. Трогательно, что и говорить.

Я сел на стул, забыв про телефон, даже про то, что поднялся-то всего на несколько минут. Дома меня поджидала моя гражданская жена, ужин должен был вот-вот оказаться на столе.

— Но почему? — спросил я. — Почему всё вот так?

Ты взглянула на Сергея, точно требуя от него особого понимания, вздохнула:

— Ну вот, придётся всё по-новой... Видишь ли, Дмитрий... — она не договорила, переключилась: — Водку будешь? А то ведь я одна пью. Пришла с этой бутылкой и пью.

— За встречу не откажусь.

— Тогда сам и наливай.

Я посмотрел на приятеля:

— Принеси рюмку.

Он сухо усмехнулся, встал, отправился в гостиную.

— Много там таких как я, Дима. Для манекенницы ростом не вышла, да и потом, — ты горделиво улыбнулась, — формы у меня округлые. А для фотомодели... Знаешь, нужно с целым полком переспать, чтобы выкарабкаться наверх. А можно переспать и не выкарабкаться. И ещё нужно медный лоб иметь, чтобы все преграды сносить на своём пути. А я женщина не расчётливая, бороться за себя не умею... Да и потом мне уже двадцать девять. О какой тут карьере идёт речь...

— А богатый муж?

Ты грустно улыбнулась:

— Нужно уметь не только обворожить мужчину, но и удержать его, привязать. А это я тоже не умею. Ни тебя не смогла окрутить, ни нашего пижона, — ты кивнула куда-то на стену, откуда уже приближались шаги хозяина дома. — вошёл он с рюмкой, поставил её передо мной. — Так что, Дима... наливай.

Я налил водку себе; ты, подумав, закрыла свою рюмку ладошкой:

— У меня есть — пока хватит.

Мы выпили. Водка была хороша, но я призывно замахал Сергеем рукой:

— Бокальчик для запивки, Серёг...

Сергей покачал головой и опять вышел.

— Как твой друг? — выдохнув, спросил я.

— Какой?

— Ну, помнишь, я пришёл во Дворец культуры, хотел было пригласить тебя...

— А, вспомнила кто, — ты легко хлопнула меня рукой по колену. И тут же как ни в чём не бывало пожала плечами. — Девалясь куда-то.

Сергей появился с бокалом, нарочито подозрительно поглядел на меня, спросил:

— Закуску, может быть, надо? Так скажи сразу: больше не побегу...

— Надо, — признался я.

— Огурец подойдёт?

— То, что нужно.

Он в очередной раз покачал головой, на этот раз сердито, и отправился на кухню. Ты опять повернулась ко мне:

— Ты, говорят, почти женат?

— Вот именно — почти, — просто ответил я.

— Кто она?

— Коммерсантка.

— На тебе. Я думала, она должна быть из твоей среды, — последние два слова ты произнесла с заметной иронией, даже язвительностью.

— Да хрен бы с этой средой, — вздохнул я, — просто мне с ней хорошо. Наверное, это главное...

— Плохо, что ты это так поздно понял. Для меня плохо, — на кухне с хлопком открылась банка, зазвенела посуда: Сергей доставал огурцы. Или ещё вернее — огурец. Жаден он был, непьющий, до закуски. — И всё-таки не думала, — проговорила ты, скорее самой себе, чем мне. — Дмитрий...

— Да?

Ты потянулась ко мне:

— Поцелуй меня...

Этажом ниже, сготовив ужин, меня ждала женщина, которая каждый день говорила, что любит меня. И я отвечал ей тем же. Господи, каким я с годами стал совестливым! Я поцеловал тебя в щёку. Ты уже скорчила недовольную гримасу, но тут вошёл Сергей, держа на вилке огурец. Так, самый обыкновенный огурец средних размеров. Какой я, собственно, и ждал.

— Держи, — сказал он.

Я выпил с тобой несколько рюмок, поцеловал тебя в ладошку и ушёл... И уже в подъезде, на площадке приятеля-соседа, остановился.

«Может быть, ты упустил главное? — спросил я у себя. — Самое главное?» — первая ступень вниз, вторая. Мимо меня, спускаясь сверху, прошли соседи, я машинально поздоровался с ними. Рука скользила по перилам... И когда внизу хлопнула дверь, заставив меня вздрогнуть, вся жизнь обернулась передо мной в одно мгновение. И причиной тому было воспоминание: зимний лес. Никогда, ни одним летом я не погружался в атмосферу божественного. Вечного. Упоительного. Где минута стоит всей жизни. Точно я был в чьих-то ладонях, горячих, несмотря на лежавший кругом снег и молочное зимнее небо. И в моей руке была твоя рука. Наверное, это и можно назвать счастьем...

Целая вечность — за два лестничных марша.

Я открыл дверь. Дорогая и единственная, в майке и трусиках, невысокая, вызывающе сексуальная, стояла, подбоченившись, привалившись к косяку. Подошла, встав на цыпочки, повела носом:

— У Сергея теперь тоже наливают?

— Выпил с одной из его дам.

— И как она, хороша?

— Ничего так.

Марина усмехнулась, притянув меня за шею, поцеловала:

— Иди есть, пьяница...

В конце осени мы с гражданской женой расстались. По обоюдному согласию пожелав больше друг с другом не встречаться.

Незаметно прошёл Новый год, остался позади январь.

10 февраля 1999 года был для меня самым заурядным днём. По крайней мере так он начинался. Ничем не лучше и не хуже остальных. А главное — он ничего не предвещал. Даже выплаты долгов по зарплате. Никаких перемен. Впрочем к этому я уже давно привык. И что самое главное, перестал бороться с этой монотонностью, дремотой. Смирился.

Потом был пожар. Вспыхнувшее, как пучок соломы, старое здание. К пожарной тревоге многие отнеслись скептически: запирали кабинеты, чтобы им не мешали. Огонь, проламывающий стены, уничтожающий всё на своём пути. Вооружённые голыми руками пожарные. Перекрытый в округе водопровод. Воду пришлось качать, прорубив гигантскую лунку, с Волги. Концерт Долиной, спасший около пятидесяти начальников, за четверть часа до катастрофы уехавших в филармонию. И многое другое.

На следующий день случилась редакционная пьянка по случаю дня рождения фотографа Владимира Гурова. Того самого, с которым мы ходили за водкой. Возвращение домой через день. Ужин, телевизор. Панихида в записи. Портреты погибших — имена, даты рождений. Женщины и мужчины. Подполковники и майоры, капитаны и лейтенанты. Сержанты, секретарши. Пожилые, молодые. И невозможно переклочить программу — не получается.

Вот тогда на экране я и увидел тебя. Точно такой, какой ты была на фотографии в моём альбоме.

Только спустя ещё пару дней я узнал, как это случилось. Именно с тобой. Настранировавшись вдоволь, ты решила вернуться в свою старую контору, на этот раз в отдел кадров. Десятое февраля был твой первый день работы. Мне рассказывали о молодой женщине, когда огонь был всюду и путь по коридорам отрезан, с несколькими мужчинами выпрыгнувшей с четвёртого этажа, но я не знал, что речь идёт о тебе.

В забегаловке, в старом городе, мы купили с Геннадием бутылку водки, круг колбасы, полбуханки хлеба.

— Царствие небесное Ирке, — поднимая гранёный стакан, сказал я.

Геннадий кивнул. Мы выпили, закусили. И разошлись — каждый на свою работу.

...Чуть позже будет объявлен траур, пусть с запозданием, но всё-таки это случится. И целый день для тебя будут играть лучшие скрипачи России. Очень возможно, что шедевры великих музыкантов мира всех времён — реквиемы и фуги — тоже когда-то были написаны для тебя одной. Мне будет казаться именно так. Имею право. Ещё будет чёрный остов здания. Только стоять ему выпадет недолго: от него избавятся уже через неделю, официально объявив всему горо-

ду и стране, что возгорание произошло от брошенного кем-то окурка. Интересно, как это они отыскали его после жары в три тысячи градусов? Тебя отпоют в столичном храме, и на обелиске, который однажды будет поставлен на месте снесённого здания УВД, рядом с часовней, будет выбито твоё имя.

Думала ли ты об этом?

Я не хочу вспоминать пламя, три стены огня, подкрававшихся к тебе, вытолкнувших наружу. Закрывая глаза, я не хочу видеть твоего падения, знать того ужаса и отчаяния, которые были в тебе. Скорее, я готов увидеть белую птицу, рванувшую в зимнее небо. И я никогда не вспомню тебя лежавшей на тротуаре, на льду, разбитую, поломанную. Я буду вспоминать зимний лес, среди которого много лет назад мы стояли вдвоём, задрав головы к небу. И головы наши кружились от тишины, снега, высоких, далёких сосновых крон, почти что застрявших в небесах. Только зимний лес. Глоток счастья на всю оставшуюся жизнь. Белый мир, полный тишины и волшебной музыки. Слышали мы её или она только пригрезилась нам?.. Не знаю.

Рассказы

Кепка вождя, или Парадный портрет К всесоюзному коммунистическому субботнику

Если вы спросите: знаю ли я, как такому лоботрясу и бездельнику доверили ответственное задание? — я отвечу просто: да, знаю. Там, где я учился, — а учился я в художественном училище и очень гордился этим — не догадывались, что хотели взвалить на плечи их студенту-практиканту, а там, куда я был направлен, думать не думали, на кого им придется положиться.

Что ни говори, а репутация у меня была прескверная. Я был отчаянно ленив, опаздывал на уроки, а к математике и физкультуре (для будущих оформителей это были, как видно, особо важные предметы) испытывал плохо скрываемую неприязнь. В эти часы я предпочитал с друзьями попить пива. Мой внешний вид, а, вернее, некоторые мелочи в моём студенческом туалете, также не нравились многим. Ходил я в вельветовом костюме, в туфлях на каблуках (соответственно последней моде в провинции), носил дедушкин серый жилет от давней тройки — жилет, впрочем, вполне новый — а также (что особенно соответствовало оптимистическому состоянию моей души) прадедушкины часы на цепочке, совершенно лысые, обточенные временем, как полосатый голыш черноморской волной. В этих часах не хватало минутной стрелки (кто-то из моих предков, как гласило предание, в подпитии проверял их на прочность), зато часовая и секундная ходили на зависть исправно. Цепочка вальяжно выглядывала из карманчика жилета, дразня окружающих. Особенно раздражали часы тех, кто знал об отсутствии минутной стрелки. Учитель живописи, некто Кулебов, огромный толстый дядька с лопатообразной бородой, всегда красный, гудящий всем своим организмом, точно паровоз, вразвалку подходил ко мне, отдувался, становясь совсем пунцовым, и, косясь на цепочку, басил: «Агалаков, ну что вы, — он со свистом втягивал в себя воздух, — что вы так пижоните? Зачем вам это?» Так повторялось почти на каждом уроке. И вправду, думал я, зачем мне всё это? Но часы (равно как и цепочка, и жилет, и всё остальное) мне очень нравились.

Впрочем это всего лишь лирическое отступление. Итак, заканчивался третий курс, начиналась учебная практика...

Апрель был прозрачен, его не портили даже оставленные зимой следы — снежные барханы, сплошь грязно-серые, и многочисленные аспидные лужи — чёрные зеркала. Сотни сияющих весенних солнц отражались в них. Сотрясаясь и нещадно громокая, грузовики легко врезались в эти озёрца, разбивая их и весело обдавая предмайской грязью недостаточно расторопных прохожих. Одним словом, всё было обычно: весна как весна, апрель как апрель.

В старом городе, в квартале от одной из оживлённых трасс, на тихой торговой улочке я стоял у огромных стеклянных дверей полиграфического училища.

Заведение это — четырёхэтажное здание красного кирпича в купеческом стиле — славилось бесчисленным скоплением женского пола самого резвого нрава. Всезнающие краеведы утверждали, что до революции в этих стенах процветал дом терпимости. Были, правда, и другие версии, но среди юных полиграфисток они как-то не прижились. Здешние девицы (как я слышал от наших студентов, у которых уже были тут многочисленные знакомства) с заметной гордостью говорили о своих экзотических предшественницах.

Я открыл дверь и пустился по широким лестничным маршам навверх — в поисках кабинета здешнего завуча.

Юных печатниц было немного: шли занятия. Но те, что попадались мне по дороге (идущие навстречу или стоявшие по тёмным уголкам мрачного изнутри здания) без стеснения и с интересом разглядывали меня. Каждый новый представитель сильного пола (своих здесь можно было сосчитать по пальцам) удостоивался самого лестного внимания.

Проехав долгий путь по тёмным, нескончаемо-длинным коридорам с невероятным количеством дверей на каждом этаже, на третьем я отыскал нужный мне кабинет.

В первой комнате, секретарской, никого не было. Весеннее солнце, расчертившее пол огненными полосами, мгновенно вылизало мне туфли, оставив на них одну лишь уличную грязь. Стол секретаря был завален папками. Заправленный в машинку «Ятрань», словно стянув на себя весь свет ясного апрельского дня, ослепительно горел чистый машинописный лист.

Я постучал в дверь кабинета и услышал сдержанно-урчащий звук...

За длинным столом, заваленным теми же папками, толстыми тетрадями, книгами и баночками для карандашей и авторучек, сверкала апрельской полиролью внушительная лысина с венчиком тёмных волос. Между потолком и лысиной висел портрет — репродукция известного рисунка Жукова. С неё, хитро прищулив глаза и улыбаясь мне, смотрел Ленин.

— Добрый день, — нарушив кабинетную тишину, сказал я.

Лысина тяжело вскинулась — и мне явилось лицо хозяина кабинета. Завуч полиграфического училища — коренастый мужичок с шустрыми глазами — напрягся, пытаясь угадать во мне своего питомца. Наконец лицо его осветилось догадкой.

— Из художественного училища? — спросил он.

— Ага, — отрекомендовался я.

Легко захлопнулась толстая тетрадь. С грохотом отъехал стул. Хозяин кабинета перегнулся через горы канцтоваров на своём столе. Подскочив, я едва успел подхватить широкую пятерню.

— А я вас с девяти утра жду, — сказал завуч. — Как вас зовут?

— Дмитрий Агалаков.

— Это хорошо, очень хорошо, — одобрил завуч. (Не припомню, чтобы кто-то из преподавательского состава встречал меня таким словами). — А я — Павел Эдуардович. Вот что, Дмитрий, — как-то сразу тепло заговорил он, — тут такое дело...

Он выдвинул верхний ящик стола, вытащил оттуда белый кусочек картона, поманил меня пальцем. Я обошёл стол.

— Вот, — сказал Павел Эдуардович. И осторожно добавил: — Ленин.

Одетый в чёрное весеннее пальто, Вождь стоял на булыжной мостовой. На груди — алый бант. Лицо Вождя было строгим и справедливым. На дальнем плане люди в сером несли брёвна. Картина советского художника Куприянова «Ленин на субботнике» была известна каждому гражданину нашей страны.

Завуч вопросительно посмотрел на меня.

— Практика-то есть?

Я усмехнулся:

— А как же.

— Фон — белый, — довольный моей деловитостью, уточнил Павел Эдуардович. — Только Ильича. Срок — неделя: день в день к субботнику... Хватит?

Вытянув губы в трубочку, я замычал, быстро прикидывая, как бы суметь растянуть своё творчество на неделю, чтобы это не очень бросалось в глаза.

— Хватит, — со вздохом сказал я и, тут же усомнившись, спросил. — А формат?

— Два на три, что-то вроде того, — пожал плечами завуч. — Пойдём в зал, сам согласишься.

Пустой актовый зал был загромождён длинными рядами кресел. На последнем, у больших окон, сидели четыре девушки: они, вероятно, прогуливали свой урок. У противоположной от дверей стены, на свободном пространстве, в углу, стоял огромный, уродливый, безнадёжно перекособоженный подрамник с натянутым холстом. На нём неумелой рукой были намалёваны рабочий и колхозница.

— Это ничего, что он корявый, — пробираясь со мной к плакату, ободрил меня завуч. — Мы его привяжем к балкончику, затанем с четырёх сторон, будет всё путём.

Я прохаживался перед холстом под прицелом четырех пар девичьих глаз. Подходил к плакату, тряс подрамник, тыкал пальцем в холстину. Павел Эдуардович терпеливо выжидал сзади. Наконец обернувшись, я сказал:

— Нужна эмульсионка, кисти, краски.

Моя деловитость подкупала всех, кроме моих педагогов.

— Всё будет, — обрадовался Павел Эдуардович. — Пошли. Когда будешь работать, — он оглянулся на девиц, — ты рядами кресел отгородись, чтоб не мешали. Краски в моём кабинете поглядим. Людочка должна знать.

В секретарской уже сидела хорошенькая молодая женщина, ловко тарыхтя на машинке. Она посмотрела на меня, потом на шефа.

— Я отпечатаю, Павел Эдуардович.

— Хорошо, Людочка. Слушай, у нас краски где-то были. Гуашь.

— Да она уж вся пересохла, — удивилась неосведомлённости начальника секретарша.

— Ты посмотри, посмотри, — наставительно проговорил Павел Эдуардович. — Сейчас что-нибудь найдём, — успокоил он меня.

Очень скоро секретарша навывуживала отовсюду целую гору всевозможных коробочек с красочными наклейками. Кривясь от боли, я открывал одну за другой намертво присохшие крышечки. Во время моих мучений Людочка то и дело отвлекалась, поглядывая, как я дую на натруженные пальцы и вновь отважно принимаюсь ломать себе ногти. Перемазав пальцы во все существующие и несуществующие цвета, я убедился, что секретарша права. Этими красками можно было рисовать как цветными мелками.

— Позвони-ка на склад, — посоветовал ей Павел Эдуардович, — и дай мне трубочку.

Склад был готов помочь, но немногим.

— Чёрная, красная и зелёная, — сказал Павел Эдуардович. — Не густо, — теперь он с сомнением вытянул губы. — У-гу.

Людочка отвернулась к окну, к ящичкам, выставив к нам обтянутые короткой юбкой ягодичы. Они привлекали не только моё внимание.

— У-гу, — повторил загадочную фразу Павел Эдуардович. — Пошли.

Он вошёл в свой кабинет, решительно распахнул створки полированного шкафа, решительно согнулся. Кряхтя, выставив, как пушку, крепкий зад, окунулся в неведомые мне глубины. Работая на ощупь, он что-то разгребал обеими руками. Потом придушенно засопел. Когда завуч вынырнул, распрямился, лысина и полное лицо его были багровы и потны. В руках он держал коробочку превосходной художественной гуаши.

— Трать бережно. Ну, лицо, там, руки... Это — одна. На всё училище, — добавил он. — У Людочки потом возмёмшь. Помни, — убедительно повторил завуч, — фон — белый.

— А кисти? — спросил я.

— С кистями хуже, — ответил он, и я понял: сейчас Павел Эдуардович не юлит.

С кистями было хуже всегда и у всех. У нас-то, на складе художественного училища, они были, и на любой вкус, но мне выдали одну только широкую флейц — для больших пространств, которую под страхом смерти я должен был вернуть обратно. Конечно, здесь, на чужой стороне, я мог бы заартачиться, настаивать, но это значило бы, что я лишь испорчу мнение о себе, а наградят меня в любом случае какой-нибудь убогой щетинкой.

— Загляну в домашний арсенал, — ответил я.

Павел Эдуардович расцвёл:

— Вот это ты молодец!

Мы вернулись в секретарскую.

— Сейчас со склада эмульсию принесут, — сказал завуч. — Сегодня — грунтуй. И отгородись, чтоб спокойнее было.

Людочка, не отрываясь от бумаг, хмыкнула:

— Так они перелезут.

— Я им перелезу, — сурово парировал Павел Эдуардович и, остановив взгляд на выгнутой спине своей секретарши, добавил: — Ну, давай, действуй. И чтоб всё путём!

Отгороженный двойной крепостной стеной, положив перекобоченный холст на два ряда ободранных кресел, разведя в банке эмульсию, я плюхнул увесистый шматок краски на оранжевое лицо колхозницы. Я был безжалостен: она уходила в небытие, а вместе с ней и её вечный краснолицый друг — пролетарий...

Весть о художнике разнеслась в этих стенах мгновенно. И уже ко второй перемене, что я проводил у холста, скопление женского пола в актовом зале было предостаточным. Девушки табунчиками бродили невдалеке, рассматривая меня и предмет моих занятий. И ближе других у оборонительных сооружений была та самая четвёрка, которую я заметил в зале, когда впервые вошёл сюда.

Сразу после очередного звонка на урок я улизнул домой...

На следующий день, положив перед собой открытку с изображением Вождя на фоне общей занятости, я поднял карандаш «Конструктор М» и сделал первый штрих. Когда фигура Вождя была скомпонована, конечности намечены, голова, случившаяся слишком крупной, а вместе с ней и кепка, обрезаны, я задумался...

У каждой знаменитой личности есть свои приметы. У Дон Кихота, к примеру, это узкое аскетическое лицо — нещадно вытянутый овал,

усы — поперечный штрих, тёмные круги под большими глазами, каска-блин — эллипс, и вот — легендарный испанец готов. Главная примета Вождя (это скажет вам любой оформитель) — его лоб. Огромный лоб — непременно в соседстве с бородкой и усами. И глаза — узкие. От того, конечно, что они — прищуренные, полные лукавства и иронической доброжелательности. На этой картине, к несчастью, ирония в глазах Вождя отсутствовала. Впрочем и всего остального было достаточно, чтобы не дать зрителю ошибиться.

Я принялся за работу. Иногда, выходя из-за холста, показываясь неожиданно и стремительно, я видел, как амазонки всё теснее окружают мою крепость. «Возможно, — думал я, — Людочка права, и штурм неизбежен».

Вождь получался удачно. Вначале, правда, проявилась тенденция к собирательному образу всех пламенных революционеров, но кепка вмиг сделала своё дело.

Когда я в очередной раз вышел из-за холста, то получил вопрос прямо в лоб:

— А вы художник, да?

Вопрос задала рыжая девчонка с наглыми глазами, одна из той самой четвёрки.

— Да, — строго ответил я.

Но скрыться не успел.

— А что вы рисуете?

Неожиданно завязавшийся диалог с незнакомым художником заметно оживил юных аборигенок. Они жадно потянулись к крепостной стене.

— Ленина, — сказал я.

— А поглядеть можно? — спросила Рыжая.

Я не сомневался: будь на месте Ленина Пушкин или Мойдодыр, вопрос был бы тот же. Но, честно говоря, мне не очень-то хотелось казаться таким серьёзным и неприступным, тем более что это было вовсе не в моём духе.

— Через часок-другой, — великодушно ответил я, с некоторым сомнением оглядывая напирющую толпу.

— Мы запомним, — лукаво ответила Рыжая.

Её две подружки, стоявшие рядом, у барьера, закивали головами, а третья, очень милая, чуть покраснела.

Через два часа, когда глаза, уши и ноздри Вождя были тщательно прорисованы, а пальцы правой руки заправлены за жилет, едва успел прозвенеть звонок, актовый зал наполнился любопытными аборигенками. Впереди была уже отмеченная мною четвёрка. Чувствуя, что совершаю непоправимую глупость, я сам разрушил свою стену — и уже через несколько мгновений раскаялся: меня едва не снесло потоком. В крепость ворвались не четверо, как я наивно предполагал, а десятка три преисполненных любопытства девиц, так что подойти к холсту я уже не имел никакой возможности.

Изображение Вождя вызвало нездоровый ажиотаж среди будущих печатниц. Одна из них, маленькая, со светлыми завитыми волосами, курносый носом и конопушками, изумлённо посмотрела на меня.

— Так ведь, — прошептала она, словно поверяя мне страшную тайну, — Ленина рисовать нельзя!

Едва не поперхнувшись, я уставился на неё. Все остальные затихли, ожидая, что я отвечу на это, как выберусь из ужасной западни.

Пауза затянулась, мне угрожало раз и навсегда потерять авторитет на этом славном, диком острове, и вдруг я нашёлся:

— Откуда же тогда появились все остальные плакаты и портреты, а? Ведь их — море?!

После новой паузы я услышал облегчённые вздохи. Меня зауважали.

— А мне нравится, — весело сказала Рыжая и, нахмутив брови, нацелилась на рисунок взглядом. — Только он страшненький больно.

Её темноглазая подружка, посмотрев на меня, вновь заметно покраснела, опустила глаза...

Организация в этом женском коллективе была на самом высоком уровне. Уже через десять минут Рыжая умудрилась выпроводить всех лишних из моей клетки, и нас осталось пятеро. О работе я больше не вспоминал. Мы болтали о каких-то пустяках. Я шутил — девушки смеялись. Темноглазая красавица, её звали Кирой, больше молчала, всё время краснела, но всё своё внимание я уделял именно ей. И скоро, безошибочно поняв моё поведение, вновь удивив своей организованностью, Рыжая и две других девушки со вздохом оставили нас вдвоём.

Актёрский зал был пуст — только мы да ещё Вождь. Я ущипнул свою молчунью за локоть. Она густо покраснела, сказала, что боится меня, но заметно повеселела. На этом второй день моей работы закончился. Кира ушла с занятий, мы отправились гулять. В этот же вечер мы целовались в её подъезде. На третий день я показал ей прадедушкины часы без минутной стрелки. Кира довольно странно, но с оттенком нежности, посмотрела на меня. На четвёртый день пришёл завуч, лично принёс краски и клей ПВА. Одобрительно оглядев фигуру Вождя, придирчиво всмотревшись в его лицо, спросил:

— Успеешь?

Я молча пожал плечами: мол, чего тут не успеть — у нас всё как в аптеке.

— Давай, — кивнул завуч, — чтоб всё путём. Раньше закончишь, раньше отпущу. И смотри, клей не забудь добавить, а не то чуть что — краска-то и смажется.

Я хотел было сказать: «Кого учим, папаша? Плавали, знаем». Но, конечно, не сказал.

Уже намереваясь уйти, завуч остановился у края холста, поделился горем:

— Работы много, а лопат нету, выписали грабли. Субботник на носу, а им хоть бы хны.

Кому «хоть бы хны», он так и не объяснил. Бросив взгляд на суровое лицо Вождя, уронив: «Фон — белый. Краску трать бережно», — завуч удалился.

Сразу за ним пришла Кира: глаза её сияли, в руках был портфель. «Работа не волк, в лес не убежит, — подумал я. — Вождь может и подождать. Тем более впереди ещё три дня...»

...Домой я вернулся часа в два ночи, на следующий день входил в актовый зал в самом романтическом настроении...

Ради меня Кира жертвовала уроками с необычайной лёгкостью. Итог был налицо: за три часа я успел только навести два колера: для лица и банта.

К обеду, разукрасив лицо Вождя желтоватым цветом, за лицом — кисти рук (предположив: высохнет — побледнеет), я развёл чёрный колер для монументальной одежды Вождя (его легендарного пальто). Около получаса я с удовольствием возил широкой кистью, закрашивая огромные пространства холста.

В очередную перемену наведалась Рыжая и две её подружки.

— Что-то он желтушный какой-то, — тут же, только увидав Ленина, выпалила Рыжая.

За словом в карман она не лезла — это уж точно. Я с неодобрением поглядел на неё, потом перевёл взгляд на Вождя. Рыжая была права. Пока я увлечённо красил пальто, лицо и руки Вождя успели подсохнуть, но не побледнели, а, напротив, пожелтели ещё сильнее. И чем больше подсыхала краска, тем «желтушнее» они становились.

— Ерунда, — успокоила меня Рыжая, — выздоровеет — порозовеет.

— Точно, — подтвердил я.

После звонка девушки ушли на занятия, а я взялся за пудовые башмаки Вождя, за его алый бант. И когда дверь в актовый зал приоткрылась и там показался завуч, всё было кончено — за исключением одной только кепки Вождя... И вот тут я вспомнил о роковой своей оплошности: тюбик с клеем был полон, ни одной капли не упало ни в одну из баночек с разведённой краской! «Женщина на корабле, — запоздало вспомнил я, — к беде». Вся вдохновенная работа шла насмарку... Но завуч, показавшись в дверях, там и остался, потому что тоненький нагловатый голосок за его спиной пропищал: «Павел Эдуардович...»

Что верно, то верно: сама судьба подстерегла Павла Эдуардовича в тёмном коридоре. Не теряя времени даром, я быстро отвинтил крышку тюбика ПВА и, яростно сжав тюбик в кулаке, бултыхнул всё его содержимое в банку с остатками чёрного колера. Когда Павел Эдуардович подошёл ко мне, пустой тюбик, как ему и положено, лежал на самом видном месте.

— Что-то желтоват, — с сомнением сказал Павел Эдуардович и тут же перехватил мой взгляд. — А?

— Разве? — удивился я. — Главное — похож.

Брови завуча хмурились.

— Похож-то похож. Да жёлтый какой-то.

— Чёрный с жёлтым хорошо контрастирует, — небрежно бросил я, приглядываясь к воротнику пасторского пальто.

— Да?

С видом знатока я кивнул.

— А может, перекрасить?

— Белил нет, кончились.

— Как кончились? — оглядывая баночки, испугался Павел Эдуардович.

Он неодобрительно покачал головой.

— А кепка где?

— Сейчас будет, — ответил я.

— Слушай-ка, вот что, — завуч поскрёб указательным пальцем кончик широкого носа, — когда всё доделаешь, зайдёшь ко мне. Там у меня на одной газетке заголовочек надо написать. Небольшой такой. Я тебе место рядом с Людочкой выделю.

Сказав это, Павел Эдуардович вразвалку, вальяжно огибая ряды кресел, направился к выходу.

Все эти завучи — самые отпетые вымогатели. Я прекрасно знал: за одним заголовочком немедленно обнаружится другой заголовочек, затем парочка текстов, какой-нибудь рисуночек. Так оно и случилось. А что мне было делать? Моя оценка зависела от него. А Павел Эдуардович просто обязан был выдать из меня ровно столько, на сколько я был отдан ему в рабство. Людочка усмехалась, глядя, как я, едва скрывая раздражение, принимаю за соседним столом всё новую и новую работу, а Павел Эдуардович, с ангельским выражением лица, приносит ещё и ещё, и при этом, подобревший, обходительный, что-то весело лопочет.

— А мы сегодня его повесим, точно? — спросил он у меня к концу дня, когда я уже ненавидел лютой ненавистью свою будущую профессию, которую в общем-то и так не особенно жаловал. — Людочка, давай-ка двух ребят найди. Прямо сейчас. Чего время-то тянуть? — Павел Эдуардович просто сиял. — А мы с тобой, — он хлопнул меня по плечу, — снизу поглядим, чтобы эти оболтусы криво не повесили.

Через полчаса, задрав голову, подпрыгивая шагах в двадцати от дверей училища, Павел Эдуардович пугающе размахивал руками, указывая, где и как закрепить Вождя. Мы с Людочкой — два строгих ценителя — стояли чуть поодаль, помогая словом. Двое ребят, чьи напряжённые лица и руки маячили в окне третьего этажа, трудились из последних сил...

Наконец плакат, задрожав мелкой дрожью, застыл.

— Ну вот, — сказала Людочка, — всё путём. Доставай зачётку... Слушай, Дмитрий, ты меня извини, конечно, а чего он у тебя жёлтый такой?

Я не ответил, я отчаянно хлопал по карманам, нырял в них руками, не упуская ни одного, проделывая это снова и снова, ещё не веря в то,

что случилось. А раскрасневшийся Павел Эдуардович, по-барски улыбаясь, вытаскивая из пиджака авторучку, уже подходил к нам.

— Ну, герой, тебе как: «отлично» или «хорошо»?

С теплившейся ещё надеждой я повторил свою операцию, но тщетно: зачётки не было. Наверное, мой вид красноречиво говорил об этом, потому что Павел Эдуардович беззаботно спросил:

— Зачётку, что ли, забыл?

Теперь я даже вспомнил где — на своём столе, на томике Джона Голсуорси.

— Может быть, я домой съезжу, а? — пробормотал я. — Я быстро: туда — обратно.

— Да ты что? — пряча авторучку, Павел Эдуардович усмехнулся. — Завтра утречком придёшь, найдёшь меня — я тут буду с восьмью — я тебе твоё «отлично» и поставлю. А сейчас — всё, по домам. Да, Людочка?

Павел Эдуардович отвернулся, с удовольствием разглядывая преобразившейся фасад училища. Я с тревогой посмотрел на небо. Но апрельский вечер был безмятежно ясен и чист, отвергая самое предположение, что в мире бывает непогода и тем более весенние дожди.

Глаза я открыл в половине десятого утра, смутно вспоминая, что был разбужен около восьми, но решил вздремнуть ещё минут пять... Несмотря на позднее утро, мою комнату заливал хмурый серый свет. Я подскочил к окну: мои самые худшие предположения сбывались.

Небо медленно, но верно затягивали тучи...

С высоты третьего этажа на меня смотрел желтолицый Вождь. Под его живым взглядом на улице уже собирались девушки, вооружённые граблями и лопатами.

Бегом преодолев все марши и коридоры, отделявшие парадный вход от кабинета завуча, я влетел в секретарскую. Меня встретил весёлый щебет пишущей машинки.

— Ну ты и спа-ать, — улыбнулась Людочка, отрываясь от дел. — А Павла Эдуардовича нет. Где-то ходит.

На складе мы разошлись минут на десять, в приёмной директора — на пять. А на улице становилось всё темнее...

Спустя минут двадцать я его настиг — прямо у парадного, в обществе важной дамы. Кажется, из городского управления культуры. Павел Эдуардович раздавал указания. Он водил пальцем по воздуху, тыкал им в группы девушек.

Я пробился к завучу. Выдохнув: «Здрасьте», — протянул зачётку.

Дама недоброжелательно посмотрела на меня.

— Подожди-ка ты, подожди, — отмахнулся он от меня. — Тут вон дождь на носу. Сейчас я разберусь со своими делами, зайдём, по-человечески... — вдруг, оборвав себя, он ткнул пальцем в плакат. — А вот жёлтый он у тебя, жёлтый. И вот Элла Григорьевна говорит — жёлтый!

— Да, молодой человек, жёлтый, — обиженно проговорила Элла Григорьевна.

Я пропустил это мимо ушей.

— Я в Москву улетаю! — сдержанно выпалил я. — У меня самолёт через два часа, а мне ещё в училище надо. Мне оценка нужна, прямо сейчас.

Павел Эдуардович сморщился.

— Чего?

Первая дождевая капля разбилась о корочки моей зачётки. Я похолодел.

— Там, в Москве, выставка Сальвадора Дали, — надвигаясь на завуча, проговорил я. — Проездом. Один только день. Впервые за всю историю! Слышали?

— Слышали — не слышали, — Павел Эдуардович взял из моей руки зачётку, раскрыл её, тупо посмотрел туда, достал авторучку. — Сказал бы я тебе, — он покачал головой. — А как я писать-то буду, а, как тебя там, Сальвадор?

Деваться было некуда — я подставил спину. Элла Григорьевна фыркнула. В поклоне я напряжённо улыбнулся смотревшим на нас во все глаза девушкам, лопатками уже чувствуя томительно-приятную тяжесть рождавшейся оценки.

— Дурака из меня строишь, — угрюмо сопел, налегая на меня, Павел Эдуардович. — Чего я тебе, американский президент, что ли? Чёрт, а вот зонт-то я в кабинете забыл. Ух ты, ух ты!..

Небо затрепетало, где-то в поднебесье, над городом, прокатилась гроза — и на землю обрушился обломный ливень. Девушки завизжали. Над улицей вспыхивали один за другим яркими цветами зонты. Многие бросились к стенам училища. Схватив зачётку, я юркнул за спину Павла Эдуардовича и тогда же оглянулся...

Дождь отчаянно барабанил по холсту. С моим шедевром происходило нечто страшное. Жёлтое лицо Вождя дрогнуло и, вдруг вспухнув, стало расплываться. Из чёрного пальто, как из огромного океана, вышедшего из берегов, против всех правил природы, стали выбиваться тёмные ручейки, превращаясь в речушки, в чёрные реки, и вот уже всё пальто его, захлестнув ботинки, хлынуло вниз одним грязно-чёрным потоком. Но и это бесконечно длинное пальто таяло — таяло на глазах. Толпа перед училищем затаила дыхание. Все, кто поднял голову, уже не могли оторваться от этого зрелища... Мир рушился. Вождь исчезал на глазах. Одной только кепке его было всё нипочём: внушая улице мистический ужас, эта кепка по непонятной, необъяснимой причине готова была противостоять всем стихиям!

Я мельком увидел Павла Эдуардовича. Присев, став крошечным, он завертел головой и вдруг, распахивая девушек, рассекая крепким лысым черепом стену из дождя, бросился куда-то напролом.

— Где художник?! — матерная фраза, резкая, как пулемётная очередь, мгновенно расчистила Павлу Эдуардовичу дорогу. — Где этот Сальвадор?!

Но последний вопль я услышал, уже растворяясь в мокрой толпе ошарашенных юных полиграфисток. Голос завуча захлестнул нараставший гул ливня.

Мне было жалко Павла Эдуардовича...

У тротуара я едва не сбил с ног Киру. Она стояла под цветастым зонтом, заворожённо глядя через улицу. Я забрался под её крышу. Фыркнув, сбив каплю с носа, посмотрел туда же: теряя знакомые очертания, призрак исчезал, забыв прихватить в дорогу такую незначительную часть своего туалета — головной убор.

— Что тебе за это будет? — спросила Кира.

Я достал зачётку, раскрыл её. В графе «практика», чуть смазанное дождевой каплей, значилось «хорошо».

— Что будет, то будет, — сказал я, легко вздохнув, пряча зачётку и выуживая из карман брюк прадедовы часы. Секундная стрелка, как всегда, торопилась. Часовая застыла между одиннадцатью и половиной двенадцатого.

— Знаешь что, пойдём-ка отсюда, — беря Киру за локоть, сказал я.

— А как же субботник? — глядя мне в глаза и чуть краснея, спросила она.

— Субботник не удался. Но говорят, дождь к счастью.

На перекрёстке, у дверей старенькой аптеки, я обернулся — в последний раз... Вождь испарился, сгинул. Под проливным дождём над улицей на белом холсте парила только одна чёрная, как ночь, его кепка. Я догадывался, что завтра или послезавтра меня вызовут на ковёр к директору училища и поступят со мной, бедным художником, очень жестоко. Например, поставят вопрос о моём исключении. А такое уже случалось два раза. Но сейчас я совсем не хотел об этом думать. Рядом со мной была замечательная девушка. Правда, я не мог предположить, что никакого романа с Кирой у нас не случится. (Потому что неделей позже она встретит на дискотеке курсанта лётного училища. Куда мне, восемнадцатилетнему разболтаю с луковицей прадедушкиных часов на цепочке было тягаться с человеком в погонах? Да ещё двадцатилетним!) Но сейчас я был счастлив. На другом конце города меня ждали мои друзья. Пропустить такой день, как этот, было бы непростительно. Я пообещал, что буду не один.

Вода — тонкой струйкой — потянулась мне за шиворот. Я более решительно забрался под зонт своей спутницы, прижал её локоть к себе:

— Мы тут с друзьями по случаю праздника решили собраться. Пойдём, я тебя познакомлю. Отличные ребята, — и подумав, с гордостью добавил: — Все — художники!

Человек с японской собачкой

Мы жили в одном подъезде большого старого дома. Я на четвёртом этаже. Сосед, коренастый, уже немолодой человек с тонкими усиками-стрелочками, на втором. Мальчишкой, пролетая по лестничным маршам вниз, я едва ли не каждый день видел его, начищавшего на площадке обувь почти до неприличного блеска. И не важно, что это было: остроносые туфли-лодочки или солидные осенние башмаки, чёрные, рыжие или коричневые с подпалинами. Сосед выходил на площадку, одетый как на парад: в отглаженных брюках с девственными стрелочками, в белоснежной рубашке, всегда при галстукe. От него пахло хорошим одеколоном. Он чистил обувь по-всякому: выставляя ногу на ступеньку, согнувшись, размашисто и очень ловко нанося удары щёткой по коже; запустив руку в элегантный ботинок, отводя его подальше, а вернее, сам подаваясь назад, прищуривая глаза, точно перед ним стоял холст, а сам он был художником. Священнодействие продолжалось долго. Иногда я спускался с четвёртого этажа мимо занятого любимым делом соседа, шёл в булочную, стоял в очереди, возвращался, болтал с мальчишками во дворе, вновь забегал в подъезд. А сосед всё ещё наводил глянец на свои изысканные ботинки...

Мы здоровались. Я первым говорил: «Здрасьте», — сосед чинно отвечал: «Добрый день». Я знал его фамилию — Петровский.

Когда я подрос, то узнал, что коренастый человек был профессором, едва ли не изобретателем, одним словом — учёным. Его сын, Эдуард, был старше меня и учился в английской школе. Эдик слыл заносчивым молодым человеком и во дворе ни с кем дела не имел, за что его не любили и придумали ему некрасивое прозвище — одно из тех, с которым не справиться даже времени. Жена соседа работала главным врачом в местной поликлинике и пользовалась в доме большим уважением. Моложавая статная женщина, размеренная в движениях. Независимо от того, возвращалась ли она с работы или поливала цветы на балконе, она всегда держала голову высоко. Здоровалась она так, точно одаривала особой милостью, впрочем, благожелательной. В нашей семье её звали «Елиза-

вета» и никак иначе. Я очень редко видел эту семью вместе. Было такое ощущение, что отец, мать, сын — каждый живёт своей жизнью.

Главной достопримечательностью семьи профессора была японская собачка. Рыжая, низкорослая, плосконосая. Я однажды встретился с точной копией этой собачки на выставке японского искусства. Та была вышита золотыми нитями по шёлку — казалось, улучи момент, тронь её за нос, и она лизнёт твою ладонь, а может быть, тяпнет за палец... Никогда я не видел, чтобы собаку выгуливала соседка или их сын. Только сам сосед. Он важно выходил с ней из двора, она семенила впереди, под одним из кустов прилежавшего к дому лысого парка делала своё собачье дельце, а потом останавливалась и, чуть подавшись вперёд, смотрела куда-то. Смотрела подолгу, целиком оправдывая своё восточное происхождение.

И вместе с ней вдаль смотрел сосед...

Я вырос. Мы продолжали здороваться с Петровским, но никогда не разговаривали. Я до сих пор не знал, как соседа по имени-отчеству, и был уверен, что это взаимно.

Со временем я присмотрелся к нему. Несмотря на внешнюю крепость, было что-то в Петровском хрупкое, отстранённое ото всех и вся. Он напоминал большую китайскую вазу — дорогую, стоящую в углу. Эта ваза огромна, она внушает уважение, даже почтение, от одного взгляда на неё охватывает трепет. Но ты знаешь: лучше не играть рядом с этой вазой в мяч: от одного удара она запросто может гулко охнуть и расколоться... Я вообще не понимал, откуда в Петровском эта внешняя солидность, собранность в плечах, которую на первый взгляд можно было принять за сутулость. Наверное, именно так природа защитила его от уличных хулиганов. Встретьтесь вы с игуанодоном, этим несчастным доисторическим произведением искусства, обалдеете от страха, побежите без оглядки. А ведь он травоядный и сам вас испугается! Вот и с Петровским так же. Посмотрят на него хулиганы и ещё подумают, требовать кошелёк или нет. Главное, чтобы он не заговорил. А вот если раскроет рот, скажет ровным голосом: «Простите, как это вы сказали, кошелёк или жизнь? Позвольте...»

А потом я повзрослел. И однажды во дворе человек с японской собачкой спросил меня:

- Как у вас дела, молодой человек?
- Неплохо, — немного удивлённый, отозвался я.
- Учитесь?
- Да.
- И где же?
- В институте культуры на режиссуре.
- Очень интересно, — заметил сосед. — Высшее образование нужно иметь обязательно, — только сейчас я разглядел, что зубы Петров-

ского — и верхние, и нижние — были золотыми. — Без высшего образования сейчас никуда.

...Прошёл ещё год. И сосед, выгуливая собачку, становившуюся всё более медлительной, вновь спросил:

— Как у вас продвигаются дела, молодой человек?

Разговор повторился. Но неожиданно вышел на новую тему.

— Не женились? — спросил сосед.

— Нет пока, — ответил я.

— Правильно, — одобрил сосед. — Жениться раньше тридцати глупо. И обязательно нужно выбирать молодую жену, как минимум лет на десять моложе. Вот моя жена моложе меня на четырнадцать лет и три месяца.

Я понимающе кивнул.

— Всего наилучшего, — попрощался сосед.

Однажды моя мать поставила Петровского в пример моему отцу: «Посмотри, у Елизаветы муж совсем не пьёт». — «И что в этом хорошего? — ответил вопросом отец. — Может быть, у него язва?» — «У него не язва, — осведомлённо опровергла мать предположения отца. — Просто это потому, что он её любит и не хочет расстраивать. И ещё потому, что Петровский — интеллигентный человек». На что отец весьма решительно пожал плечами: «Значит, все приличные люди в России были неинтеллигентными людьми».

Нет, по этому вопросу согласия мои родители найти не могли.

Я вёл весьма разудалую жизнь. Институт культуры бросил. Писал статьи и репортажи для одной из городских газет. Поступил в университет на филфак. Слыл молодым талантом. В моём доме собирались фантастические компании. Один из друзей назвал мою квартиру «Римом». Что и говорить: все дороги вели в этот дом. У меня оставались до утра девушки: до того самого часа, пока дом не начинал медленно просыпаться. Я сумел убедить папу и маму, что это самые обыкновенные посиделки за полночь. (Чай, сухое вино, в крайнем случае — портвейн.) Родители, врачи-шестидесятники, старые добрые идеалисты, согласились с моим аргументом. Я сам этому долго не мог поверить, а потом привык.

После одной вечеринки с друзьями, проснувшись часов в девять, я вышел на улицу с единственным стремлением — купить бутылку пива. До киоска оставалось шагов десять, когда я нос к носу столкнулся с Петровским. Мы поздоровались, и Петровский сразу уставился на мои башмаки.

— А вот за обувью, молодой человек, необходимо следить каждый день. Обувь — это первый показатель интеллигентности. Помните, если ваши башмаки грязные и пыльные, в приличном обществе с вами и разговаривать не станут.

Я равнодушно кивал. Никогда ещё тонкие светлые щёточки над верхней губой соседа не вызывали у меня такого презрения, тем более — два ряда золотых зубов. Нет, мне совсем не было стыдно за мои башмаки. Очень хотелось пива. В голове сидела фраза: «Не учи жить, Мойдодыр, без тебя разберёмся».

— И ещё запомните, молодой человек, — наставительно проговорил сосед, когда я уже трогался с места, — что бы с вами ни случилось, даже добрый вечерок накануне, ваш внешний вид всегда должен быть на высоте.

И вот настал день, когда отец сказал маме и бабушке: «Кажется, наш сын взрослый, хоть и не любит работать. Правда, учиться он тоже не любит. Я не был счастлив, когда он поступил в этот странный институт на этот странный факультет, я говорю о клубной режиссуре, но бросать его было ещё более глупо. Хочет писать — пожалуйста, совмещай. Теперь университет. Но если уж оказался в таком серьёзном заведении, так надо учиться, а не протирать штаны в академических отпусках. Ему уже двадцать пять. Время, когда пора становиться самостоятельным. И потом, его посиделки с друзьями и подругами до утра мне порядком надоели, — мама внимательно смотрела на папу, ожидая самых решительных мер. Но случилось совсем уже непредсказуемое. — Нам стоит разменяться, — выдохнул отец. — И лучше это сделать раньше, чем он женится, — кажется, папа хотел сказать «на ком-нибудь», но сдержался. — Пусть лучше уменьшится жилплощадь, чем дом превратится в ад кромешный. До этого и так уже недалеко».

Мама неожиданно согласилась. Бабушка промолчала.

И начался размен. Долгая изнурительная процедура, связанная с подачей объявлений в газеты, со всеми этими невероятными сокращениями, для которых требовался как минимум профессиональный дешифровщик, походами в маклерские конторы, с осмотрами квартир по всему городу. С претензиями мамы насчёт «нашей хорошей квартиры» и других «плохих квартир». Или, наоборот, «таких хороших», рядом с которыми «наша квартира» выглядела весьма убого. С суетой, от которой наступало безразличие ко всему, даже к будущей свободной жизни. С вечно плохим настроением мамы и стоическим спокойствием папы. И выговорами бабушки, что не дадут в своей старой квартире, в доме, где она прожила полвека, помереть спокойно. И ещё со многим-многом другим.

Через год размен нашёлся. Маме, папе и бабушке доставалась двухкомнатная квартира в старом городе, мне — однокомнатная в отдалённом микрорайоне.

За день до отъезда я вышел из своего двора, где носился ещё мальчишкой, зацепил губами сигарету, закурил. Большая квартира неожиданно стала чужой. Тюки, чемоданы. Стопки книг. Одинокие шкафы.

Очень важная часть жизни уходила, и ничего уже с этим нельзя было поделать. Даже не верилось. Теперь одному только Богу было известно, что ожидало впереди моих родных и меня самого.

Я выстрелил бычком в кусты, когда увидел широкую серую тень, стоявшую недалеко у дерева. Присмотрелся: кажется, тень тоже смотрела на меня. Потом она двинулась в мою сторону, приобретая силуэт крепкого человека, пожилого, медлительного, шагнула в неяркий свет фонаря. Но прежде из темноты, семени, выкатился рыжий клубок. Как и всегда, японская собачка не обратила на меня никакого внимания. Даже не обнюхала моих брюк, как это делали другие собаки. Просто посмотрела через соседа, уже почти бывшего, и тут же потеряла ко мне всякий интерес.

— Добрый вечер, молодой человек, — вежливо проговорил интеллигентный сосед. — Слышал, вы меняетесь?

— Да, — нехотя ответил я.

Мне отчего-то было стыдно в этом признаться. Прожить семье в одном доме добрых пятьдесят лет — не шутка. Здесь выросла моя мать, умер дед, боевой подполковник, состарилась бабушка. Наконец, этот старый двор был первым моим миром, казавшимся огромным, необъятным.

— Собрались жениться? — понимающе спросил сосед.

Я пожал плечами:

— Да нет. Просто так.

И мне ещё больше стало стыдно: получалось, что по моей прихоти (а по чьей же ещё?) рассыпается семья. Может быть, я просто невероятный эгоист? Избалованный мальчишка? И таким останусь навсегда, даже когда поседею?

— А вы знаете, это правильно, — неожиданно одобрил меня сосед. — Молодым нужно жить отдельно, — он сделал кислую мину, покачал головой. — Плохо жить со стариками. Наш Эдуард, как только выдалась возможность, сразу сбежал. Но ему легче: у его жены маленькая квартирка в центре Москвы. Он ведь у нас нейрохирург, уже доцент, работает в столичной клинике при институте... А как ваша учёба, позвольте спросить?

«Господи, — подумал я, — начинается...»

И сказал:

— Ничего, потихоньку.

— На каком вы сейчас курсе?

Ещё один нелепый вопрос.

— Сейчас я в академическом отпуске.

Сосед неодобрительно откашлялся.

— Высшее образование необходимо, без него — никуда, — вынес он всё тот же приговор. — Ладно, моя профессорская кафедра. Эти кафедрды получают и полные бездары. Но если бы в своё время я не проявлял усердия в учёбе, разве бы я изобрёл свой снегоход?

— А вы изобрели снегоход?

— Да. Аналогов нет во всём мире. О нём писали многие западные журналы, — он вновь откашлялся, на этот раз куда более милостиво. — Вообще, у меня более ста изобретений. Если быть точным — сто три. Только при нашем бардаке в стране разве кому-нибудь нужны изобретатели? Вот и со снегоходом то же самое. Правда, у меня хотели его купить американцы. Профессор, мой коллега, Билл Джеферсон с Аляски, даже приезжал в Москву ради этого. Мы там с ним встречались, коньяк пили, Эдуард был с нами. Так вот, по поводу снегохода, я отказался. Хочу, чтобы моё творение осталось в России. Сын меня ругал последними словами, а я не сдался. На житей, слава Богу, хватает. Один архангельский завод взялся за мой проект. Вот теперь раз в два месяца катаюсь туда. Не знаю, что из этого получится, — он замолчал, следя за пасущейся рядом собачкой. И вдруг, точно вспомнив о чём-то необыкновенно важном, спросил: — Вы сегодня бокс смотрели?

— Бокс?

— Да, чемпионат мира? — глаза соседа как-то странно, лихорадочно заблестели. — Сегодня были тяжеловесы...

Я вспомнил, что два часа назад, когда переключал программы в поисках одного французского фильма из серии «интеллектуальных», наткнулся на двух здоровенных жлобов, месивших друг друга на ринге. Ещё отметил, что жлобы (негр и белый — классическое сочетание) были настоящими великанами, сам ринг — просто загляденье. Это для тех, у кого фантазия дальше полёта кулаков не идёт. Наверняка, престижный мордобой! Бокс я не любил, а французский кинематограф, наоборот, очень любил, и поэтому боксёры, едва появившись, сразу же были отправлены мною обратно — в сумрачную утробу телевизора.

На лице вопрошавшего соседа всё ещё была надежда, что его собеседник хотя бы чуть-чуть разделяет восторг от недавнего телевизионного зрелища.

— Так, краем глаза, — смущённо ответил я.

— Ну, что вы, — сочувственно протянул сосед, — это же были такие поединки! — и следом он назвал с десяток различных фамилий, не говоривших мне ровным счётом ничего, перечислил достоинства спортсменов, их вес (который можно было сравнить с весом племенных быков), вкратце пересказал «блестящие» биографии.

Я смотрел на говорившего взхлёб соседа, как на сумасшедшего.

— Значит, бокс вы не любите, — разочарованно проговорил сосед.

— Знаете, — постепенно приходя в себя, честно признался я, — не очень...

Я уже хотел было сказать соседу, что этот вид спорта — откровенное варварство, что сами боксёры — все, как один, травматикки. Много чего ещё я хотел наговорить этому странному и немного смешному человеку, но не успел.

— Как вы не правы, — покачал головой сосед. — Это же — искусство! Я вам это говорю как мастер спорта.

— Кто? — переспросил я.

— Я вам это говорю как мастер спорта по боксу, молодой человек. Бокс, это — великое искусство!

«Всё это — форменное издевательство, — думал я. — По-другому не скажешь...»

— А вы знаете, каким я был боксёром, о-го-го! — сосед неожиданно браво выпятил грудь. — Был такой популярный фильм — «Первая перчатка». Помните?

Конечно, я помнил этот фильм. В общих чертах. Как и многие другие старые ленты. Всё потому, что бабушка, начнишь по телевизору что-нибудь из её молодости, всегда сажала меня рядом. И комментировала, почти всегда предвосхищая события. Например, ещё в начале фильма она обязательно должна была кивнуть на отрицательного персонажа: «А этот-то — предателем окажется». Или: «А председатель-то её бросит».

Я кивнул: мол, не лыком шиты.

— А помните главного героя?

Ещё бы не помнить — воплощение мужественности тех лет! Я даже могу процитировать многозначительную фразу бабушки, брошенную с упоением во время одного из просмотров: «Переверзев, молодой ещё!» Подобный комментарий, впрочем, касался почти всех состарившихся, когда-то архипопулярных и любимых бабушкой актёров.

Я опять кивнул.

— А другого, — одобрительно и азартно продолжал сосед, — с кем он дрался на ринге, в заключительной сцене?

Тут я сдался:

— Не то чтобы очень...

— Так вот, Юрий Рогов — настоящий профессиональный боксёр. По тем временам — заметная фигура. Я встречался с ним на ринге в Ленинграде, в шестьдесят первом году. Выйграл он. Правда, без нокаутов, по очкам. Но многие эксперты считали, что я дрался не хуже.

На моих глазах всё тело «хрупкого» соседа наливалось силой, от этого ощущения невозможно было избавиться. И, в первую очередь, вся эта нежданно-негаданно явившаяся мощь сходилась в его крепко сбитых плечах, в этой профессиональной для драчунов в перчатках сутулости. Что ж, думал опешивший я, это по-английски: быть джентльменом с виду и иметь хорошие кулаки. Тем временем японская собачка остановилась у брючины хозяина, насторожилась, глядя в темноту ближних кустов.

— Да я и сейчас ещё в хорошей форме, — продолжал сосед. — Чуть что — сразу в лоб.

— То есть?

— Если вам встретится хулиган, что вы будете делать?

Вопрос был серьёзный: и впрямь, что буду делать? Я пожал плечами:

— Это всё зависит от хулигана. С одним можно подраться, а от другого лучше и убежать.

— А вот я без разговоров: апперкот — и в нокдаун. Под нижнюю челюсть, — просто пояснил сосед, стремительно выбросил кулак, и тот оказался ровнёхонько под моей челюстью. — Самый хороший удар. Запомните. Но применять только в крайних случаях. Челюсть вылетает сразу. Или лбом — в переносицу, — Петровский резко качнулся в мою сторону, и я едва успел отступить. — Опасный удар, ломает нос — запросто.

Я попытался поймать запах алкоголя. Наверное, Петровский вдрызг пьян. Потянул носом. Нет, спиртным от него не пахло. Кажется, сосед и впрямь был трезвенником.

— Помните, в начале перестройки кругом очереди были — за спиртным? — неожиданно спросил сосед.

— Помню, — отчего-то уже сконфуженно признался я.

— Вот было времечко, — лицо соседа повеселело, в глазах появилось что-то охотничье, точно он был волком, вышедшим на долгожданный заячий след. — Я, бывало, очередь займу, а сам к продавцу. И вот тут по-левому уже никто не пройдёт, а если кто решится, тому несдобровать. Как уж меня только люди не называли! Даже те, из очереди, которых я и пытался защитить. Говорили, старик, а настоящий бандит. Жена давно перестала со мной ходить, — с мальчишеской гордостью добавил он. — Говорит, гулять с хулиганом не буду. Ты, мол, только драк и ищешь, — и он усмехнулся, показав золотые зубы. — А что, я в свои-то семьдесят два могу за себя постоять! И не только за себя...

— А вам столько не дашь...

— Знаю, — просто ответил Петровский. — Дайте-ка мне вашу руку.

— Зачем? — осторожно спросил я.

— Дайте-дайте.

— Нет, не стоит.

— Давайте руку, говорю. Померимся силами.

— Я верю, вы — сильнее. Я же на ринг не выходил...

Но сосед, недолго думая, уже схватил мою руку... Я вспомнил, как лет восемь назад отдыхал на одной турбазе и там познакомился с компанией волейболистов. Один из них, Миша Краюшкин, верста коломёнская, говорил, что встретиться с его кулаком — то же самое, что встретиться с летящим навстречу локомотивом. Это была точно такая же рука, если не крепче...

— Сжимайте, — приказал сосед.

Я сжал.

— Сильнее... Ещё сильнее... Ну же... Нет, молодой человек, это никуда не годится. Никуда. Вам нужно брать эспандер и тренироваться.

Каждый день... Микки, ты ещё не спишь? — обратился он к собаке, тронув поводок.

Та подняла к нему голову, обратив к хозяину приплюснутую мордочку, и... ничего не ответила.

— А боксировать я стал ещё до войны, — проговорил сосед, — в Московском авиационном институте. Хороший учитель мне попался. Из дореволюционных стариков. Он как раз и был консультантом в том самом фильме, в «Первой перчатке». Да мне и на фронте бокс не раз помогал.

— Так вы... воевали? — я едва не сказал «ещё».

— Конечно. Я же говорил вам, мне сейчас семьдесят два. Как раз окончил первый курс института — а тут война. Ушёл рядовым, под Берлином был уже капитаном. Там меня и ранило — осколочным. До сих пор шрам — через обе лопатки. Врачи думали, не выживу — выжил. В институт вернулся с орденом Красной Звезды. Уже через два года был мастером спорта по боксу. И кандидатом по лёгкой атлетике. Потом в своём же институте вёл секцию бокса. А когда его окончил, меня отправили в Самару — на авиационный завод. В конструкторское бюро. Тут я и женился... Елизавета, — едва он произнёс это имя, глаза его потеплели, — моя жена, как только увидела меня, сразу влюбилась. Я был мужиком что надо! — он похвалился — вновь по-мальчишески — и улыбнулся чему-то, что собеседника его совсем не касалось. — А вы, молодой человек, ещё не женились?

— Нет, — отозвался я.

— И не торопитесь. А жену обязательно выбирайте моложе себя лет на десять. А то и побольше. Мне было тридцать четыре, Лизавете — двадцать. Самое то. И мой вам совет: бросайте курить. Зачем вам это нужно? Одышка, закупорка сосудов. Зубы желтеют...

И он улыбнулся мне двумя рядами золотых зубов.

— Мне-то все на ринге повыбивали, — в заключение сказал он. — А когда-то у меня были превосходные зубы!.. Микки, идём домой. Доброй ночи!

Что же случилось? Да, собственно, ничего. Фарфоровая ваза на самом деле оказалась из дамасской стали. Просто искусно расписана красками, добротна покрыта лазурью. Цинично? Может быть. Зато верно.

А на следующий день моя семья уехала из этого дома. Бросила старую большую квартиру. Но я никак не мог привыкнуть к своему новому жилищу. Спальный микрорайон на краю города, похожий на лабиринт. По ночам — сумрачный, затаившийся, где то и дело бранятся собаки, вышедшие с хозяевами на прогулку. И если там гуляет ветер, вдруг пришедший с Волги, то сразу превращает каждого пешехода в маленький парусник, раздувая одежду, полоща всё — до самого крохот-

ного лоскутка. Того и гляди, унесёт. А если сорвёт кепку — то за ней не угнаться. И каждый Божий день я ездил через весь город к своим, на обед или ужин. И мне казалось странным, что они — там, а я — здесь. И как это можно: прожить день и не увидеть свою мать, отца, старенькую бабушку, которая после первой ложки сваренного ею супа непременно ждёт от тебя похвалы.

Прошло года два, может быть, чуть больше. Я не появлялся в своём старом доме. Он почему-то стал для меня чужим. А мать всё ездила туда — к подругам, а потом возвращалась и была печальной, расстроенной, хотя и тщательно скрывала это. Я понимал, что ничем не могу помочь ей. И рад был бы повернуть время вспять, да поздно...

На новой квартире редко собирались мои друзья. Это уже был не Рим, куда ведут все дороги, — окраина империи. Приезжая в город, я однажды увидел его другим. Понял, что совсем не знал его. Что этот город жил уже за столетия до меня, моего рождения. Я точно шагнул в другое измерение. И вот это была настоящая тема.

— Я вчера была в нашем доме, — как-то за обедом сказала мать. — У Петровских собачка умерла, эта их, японская, — Петровский, японская собачка: тени из прошлой жизни! — Старенькая уже была, — пояснила мать. — Хотели взять точно такую же. А потом передумали. Трудно с животными расставаться...

Университет меня тяготил. Я увяз в академических отпусках. Мне вдруг стало скучно учить те предметы, которые были обречены на забвение сразу после очередной сессии. Зато во всех газетах для меня были открыты двери. Я больше не писал репортажи, но слыл даровитым публицистом. Меня увлекали исторические вехи края — земли, на которой я вырос. За каждым старым особняком некогда купеческого русского города я старался увидеть его обитателей, строивших этот город. Дворяне, купцы, архитекторы и художники. Чьи имена создавали его историю. Я уже всерьёз задумывался о книге, где смог бы проложить для своего читателя увлекательный путь — назад через столетия.

Членам семьи, вдруг неожиданно постаревшим, оставалось только следить за тем, как очередное увлечение поглощает их сына и внука, — «непутёвого», как однажды сказал отец.

Череда событий, важных и незначительных, проходила мимо, радостью или печалью касалась нашу разлетевшуюся по разным квартирам семью. И среди этих событий неожиданно прозвучало ещё одно.

— А ты знаешь, что у Петровских несчастье? — так же за обедом, когда я пришёл в гости к своим, спросила мать.

Я сразу представил профессора-боксёра — невысокого, но могучего старика с усиками-стрелками, в начищенных до блеска башмаках. Семьдесят пять (или сколько там?) лет — это не мало. Тем более в

стране, где мужчины в среднем не доживают и до шестидесяти. Мне было откровенно жаль его. Очень жаль...

Я вопросительно посмотрел на мать.

— Елизавета Константиновна умерла, — первый раз она назвала её по имени-отчеству. — Сердце, — мать покачала головой. — Каково теперь её мужу? Эдик с женой в Москве, — вздохнула. — Однажды она мне сказала, что первые несколько лет после их свадьбы её муж каждый раз, возвращаясь с работы, приносил ей цветы. И только потом, когда она повзрослела, взяла дом в свои руки, запретила ему это делать. Чтобы деньги зря не тратил. Последнее слово всегда оставалось за ней... Теперь он совсем один. Даже их японской собачки больше нет.

Полгода спустя, осенью, я проезжал на трамвае мимо своего дома. Решил выйти, побродить по окрестностям, зайти к друзьям детства. Я уже шёл вдоль дома, приближаясь к арке, когда оттуда вышел грузный, но крепкий старик. Впереди него семенила низкорослая японская собачка — ещё подросток, настоящее вислоухое солнышко. Они остановились недалеко, как обычно, у первых деревьев парка — в двадцати шагах от дома. Я пригляделся: на старике был с иголочки костюм, не самой последней моды, но тем не менее; в его начищенных башмаках, как в лужах, сверкало осеннее солнце.

Сбавив шаг, я полез за сигаретами и зажигалкой. Закурил. Хотел подойти, но передумал. Зачем? Заветов Петровского я не выполнил: жил, не расписавшись, со сверстницей; один институт бросил, другой не окончил. А вот курить, напротив, продолжал. Постоянной работы не имел: жил на гонорары от разных изданий. И даже ничего не изобрёл. А рассказывать старому боксёру о будущей книге, которая ещё неизвестно когда напишется, вряд ли имело смысл. Я опустил голову, взглянул на ботинки. Сегодня утром я протирал их мокрой тряпкой, но сейчас они выглядели пыльными, неухоженными... Да и Петровский вряд ли захотел бы мне что-нибудь рассказать, тем более посоветовать.

Я уже твёрдо решил пройти мимо, но остановился... Японская собачка натянула поводок чуть влево, хозяин неспешно шагнул за ней. И тут рыжий клубок обернулся — на того подозрительного типа, что растерянно врос в землю у стены дома. (И глаз не мог отвести от симпатичного четвероногого существа). Я подумал, что сейчас она тявкнет, хозяин обернётся и увидит меня. И тогда случится то, чему лучше не быть. Я не понимал почему, просто чувствовал это. Но собака не тявкнула. Забыв о случайном пешеходе, она уже смотрела в сторону остановки — так же внимательно, как и её предшественница. Там подходили трамваи, из них высыпали люди. Другие занимали их места. Туда же смотрел её хозяин, ссутулившийся, ставший, казалось, ниже ростом...

И я завернул за угол — мне в другую сторону...

Праздник

Путешествие через весь город на трамвае — занятие скучное. Особенно, если город большой, а трамвай едет медленно. И ещё делает остановки и стоит у светофоров. Лениво поют рельсы. За окном — осень, утро. Не какое-нибудь — праздничное. Только здесь, у чёрта на куличках, вдали от главной площади города, где, наверное, уже сходятся колонны демонстрантов, этого не видно. В микрорайонах, по которым ползёт мой трамвай, всё сито, буднично.

Несмотря на всё моё отрицательное отношение к отмирающей идеологии, люблю демонстрации. Первомайскую и ноябрьскую. Это карнавал (и если бы я не был уморён бессонной ночью, проведённой в больнице с отцом, то обязательно поставил бы в конце этого слова восклицательный знак). Конечно, здесь не танцуют самбу полуголые мулатки с кокошниками из павлиньих перьев. Но зато ты встречаешься с людьми, которых не видел тысячу лет, пьёшь водку из пластмассовых стаканчиков в сплочённых рядах прямо посередине улицы — на трамвайной линии (попробуй такое сделать в будний день), открываешь новые компании, знакомишься с милыми дамами, попадаешь в чьи-то дома, где опять пьёшь водку, портвейн и пиво, не страшись последствий...

Я вхожу во двор около девяти утра, уставший, разбитый, готовый плюнуть на всё, особенно на праздник, и завалиться спать, когда слышу:
— Дмитрий Валентиныч!

Оборачиваюсь. Это — Виктор...

Имя «Виктор» произносится с ударением на втором слоге — на французский манер, и никак по-другому. Виктор подходит ко мне среди утонувшего в осени двора, его клёнов и тополей.

Плохо знающие этого человека считают его чудачком. Хорошо знавшие — сумасшедшим. Те, кто пытается его понять, — как минимум героем романа. Фамилия у Виктора — «Ставраонский». Он говорит, что принадлежит к старинному польскому роду и не захудалых шляхтичей, а самых настоящих князей, и родовой замок его предков до сих пор стоит где-то под Краковом. Всю жизнь Виктор работает на заводе радиомехаником и неудержимо пьёт. Глаза его лихорадочно блестят, отенок кожи — коричнево-оливковый. Когда он ведёт диалог, то окаты-

вает вас целым фонтаном слюны. Походка Виктора неподражаема: он весь точно на шарнирах и походит на одну из тех кукол, которыми руководит невидимый режиссёр, отчаянно дёргая их за нити. Одевается Виктор не то чтобы небрежно — просто в обноски. Курит «Беломор», по две пачки в день, и пальцы его всегда коричневые от табака. Раз в год он появляется во дворе с обручальным кольцом и фантастической историей о женитьбе на красавице-латышке. (Во всём прибалтийском по старым временам сквозит особый шарм.) Приходя к Виктору в гости, можно нарваться на бойкий вопрос в лоб: «Видел сейчас блондинку, длинноногая такая?» На хозяине рваные тапки, трико с коленями, подметающими пол, майка в десяти местах прожжена окурками. Отвечаешь: «Нет». Виктор разочарованно цокает языком, снисходительно говорит: «От меня».

Ставронский — младший ребёнок в семье. Его отец, лётчик-испытатель, погиб за день до рождения сына. Самый старший брат — московская шишка, генерал-лейтенант, особо важная персона в Министерстве вооружённых дел. Это на самом деле. Сестра — ничем не примечательная женщина. Выгуливает каждый день безродную лохматую собачку в нашем дворе. Младший — Виктор... Его поездки в Москву к брату — особая статья. Он приезжает из столицы важный, не подступиться. Повеса, герой, супермен. Особенно памятна история с иностранками. В первом акте этой трагикомедии участвуют: сам Виктор, сын его брата — «племяш» и две «хорошенькие» (и, конечно, «молоденькие») англичанки. Знакомство в ЦУМе. Несколько слов «по-аглички». Тачка. Хата, между прочим трёхкомнатная, и на Арбате — собственность «племяша». Виски, джин. И «по койкам». Рассказ Виктора сопровождается множеством нецензурных выражений. По этой причине адюльтер можно опустить. Куда интереснее второй акт, а именно — утро. На сцену выходят очень колоритные фигуры политической арены недавнего времени. Из телефонного разговора генерал узнаёт, что его ближайшие родственники провели ночь не одни. Всё бы ничего, но беззаботный «племяш» проговаривается: он упоминает, что девушки были подданными чужой страны, причём страны капиталистической (а соответственно принадлежавшей не к Варшавскому договору, но к НАТО). «И вот тут, ты, слушай, — Виктор неожиданно матерится, затем начинает хохотать, в очередной раз окатывая собеседника слюной, взвизгивая, всхлипывая, заикаясь, — и вот тут начинается полный атас! Через полчаса слышим под окнами — тормоза. Влетает брат. «Виктор, — говорит он мне, — ты же старший. О чём ты думал? Ты же знаешь, какое у меня положение, какой у меня чин... А что скажет Иван Иванович?» (Иван Иванович Селевёрстов — особо легендарная личность. Обойти эту фигуру в повествовании никак нельзя. Я видел его на фотографии в погонах генерал-полковника рядом с братом Виктора. По версии последнего, Селевёрстов и его брат женаты на род-

ных сёстрах. И ещё, генерал Селевёрстов — правая рука премьер-министра Рыжкова. Не раз Виктор с гордостью рассказывал, как генерал Селевёрстов заставлял его ползать по гостиной брата по-пластунски, зажимать зубами два конца проволоки и обещал присвоить ему чин младшего лейтенанта. С не меньшей гордостью Виктор рассказывал и о том, как генерал Селевёрстов пил водку. Он мог на спор употребить пол-литра из пивной кружки, а потом пройтись по краю ковра. «И хоть бы хрен, — добавлял Виктор. — А лицо у него — пунцовое»). Виктор продолжает: «Так вот, брат говорит: «А что скажет Иван Иванович? Ты как хочешь, но я должен его поставить в известность». И тут же звонит. Я думаю: «Ё-моё, началось!» Через полчаса двери выносит Селевёрстов. И прямо с порога: «Витька, хрен моржовый!» По столу, знаешь, бьёт прямо кулаком. «Подлец ты такой-растакой. Тайны государственные выдаёшь?! А что скажет Николай Иванович, если узнает? — «Какой Николай Иванович?» — спрашивает неискушённый слушатель. «Как какой? — хитро улыбаясь, добывая бычок и подёргивая коленом, говорит Виктор, но на этот раз не спуская глаз с наивного собеседника. — Рыжков!» — Я буду звонить. И звонит. Через час — на пороге сам Николай Иванович. «Витька, — говорит он, — под трибунал пойдёшь, сукин сын...» «Мамочки, — думаю я, — звездец мне».

У Виктора были многочисленные прозвища — «Адмирал», «Генеральный секретарь» или просто «Генсек», «Партайгеноссе». Последнее ему особенно нравилось...

Я не видел Виктора уже недели две.

— Знаешь, откуда я приехал? — спрашивает он.

— Нет, — отвечаю я.

— Из Николаева.

— А что ты делал в Николаеве?

Виктор загадочно улыбается, показывая жёлтые зубы; подёргивает коленом:

— А как вы думаете, Дмитрий Валентинович?

— Без понятия.

— Командировка. Срочная. Меня послал завод... Подводная лодка.

— Что — подводная лодка?

В разговоре с Виктором существует главное правило игры: ничему не удивляться. Не спорить. Принимать всё, сказанное им, «де-факто».

— Я её ремонтировал.

— В Николаеве не нашлось никого, кто смог бы починить подводную лодку? — отступая от правил игры, спрашиваю я. — Понадобилось выписывать человека из Самары?

На лице Виктора некоторое изумление: этот вопрос застигает его врасплох. Но он тут же находится:

— Я должен был чинить тот агрегат, который выпускает наш завод.

— А какой агрегат выпускает ваш завод? — допытываюсь я.

Виктор опять в замешательстве. Но недолго:

— Это связано с радиоаппаратурой.

Виктор знает, что я ничего не смыслю в радиоаппаратуре и поэтому, обрадованный своей находке, успокаивается.

— Ну и как, успешно?

— Да, — чётко отвечает Виктор. — Обещали премию. Директор завода обещал. Я, говорит, тебя повышу в должности, Ставро́нский.

— И какую должность он тебе обещал? — наверное, я просто изверг.

Лицо Виктора темнеет, он в недоумении.

— Зам. начальника цеха.

— Молодец, — говорю я. — Так держать.

— Ладно, Дмитрий Валентинович, я к сестре, — поспешно говорит Виктор, напоследок орошая меня слюной, наверное, в отместку за лишние вопросы, — зайду к тебе вечером.

«Отлично, — думаю я, — это будет настоящий подарок всей семье».

Вслух говорю:

— Валяй. Только будь трезвым.

— Буду, — звучит как клятва.

И Виктор спешит в другой подъезд.

Через пятнадцать минут, едва переборов себя, чтобы не завалиться спать, наспех перехватив яичницу и две чашки крепкого кофе (всё очень оперативно приготовлено бабушкой, пока я бреюсь), хлопаю дверью...

Выхожу из двора: улицы почти пусты, редкие пешеходы спешат по Красноармейской — туда, где медленно, по-черепашьи, продвигается в сторону главной площади города вооружённый транспарантами людской поток.

Улицу выстилают рваные воздушные шарики, пёстрые бумажки, флажки.

Шагаю вперёд — людская река приближается, колыхнется впереди меня. Но не двигается с места: что-то впереди мешает ей. Я уже различаю лица...

Небо над городом кажется огромным...

Останавливаясь, я нечаянно вспоминаю сегодняшнее утро...

...Я стою на парадном больницы — у парапета. Вокруг меня осень — поздняя, но всё ещё ясная, без холодов; листва на деревьях больничного парка угасает, но неторопливо; хочется обо всём забыть, отыскать в городе одну, свою, скамейку, и, задрав голову, смотреть на обрывки синего неба. И не вспоминать ни о чём. Рука машинально ныряет в карман пальто. Последние два часа я только и ждал этого. Цепляю губами сигарету, встряхиваю коробок, ловлю пальцами спичку; чиркнув — громко, прикуриваю; затягиваюсь — жадно, глубоко. И выдыхаю — почти сладко, с облегчением... Эти восемь дней мне здорово хочется напиток-

ся, но я не могу себе этого позволить, а сигареты выручают. И здорово выручают... Как всё просто: здесь, совсем рядом, на больничной койке лежит мой отец. Он не может произнести ни слова, потому что парализован. И хотя, как говорят врачи, дело идёт на поправку, никому не известно, что останется от человека, который привык быть сильным.

Я смотрю на часы — восемь утра. Десять минут назад меня сменила мать. Ночь осталась позади, а вместе с ней — палата на шесть человек; спёртый воздух — от запаха лекарств и дыхания чужих людей; узкая самодельная раскладушка.

Потом — аллея, ведущая вдоль больничных корпусов. Трамвайная остановка. Путешествие на другой конец города — домой. До девяти вечера я предоставлен самому себе...

...Протискиваюсь через запруду. Иду вдоль тротуара, озираясь, ищу строительный институт. Там меня ждёт закадычный друг — Геннадий Палыч...

— Познакомься, — говорит Геннадий Палыч, — это — Марина, — белокурая пышка, весьма аппетитная, правда, немного крупновата и очень много косметики, — это — Катя, — брюнетка, нос с аристократической горбинкой, длинный плащ расстёгнут, худощава, длиннонога, — и Эля, — маленькая, удачно слепленная, вся в тёртом-перетёртом, но очень добротном коттоне: джинсы в обтяжку, рубашка свободная, рыжая кожаная куртка; русые волосы — короткая стрижка. «Это — мое», — думаю я. — С Эдиком и Вадимом ты знаком, — я пожимаю руки однокурсникам Геннадия Палыча. — А это — Владимир.

Я пожимаю руку и Владимиру. На его шее намотан белый шарф — наверное, франт. Когда выдаётся момент, я спрашиваю у друга:

— Эля — свободна?

Геннадий Палыч пожимает плечами:

— Кажется, да.

Мы идём на набережную.

Я подстраиваюсь к своей избраннице. Но ещё не уверен точно, одна ли она. Проверить нетрудно. Один вскользь заданный девушке вопрос — и мы уже втянуты в разговор, который сопровождается вежливым выуживанием сведений друг о друге. Своего рода игра. И в этой игре помогают классики. Нам обоим нравится Набоков, правда, разные романы: ей — «Машенька», мне — «Пнин». Я беру Элю за руку — за кончики пальцев. Она улыбается. Эля из тех маленьких женщин, которых хочется трогать, брать на руки, целовать. Просто-напросто не отпускать. Она миниатюрна, изящна. Похожа на девочку, но оформившуюся на зависть любой женщине. Её серые глаза могут быть серьёзными и очень весёлыми...

Мы — на набережной. Занимаем одну из последних пустых лавок. Волга — свинцовая, противоположный берег серый, пустынный. Здесь

же, на этой стороне, гуляния во всю Ивановскую. Гармонь, то и дело пускающая фальшивые ноты, удачно соревнуется с песнями группы «АББА».

Водка, купленная по талонам, исчезает со сверхъестественной быстротой. Очень скоро я не замечаю никого вокруг. Эля удобно расположилась на моих коленях. Пока я держу её только за талию. Она сжимает мои руки. Иногда оборачивается ко мне. Я уже люблю её глаза, её губы. Кто-то из компании уходит и опять возвращается. Появляется портвейн.

Потом я всех приглашаю к себе домой...

У Дома актёра мы с Элей отстаём. Целуемся около дерева — долго, так долго, что действие почти превращается в секс. Нам обоим это очень нравится. Мы продолжаем занятие, пока за нами не возвращается Геннадий Палыч.

— Знаете что, Дмитрий Валентиныч, — говорит он, — постыдились бы...

Он идёт впереди нас шагов на десять.

— А почему Гена зовёт тебя Дмитрием Валентиновичем? — спрашивает Эля.

— Наверное, потому, что я зову его Геннадием Павловичем, — отвечаю я.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать четыре.

— А мне двадцать три.

Я не могу скрыть удивления. На вид ей не больше девятнадцати. Да какое там — всего шестнадцать. Впрочем всё сходится. Тут тебе и её глаза — взрослой женщины, и Набоков...

Мы опять останавливаемся и целуемся. Как говорится в народе, взасос. В эти минуты кажется, что лучше нашего поцелуя со мной никогда и ничего не было на свете. И может быть, не будет.

...Нас ждут на полпути — у продовольственного магазина. Компания усмехается, потягивает лимонад...

Мы опять отстаём, до моего дома — меньше двух кварталов. Вот и старый доходный дом купца Чельшева — шестиэтажный, кирпичный, протяжённостью в целый квартал.

И тут я вспоминаю события недельной давности. Другой конец города. Утро. Больница. Мы выходим с матерью из такси. Мы не спали всю ночь: первый раз отец не пришёл домой. Идём через коридоры. Мне кажется, что всё происходит с кем-то — не со мной. Ещё одни двери с рифлёными матовыми стёклами. Ещё один коридор. Перед последними дверями у меня кружится голова. Я боюсь идти дальше. Говорю нелепость: «Может, я подожду тебя здесь?» Кажется, мать меня

не понимает. «А если сегодня ты видишь отца в последний раз?» Она врач, сильная женщина. Господи, а я, наверное, тряпка! Или я никогда не терял близких людей? Хочется засунуть голову в песок, спрятаться... «Его нашли на перекрёстке улиц Красноармейской и Садовой», — через минуту говорит медсестра моей матери. Я стою рядом с каталкой — на ней лежит отец, обросший щетиной с проседью, лежит неподвижно. Он смотрит в потолок, его глаза пусты. «Ваш муж лежал у самого тротуара, — объясняет медсестра. — Вначале подумали, что пьяный. Милиция. А потом вызвали скорую. Говорить он не мог. Мы по губам едва разобрали ваш домашний адрес... Да, с ним был портфель и сумка, в ней осталось несколько яблок».

Конечно, яблоки: отец собирался зайти на рынок.

Держа Элю за руку, я оглядываюсь. Отец сходит с трамвая, прихрамывая, — старая травма — переходит улицу... Я представляю себе его — огромного и такого беспомощного — здесь; отца объезжают машины, обходят люди; рядом — две сумки; и яблоки в осенней грязи лежат у водостока...

...Челышевский дом остаётся позади, вырастает мой. Это — целый айсберг, исполин.

— Здесь я родился и вырос, — сообщаю я.

— Здорово, — откликается Эля.

— Этот дом построили немцы в тысяча девятьсот сорок восьмом году. Сталинское барокко. Признан единственным историческим архитектурным памятником той эпохи, — уточняю: — В нашем городе. Назван Офицерским.

— Я же говорю — здорово, — с пониманием кивает она.

Наконец мы входим во двор. Эля держит меня за руку.

— Первый подъезд налево, — сообщаю я всем, — четвёртый этаж.

Мы дружно поднимаемся. Я открываю дверь, пропускаю всю команду в свою комнату. Гости озираются с трепетом. Моя обитель — вопль андеграунда. Вызов социалистическим канонам в оформлении интерьера. В соседстве с гипсовым бюстом Юпитера и печатной машинкой «Любава» здесь поднимаются до самого потолка две колонны пустых пластмассовых ящиков — из-под «Жигулёвского» пива. А в этом доме потолки более трёх метров! Одна колонна красная, другая — чёрная. В середине — шведская стенка. Мол, пиво пей, но о спорте не забывай...

Я заглядываю в комнату к бабушке, говорю:

— У меня гости.

Бабушка отрывается от газеты, смотрит на меня из-под очков и, не произнося ни слова, опять погружается в чтение.

...На моей постели спят вповалку два героя — Эдик и Вадим. Владимир, который так и не захотел расстаться с белым шарфом, смотрит на меня осоловелыми глазами. Кати, с аристократической горбинкой на носу, нет. Она исчезла. На столе — недопитая водка.

Захожу на кухню. В середине — на табурете — сидит Геннадий Палыч. На его коленях — Марина, она обнажена по пояс. Её молочного-белая грудь в плену у моего друга. Их движения замедлены. Оба меня не видят. Геннадий Палыч — потому что сидит ко мне спиной, Марина — потому что её глаза закрыты. «Здесь не хватает только моей бабушки», — проносится у меня в голове, но я об этом почти тотчас же забываю.

В моей руке — рука Эли. Она послушно идёт за мной в ванную комнату.

— А бабушка? — говорит она, закрывая за нами дверь.

— Бабушка за нас будет рада, — уверенно отвечаю я.

Усаживаюсь на край ванны, но меня уже тянет назад — к кафелю, в водоворот из чугуна, покрытого белой эмалью, с жёлтой дорожкой ржавчины. Рука моя скользит. Эля тянет меня на себя, спасает от падения.

— Тише, ты так разобьёшься, — говорит она.

— Ни в коем случае, — отвечаю я.

И уже тащу рубашку из её джинсов, туго стянутых ремешком.

— Подожди, — говорит она, — нужно расстегнуть ремень...

Пытаюсь расстегнуть ремень. Но у меня это не получается. Она целует меня. Я продолжаю попытки, но тут сознание меня оставляет...

Просыпаюсь в своей комнате. То, что я вижу, чудовищно: всё неузнаваемо. В центре комнаты, на ковре, гора битого стекла. Нет, это не образно. Буквально — гора из битого стекла вырастает в середине ковра. Не тарелки и не кружки — осколки от бутылок: «чебурашек», белых — из-под водки, тёмно-зелёных от портвейна. Горлышки, донышки. И пепел, много пепла...

Я не верю своим глазам. И сразу вспоминаю: площадь, Геннадий Палыч, гости, набережная, назойливая гармонь и «АББА»; женские руки, Эля...

Никого.

Встаю и, покачиваясь, выхожу в коридор. Далее — на кухню. Там — дымовая завеса. В середине кухни стоит Виктор, напротив него моя бабушка. Меня они не замечают. Виктор что-то говорит. Лицо его серьёзно, в глазах муть. Что там муть — глаза Виктора почти слепы. Он курит свой «Беломор» и выдыхает дым в лицо собеседнице. Бабушка слушает Виктора. Она слушает его так внимательно, точно он поверяет ей государственную тайну. Впрочем это не исключено. Дым разбивается о лицо бабушки, ползёт по её бровям, поднимается к потолку.

А Виктор всё говорит. И я не понимаю ни слова из этого загадочного речитатива...

Проходит несколько минут, прежде чем бабушка замечает меня. И уже вслед за ней на мне останавливается невидящий взгляд Виктора.

— Опаньки, — выдыхает он, — а это кто? — но уже очень скоро лицо его расцветает. — А-а, Дмитрий Валентиныч, приветствую вас...

Как я узнаю потом от Геннадия Палыча, гора битого стекла на моём ковре — заслуга Виктора. Первым делом, как только пришёл, он выпил весь портвейн. И водку. И оттого очень развеселился. Никого не слушая, он жонглировал бутылками — и ни разу ни одной не поймал. Потом он встал и решил позвонить своей сестре. Предусмотрительный Геннадий Палыч не отставал от него ни на шаг. В коридоре, у тумбочки, Виктор поднял телефонную трубку, покачнулся и, не удержавшись на ногах, угодил головой в бабушкину дверь. Распахнув её беспощадным ударом настежь, ввалился в комнату. Он лежал на ковре неподвижно, зажав в руке трубку и пуская слюни; Геннадий Палыч стоял над ним, вцепившись в телефонный аппарат, который успел вовремя подхватить. И не мог выговорить ни слова, даже извиниться. Опустив газету, бабушка посмотрела на них обоих, потом спросила: «Это Витька, что ли?» Выпуская трубку из рук, Виктор поднялся и вышел. И направился не куда-нибудь, но опять в мою комнату. И снова — звон методично бьющегося стекла...

Чудачества Виктора на этом не закончились.

В квартире туалет и ванную объединяет маленький предбанничек. Далее свидетельствует бабушка.

К концу торжества она осторожно выходит из своей комнаты, открывает дверь в предбанничек и видит, как пошатываясь, то и дело упираясь головой в косяк, Виктор прудит точно на стену. Бабушка не сразу понимает, что происходит, а потом с искренним изумлением спрашивает: «Витя, что ты делаешь?!» Продолжая своё занятие, пытаясь быть убедительным, Виктор роняет жизнеутверждающую фразу, позже ставшую крылатой: «Так праздник же!» И вновь въезжает головой в стену, продолжая начатое.

Далее — чёрная дыра. Для всех участников. Пространство и время исчезают...

— Тебе к отцу не пора? — отходя от Виктора, усердно слюнявившего окурки «Беломора», «добывающего питулю», спрашивает бабушка. — Только уберись сначала в комнате. И давай-ка Витьку забирай. Уводи его. Он пьяный давно. Чёрт-те что тут несёт — про подводную лодку.

— Про подводную лодку, — повторяю я. И тут же киваю. — Точно — ему обещали премию и повышение.

— Шеф, — говорит Виктор, — я выхожу.

И он выходит. Его четвёртый микрорайон — один из центральных районов города, самых уважаемых — светится неоновым. Однажды Виктор поддался настояниям сестры и, оставив её семью двухкомнатную квартиру в нашем доме — квартиру их матери, переехал в однокомнатную. Как сказал один из наших приятелей: «В таком районе так загадить хату надо было постараться». Что скрывать, мы помогали Виктору «загаживать» его жилплощадь. Года два, а то и три новая берлога «партайгеноссе» была «штаб-квартирой» нашей компании. Это были настоящие Великие Дионисии. Выражение, относящееся к пиву, «сто берём — тридцать льём (в смысле — мимо)», — стало расхожим. В нём была удача и гусарская расточительность. Остроумец Лёша Матвеев говорил, что ковёр Виктора можно нарезать на мелкие кусочки и продавать как спиртовой концентрат.

...Просыпаюсь около парадного больницы. Кругом — ночь. Нет, это мне так кажется в первую минуту. На самом деле вечер, просто сейчас осень — темнеет рано.

Расплачиваюсь, выхожу из машины. Окна больничного корпуса горят, видны занавески...

Вхожу. Слева — раздевалка. В холодной прихожей, холле, вдоль стен стоят кресла — точь-в-точь как в кинотеатре, только совсем обданные. На одной из стен — два телефонных аппарата. Открываю ещё одни двери. Вот он, больничный коридор, здесь — тепло. Врачи и медсёстры. Больные — в дурацких пижамах и домашних халатах. Запах лекарств.

Палата...

— Я тебя уже ждалась, — поднимаясь со стула, разглядывая моё лицо, наверное, помятое, говорит мать.

Здесь — тесно. Кроме отца, ещё пятеро человек. Все — старики. И у двух из них сегодня посетители: у одного бабушка, у второго дочь. Она называет свою развалину — высохшую, жалкую, с пустыми глазами — «папой». Мне хочется плакать. И кругом — по всей палате — банки, бульоны, фрукты.

— Как он? — спрашиваю я, глядя на укрытого одеялом, лежащего неподвижно отца.

— Ничего, — отвечает мать, — сегодня он попробовал улыбнуться... Ты привёз, что бабушка приготовила?

— Да.

Она рассказывает мне об уколах, которые делали отцу за день, о лекарствах, которые ему давали. В углу стоит самодельная раскладушка. В собранном виде. У моего дяди часто болела тёща, он сделал эту раскладушку на заводе. В своём роде — произведение искусства. Узкая, чтобы умещалась в проходе между койками. И моя тётя, попере-

менно с дочерьми, ночевала на ней. Теперь на этой раскладушке сплю я, точнее, пытаюсь спать...

Мать уезжает домой. «Как она с ним управляется, не представляю», — думаю я. Отец по сравнению с ней — настоящий великан. В шестидесятом году, рассказывала мать, когда они поступили в медицинский, он был самым высоким на всём потоке.

Голова отца высоко лежит на подушке. Он дремлет. Или спит. Я только что напоил его из столовой ложки компотом, сваренным бабушкой, хотя в этих обстоятельствах «напоил» звучит слишком громко.

Находиться в палате невыносимо.

В моей пачке две сигареты. Нет, уже одна: предпоследняя тает в пальцах. Я стою на лестнице у чёрного входа, заваленного стульями, и смотрю в разбитое окошко. Там, за этими зубчатыми осколками, засыпает город. Скоро полночь.

Слоняюсь по больничным коридорам...

В тёмном холле стоит фигура вождя — в человеческий рост, из гипса. Вождь выкрашен в чёрный цвет. Правая рука отбита, держится только на арматуре. Я подхожу в темноте к стражу-инвалиду. Оглядываясь (нет ли свидетелей моей фамильярности), осторожно протягиваю руку, беру его длань — огромную, холодную, неживую. Рука качается. Есть во всём этом что-то невероятное, фантастическое. Полное абсурда, смешного и горького одновременно. Отпускаю руку, отхожу.

Стенды, чахлый фикус в кадке...

Сажусь на стул в тёмном холле и закрываю глаза. Одна сигарета — на всю ночь. Я знаю, когда выкурю её. Под утро. Или когда меня сменит мать, и я выйду на парадный больницы.

Там будет осень, новый день...

Алмазная скала

Алёне

Однажды на землю пришёл прекрасный месяц август. И мы со старым приятелем, как это случалось каждое лето, приехали отдыхать на турбазу с ласковым названием, от которого веяло пряным, терпким привкусом летних трав и цветов. Скорее, это был даже не приезд, а возвращение. В первый же день после обеда он застрял в бильярдной, по своему обыкновению, а я отправился к озеру...

Она сидела на скамейке в открытом белом платье, совсем коротком, вытянув вперёд загорелые ноги, распустив по круглым плечам тёмные волосы, прогнувшись естественно и нежно. Подперев голову рукой с цветными пластмассовыми кольцами на запястье, она смотрела на воду.

Через минуту я знал её имя...

Наверное, это и можно было назвать счастливым кругом. Заливаясь горячими слезами, мы выпорхнули на белый свет в одном роддоме, с той лишь разницей, что я проделал это на шесть лет раньше. Учились в одной школе. Всю эту жизнь мы ходили рядом: в одни и те же кинотеатры и на дискотеку — в городской парк. Стоило ей выбраться из очередного кафе, как там появлялся я; на концертах, кажется, наши места были через одно; мы предпочитали одни и те же блюда; одно и то же вино. Она любила те книги, о которых я ещё не успел забыть. Мы прожили в нашем городе всю жизнь, ничего не зная друг о друге. Встречали людей, называли их близкими, потом с ними расставались. Грустили, плакали, радовались, но всегда надеялись, что это случится.

Мне было двадцать пять, ей — девятнадцать. Чем не пара? Мы не стали дожидаться условных сроков. Зачем? Хватило первого взгляда. Она отправила двух подружек, с которыми отдыхала в «Лугах», на дискотеку; мы заперлись в её домике... Она была прекрасной женщиной: не от большого опыта — по наитию, от желания отдать себя целиком неожиданно-негаданно встретившемуся ей любимому...

Прошло две недели, нам пора было уезжать. И тут администрация турбазы предложила отдыхающим остаться ещё на пару дней. За дополнительную плату, разумеется. Об этом торжественно объявили в столо-

вой во время прощального обеда. Так, блажь: заезд-то последний. Осень на носу. Есть смельчаки? Да, есть. Я, мой приятель и ещё десятка полтора романтиков. А вот она и её подружки отказались. Для них всё было уже решено. За одной из девушек приезжал отец, большой начальник, на личной чёрной «Волге». Родители ждут не дождутся. Я был не против: счастливый круг на самом деле замыкался как нельзя успешнее. И мне предоставлялось время почти в полном одиночестве осмыслить наконец свалившуюся на мою голову благодать. А через два дня, когда по дорожкам турбазы уже не летний ветер будет перегонять редкие, раньше других пожелтевшие и опавшие листья, я уеду в город. Дальнейшее мы расписали буквально по часам. Я знал, что приму ванну, выплещусь, а вечером... открою своей гостье дверь. У нас намечался торжественный ужин — она грозилась устроить мне настоящее пиршество — а потом всё будет точно так же, как было в эти пролетевшие здесь полмесяца...

И, возможно, продлится долго.

Всю жизнь?

Если бы меня спросили об этом, я бы решился сразу: не усомнился бы ни на минуту.

...Завёлся автомобиль, на пыльной крыше его ожили два скрюченных ореховых листа. Рука Лены потянулась к дверце, она взялась за ручку — мутное зеркальце с полоской неба, отдёрнула пальцы, обернулась. Её глаза смотрели терпеливо, но улыбка торопила. Я потянулся к ней — неловко, стесняясь темнеющего силуэта водителя в салоне... Подружки хихикали. Обыкновенная женская зависть.

Устроившись на заднем сиденье, она махала мне рукой через стекло, пока на повороте машину не захлестнул кустарник...

Точно волны, мы разбиваемся у подножия вечности. У алмазной скалы. Самой грозной из всех скал. Самой крепкой. Миллионы, мы грозно накатываем, штурмуя её, и разбиваемся в пену. В мельчайшие, сверкающие на солнце брызги. А потом нам приходят на смену другие волны. А мы — забыты. Нас больше нет. Так было и так будет всегда.

Но даже зная наперёд, чем всё закончится, не остановимся. Мы желаем одного — разрушить твердь, преодолеть её, проникнуть, просочиться, узнать. Однажды поймав чью-то руку, почувствовав её тепло, мы не хотим с ним расстаться, не верим, что такое возможно. Однажды взяв это тепло себе, присвоив его с нежностью, согревшись им, в нём искупавшись, пропитав им всё своё существо, мы не желаем отпустить его, думая, что теперь оно с нами — навсегда.

Алмазная скала — каждому живущему на земле столкнуться с ней. Подножие вечности, у которой все волны превращаются в прозрачную пыль...

Ежегодно мы приезжали на одну и ту же турбазу неподалёку от села Царевщина. Здесь летних городков было с излишком. Но оставаться едва ли не одним — среди наступающей осени — нам раньше не приходилось. После шумного трёхмесячного пиршества перемена во всё была слишком разительна. пляж, непривычно голый, казался брошенным. Ещё вчера я так хотел одинокого неба, желтеющих крон под торопливыми облаками, тишины и покоя. Не прошло и часа, как я понял, что ошибся. Всё это было мне не нужно. И я не понимал — почему. А знакомый пейзаж по ходу нашей прогулки менялся, открываясь по-новому. Во всё было неожиданное одиночество. В синей волнообразной полосе Жигулей на той стороне Волги; в спокойных, с лёгкой рябью, ухвативших по куску ускользающего неба озёрах; в извилистой дороге, ведущей к побережью; в дугообразном мостике над протокой, даже в гравии (сейчас — сером, но ослепительно белом в солнечные дни); в нитях камышей, и дальше: в густом серебристом осиннике, гудевшем, — стоило добраться до него, оказаться в ветреные дни под его крышей — что есть мочи...

Воздух остывал.

Мы всё чаще замедляли шаг, брели наобум, пока я не остановился у облезлого, криво вкопанного в песок турника. У самой дорожки. По окрасу, под стать ему были качели, чья скамеечка потеряла одну из трёх досок — Бог знает когда... Сидя на крайней доске, каждый день здесь раскачивалась девочка лет десяти с глянцевой кожей цвета какао, с копной расчёсанных пшеничных волос, в красных трусиках с белой бабочкой на бедре. Казалось, для неё ничего и никого не существовало, даже редких купальщиков и их отважных детей, визжавших тут же, неподалёку, в брызгах озёрной пены. Медленно качаясь, она наблюдала с завидным вниманием одну и ту же картину: как пальчики её вытянутой ступни оставляют на песке зигзагообразные волны. Как-то я проходил мимо, и она подняла голову. Я остановился и посмотрел в глаза переростка-Дюймовочки — наверное, слишком внимательно. Нахмурив брови, она опустила ресницы; её нога поднялась и тут же неуклюже ткнулась в песок. Я зашагал прочь...

Качели пустовали. Хозяйки их, созерцавшей изменчивость песка, не было. пляж, покрытый холодными барханами, спал. Озеро — с толикой изменчивого неба — казалось холодным.

Где-то уже недалеко притаился вечер. И ещё немного, и он готов будет залить серебро дальних осин — целых лесных массивов — алым светом. Облака тянулись, ползли прочь за синие перевалы гор. Многое уходило за ними, и я теперь жалел, что сегодня утром поддался настоянию своего приятеля, заядлого бильярдиста, продлить путёвки.

Странное чувство преследовало меня: опустошения, тоски и вдруг открывшегося обмана...

Она любила мои руки. Лена говорила, что они — нежные, послушные, понятливые. Признавалась, что если могла бы, то воспела бы их. Посвятила бы им стихотворение. Очень красивое. Но её слова и были лучшим стихотворением. Их могло превзойти только другое поэтическое произведение — губы Лены. Там, в этих лесах, куда мы уходили с ней после завтрака, — уходили с казёнными одеялами и снедью, купленной в турбазном павильончике, — она могла целовать мои пальцы и ладони часами. Пока я говорил, что-то рассказывал. Ей нравилось меня слушать. В этих поцелуях не было ничего порочного, излишне открытого, просто желание узнать меня: на ощупь, всего; почувствовать, ощутить всё тепло, которое было во мне, которым я делился с ней... Но то же происходило и со мной. Я точно так же изучал её. И подспорьем в этом служило бесконечное разнообразие прикосновений — руками, коленями, языком. Вокруг не было никого. Разве что комары. Я хорошо знал здешние места, тайные тропки, ведущие на крохотные зелёные островки, окружённые озёрами и болотцами. Там можно было укрыться, не боясь, что тебя нечаянно обнаружат. Зато над головой, если опрокинуться навзничь, обязательно раскинув руки, текли летние облака и шумели осины. Здесь они росли кругом. Везде слышался их сбивчивый шёпот, их шелест...

Из четырёх одеял мы выстлали целый ковёр. Он служил нам постелью, столом, это был наш маленький дом, шатёр, наша колыбель. Мы учились любить друг друга в этой колыбели, забыв обо всех других, когда-то принимавших нас. Их не существовало. И не должно было существовать никогда. Я знал, что кожа Лены — шёлк, какого не было ни у одной из самых прекрасных и нежных принцесс, когда-либо живших на земле. А линия её тела (что начинается где-то в волосах, в этом душистом водопаде, мягко касается брови, рисует подбородок, неторопливо бежит через плечо и ключицу, туго очерчивает грудь, делает нежный овал на животе, круто перетекает из талии в бедро и уходит к колену и дальше — к ступне) совершенна, и ни один художник не запечатлеет этого, ни одна фотография не сможет сохранить её движение. Только я смогу понять её, постичь, с трепетом и любовью раствориться в ней... И в тысячах других её линий, о которых, возможно, не подозревала она сама и которые так отчётливо были видны мне.

Однажды она прихватила на один из наших островков книгу. Она читала её, лёжа на животе, подняв ноги так, что передо мной были её ступни, розовые, с прилипшими к ним золотыми песчинками. Волосы Лены были переброшены через одно плечо. Я видел её щеку, ушную раковину. Её лопатки и плечи иногда приходили в движение, когда она перелистывала страницу или сдувала лёгкую прядь; пятки время от времени беззаботно натыкались друг на друга, попадая в неровную солнечную полосу, вырывавшуюся из листвы и бегущую по земле. Наконец Лена обернулась и, встретив мой взгляд, улыбнулась мне. «Как

это хорошо, что в моих руках нет кисти или карандаша, — думал я, когда она продолжала чтение, — что вовсе не они цель моей жизни. Иначе бы я умер от ярости и собственного бессилия или сошёл с ума...» Вся живопись, пришедшая из прошлого, всё разнообразие красок, когда-либо найденных, открытых самыми великими мастерами, не смогли бы стать для неё сетью, поймать её, наполнить доверху. Она была тем сосудом, который мог вместить в себя весь мир без остатка.

Не иначе...

...Мы прошатались до темноты. Скоро хриплый голос в динамиках, развешенных по всей турбазе, оповестил оставшихся об ужине.

После незатейливой трапезы приятель мой остался, как и всегда, в бильярдной, где был признан королём, и не один год подряд. К его несчастью, настоящие противники сегодня уехали, остались жалкие дилетанты. Я же, посидев на берегу, у чёрной воды, на той самой лавочке, где двумя неделями раньше встретил Лену, направился к своему домику. Дорога к нему вела через недавнее Ленино обиталище, покинутое тремя хозяйками так недавно. Пройти мимо я не смог, да и не хотел этого делать. Я уселся за столик у их веранды... Но и здесь всё оказалось по-другому, не так, как хотелось мне. Вокруг была пустота. Вот когда явилась расплата за две безмятежные, счастливо прожитые недели.

Уже поздний вечер. Я с удивлением рассматриваю веранду, освещённую прожектором. Он — местное светило, с темнотой принимающее у солнца эстафету. Конкурент Луне и не из слабого десятка. Каждый раз, когда я провожал Лену домой, мы выныривали из темноты в его широкое световое поле. Свет разливается по веранде, вызолотив четыре её столбика, подпирающие крышу; пробирается в самые дальние углы, даже до коварной паутины. Её хозяйина, сейчас — спрятавшегося, я, когда пребывал в хорошем расположении духа, подкармливал древесными гусеницами. Разбросав тени, свет прожектора застыл в литровой банке из под клубничного компота — его вкус, кажется, ещё у меня на языке — выхватил несколько прищепок на обвислой верёвке, где в солнечные дни сушились три купальника; он даже дотянулся до самодельного веника, лежащего на полу веранды... А вот веник этот — чужой. Он появился сегодня, когда матрацы, простыни, негреющие одеяла, мутный официальный графин, ведёрко и прочие казённые предметы перекочевали на складскую. Покинув домик, они превратили жилище в запустелое, необетованное. Но дверь закрыта, и мне кажется, что там внутри просто легли спать — чуть раньше, без чаепитий, бесед за полночь, ночных гуляний. И если я сейчас встану и постучусь, то несомненно услышу шуршание и возню, скрип пружин. А потом на мой голос, наскоро запахнув коротенький халат, приставив к губам палец, выйдет она...

Я ощущаю утрату. Чувствую её так близко, как вчера ночью осязал своим плечом — плечо Лены. Когда она, в джинсах и тёплом бордовом свитере, прильнула ко мне. И молчание не угнетало нас. Наоборот. Хватало того, что она держала меня за руку... Эта утрата — почти физическая боль. Она рядом, я хочу понять её. Но не могу этого сделать, и неумение раздражает и злит меня. Так ползут минуты. Я закрываю глаза, плотно сжимаю веки, и только тогда, из темноты, появляется светлый абрис; он наливается ярким светом, обретает плоть; это — лицо; позади него — пляж, полоса озера, растянутый на столбах невод волейбольной сетки. Там, на песке, мы касаемся друг друга носами; зажмуривая один глаз, я вижу прозрачный пух на загорелой щеке Лены; различаю каждый волосок — мягкий, послушный. Лена чуть подаётся назад, улыбаясь, прищуривает глаза. «А я думала, что у тебя ресницы длинные, — тихо, почти шёпотом, говорит она. — Оказывается, нет...» Да, всё было именно так. Тёплый песок, заползающий куда ему вздумается. Сплюсненные носы. Подвижная шелковистая гусеница — бровь моей девушки. Голос Лены и запах абрикосов: её тёплое дыхание на моих губах...

Открываю глаза — вокруг меня ночь. С соседней турбазы слышны басы. Наверное, там дискотека. Для поварих и грузчиков. Но это — далеко. Почти на другом конце света...

Свежесть, её так много, что можно захлебнуться, потерять сознание...

Желание курить поднимает меня со скамейки. Домик мой — через один, но с другой стороны дорожки. Беру новую пачку, усаживаюсь на своей веранде — на облезлый стул. Веранда Лены, попавшая в свет прожектора, хорошо видна мне — я с волнением рассматриваю её из крошечной темноты. Около домика любимой множество теней. Я с волнением раскуриваю сигарету. Ветер шевелит деревья, кусты, и оттого всё наполнено едва уловимым движением. Но сами стволы — неподвижны, и незыблемы бегущие к моему домику по асфальтовой дорожке их чёрные тени... Вихрь воспоминаний закручивает меня с новой силой, я не могу найти опору, и вдруг оказываюсь там, где, наверное, и должен был оказаться рано или поздно. Вчерашняя ночь... Я подглядывал за Леной из темноты. Как и сейчас, сидел на том же облезлом стуле. Точно на сцене, мне открывались четыре золотых столбика. А Лена — она стояла в центре своей веранды. К тому времени мы уже попрощались. Я даже потушил сигарету, чтобы Лена не заметила меня, не открыла моего шпионства. Её волосы, днём — тёмные, золотились в огне прожектора. Опёршись ладонями о перила, она смотрела вверх. Там были обрывки ночного неба. Что же она увидела? Какое из созвездий? Её подбородок был высоко поднят. Горели золотым шаром волосы. И ночной ветер шевелил этот невесомый шар. Лицо — профиль — было предельно точным рисунком. Хотя что она могла увидеть из-за этого прожектора?.. И всё-таки мне показалось, что в эти минуты она жила здесь и — где-то очень далеко. За много веков до нашего. И я случайно увидел эту

связь, понял её. Может быть, сама Лена не могла понять, что сейчас с ней происходит. Что она ищет. Что хочет увидеть. Но я обо всём знал наверняка! Мне даже показалось, что она встала на цыпочки. Ей хотелось лучше рассмотреть нечто, что вот-вот может открыться ей. Я был уверен: сейчас она протянет руку, и на ладонь её упадёт звезда... Но она стояла без движения. Не двигался и я, затаившись, боясь пропустить хотя бы одно мгновение вдруг случившейся картины. В эти минуты я уже не думал о времени. То ли оно остановилось, то ли его не было вовсе... Потом Лена разом обмякла — внезапно; опустив голову, она повернулась, открыла дверь и... веранда опустела.

Вот она — утрата: я потерял девушку, наблюдавшую за ночным небосводом. И эта же утрата — обман. Лучшее мгновение жизни осталось воспоминанием... Я всё ещё вижу Лену — она стоит у меня перед глазами, но на самом деле её нет. Веранда пуста...

Я катапультирую окурки в ближайшие кусты и встаю со стула, — он с грохотом отодвигается, открывая дверь в свой домик. И меня сразу же обволакивает комнатная духота...

Почему всё случается так, а не иначе?

Целый год мы встречались, выслушивая всяческие намёки от родителей о будущей женитьбе. И от друзей, желавших погулять на свадьбе. Что было потом?... Я упросил Лену заказать для торжества роскошную мини-юбку. То, что сверху, тоже было «мини». Она оказалась под фатой почти нагишом. Лена была волшебной бабочкой, ангелом. Мы танцевали — одни в середине залы. Лена была белым пером, дрожащим на моей ладони. В неё влюбились все, кто был на этом представлении. А кто не влюбился бы, тот перестал бы для меня существовать. Только родители Лены взяли и обиделись на меня. Но моя мать была рада, потому что считала: если у женщины красивая фигура, то нечего её прятать. Тем более — на собственной свадьбе: пусть позавидуют жениху.

Иногда у нас были очень счастливые дни. Этого счастья хватило бы на многих. Но мы бы никогда не поделились им. Ни единой каплей. Всё это было — наше. Когда-нибудь, уходя насовсем, если это действительно должно было случиться с нами, расставаясь со всем, что было дорого или ненавистно, стоит иметь в памяти такие дни...

...Я выхожу из домика с полотенцем через плечо, спускаюсь по ступеням, сворачиваю по дорожке — в темноту. Свежесть, грохот далёкой музыки. Листья тянутся ко мне из этой темноты, касаются лица. Я пригибаюсь и уже впереди вижу свет. Это — лампочка над шестью умывальниками, там обязательно кружится мошкара и поджидают меня комары... Вот я и на месте. Окатываю себя ледяной водой из-под крана. Это — блаженство. Вокруг ночь. Тишина. Только пение комара,

лихорадочно рыщущего в поисках аэродрома. Кажется, он выбирает моё плечо. Точно. Жало уже занесено, но я успеваю положить мыло и замахнуться. Хлопок — комар улетает. Надолго ли...

Почему всё случается так, а не иначе...

Мы выросли. Лена из милой девчонки стала прекрасной женщиной. Я заметил это в тот день, когда увидел на улице даму, выпорхнувшую из такси. Быстро, на шпильках, она шагала под зонтом к подъезду, лил сумасшедший дождь. Я просто не сразу узнал её...

Может быть, кому-то удаётся просочиться через алмазную скалу, за которой вечность? Не разбиться, не пропасть. Я много прочёл романов и знаю, что такое случается. Сколько имён, прекрасных имён... Но где же моё имя, её?

Однажды Лена спросила: «Ты меня любишь по-прежнему?» — «Да, — ответил я. — Но почему ты спрашиваешь?» Она в ответ только пожалала плечами. Я вспомнил, как очень давно, летом, мы шли по старому городскому бульвару, денег оставалось на одно мороженое; Лена кусала эскимо и через раз передавала его мне — из губ в губы. Это ли было не счастьем?..

Только, что ни говори, а шесть пролетевших лет — тоже не шутка.

Вначале я всё реже вспоминал девушку, стоявшую на веранде, смотрящую в ночное небо. (За все эти годы я так и не спросил Лену, что она видела там, наверху, какая звезда должна была упасть в её ладонь. Может быть, я боялся неожиданного ответа: что не было никакой звезды и в помине?) Потом все линии и краски, из которых была создана Лена, потускнели. Но только для меня. Для других, наверное, всё это было ещё большей загадкой, свежестью, волшебством! Ко мне же приходила уверенность, что, будь я художником, возьми карандаш, в двух штрихах смог бы нарисовать её... Вспоминая свою жизнь, мне кажется, я вспоминаю жизнь малознакомых мне людей. Так, документальная киноплёнка, и чем дальше, тем больше она покрыта трещинами, надломами. Тем больше в ней неясностей, пустот. Тёмных пятен. Чёрных дыр. И разглядывая тот или иной сюжет, я уже мало что понимаю. Кто это был там — очень далеко, за тридевять земель, на другой планете — я или нет? И была ли она? А если была, то, встретить я на улице её, узнаю ли? Или пройду мимо, ничего не вспомнив...

...Отхожу от умывальника, куда уже потянулась вся комариная рать, иду по тропинке обратно, ныряю в ту же темноту. Я размышляю о том, как мы встретимся в городе... Я выплюсь, приму ванну. А потом открою Лене дверь. Она собиралась устроить мне настоящий пир; а ещё — отпроситься у мамы в этот день на ночь. Даже придумала фантастический предлог: кажется, поездку с курсом на загородное мероприятие. И это — среди недели?!

Выбираюсь из кустов, подхожу к нашему домику. А может быть, думаю я, бросить эту турбазу и уехать завтра же утром? Тогда на целые сутки раньше я смогу увидеть Лену. Держать её в руках — загорелую, гибкую, с двумя молочными ленточками — вдоль бёдер и груди; буду вдыхать аромат неизвестных мне духов в её тёмных, рассыпающихся волосах; буду целовать её мягкие ладони, брать губами мочки ушей с крохотными дырочками для серёжек, которые она непременно снимала, прежде чем обнимать меня...

Шура, Лефон и затонувший «Титаник»

Торели золотом старые шторы: за ними был июль. Часы показывали шесть утра. В железную дверь моей квартиры методично лупили кулаком или ногой. Дверь ожесточённо вибрировала. Нетрудно было догадаться, что сейчас вместе со мной просыпается весь подъезд...

Разлепив глаза, я лежал и думал, во-первых: «Кому я мог понадобиться в воскресенье — ни свет ни заря, именно сейчас, когда голова гудит, как вечеровой колокол, когда нет сил, а главное, желания жить?» И во-вторых, но уже с философским спокойствием: «Почему же я так и не поставил звонок, как обещал соседям по площадке вот уже пять лет?»

И не успел я всё это додумать, как на улице, под самым окном, выкрикнули моё имя. Причём дверь выносили с прежней настойчивостью.

— Дима! — требовательно вопил знакомый голос. — Димо-он!

Так меня звали только старинные друзья — друзья детства. Вчерашний день медленно всплывал в памяти...

...Футбольный матч обещал быть историческим. Избранные представители мужской половины редакции намеревались убить субботний вечер с особым удовольствием.

Компания на стадионе собралась небольшая, но из самых верных единомышленников. Водки было много, закуски — значительно меньше. Солнце было готово растопить поле и трибуны. Веселье нарастало, как снежный ком. Снабженец Миша, бывший спортсмен, великан (настоящий Гаргантюа), каждые несколько минут поднимался над гудевшими трибунами и громовым голосом кричал: «Кто сказал, что «Крылья» в жопе?! «Крылья» — лучший клуб в Европе!»

Я помнил, что в конце первого тайма спросил, какой счёт. Помнил, как в конце второго поинтересовался, кто с кем играет. Всё, что было потом, — крайне туманно...

Пропал большой Миша, куда-то исчез редактор Геннадий Палыч. Откуда-то скатилась темнота. С Костиком Латыфичем, корреспондентом, мы заблудились в одном из отдалённых районов города — безо всякой надежды на счастливое возвращение домой, в центр. Ещё я помнил, как звонили общим приятельницам — даже тем, которым звонить не следовало — но ото всех получили отворот-поворот. Видно, наши голоса не внушали доверие.

Потом потерялся и Костик...

Было далеко за полночь, когда я подошёл к своему дому. Серый айсберг, укрытый синевой летней ночи. Старый сталинский дом. Патриархальный великан.

Едва пройдя ворота, я крикнул:

— Шура!

Из другого конца двора услышал зычное:

— О-гоо!..

Ответ крайне меня обрадовал и ещё более — удивил...

Проходя через двор, — целое футбольное поле, каковым оно и было для нас, мальчишек, летом, в школьные годы, а зимой превращалось в каток, — я прибавил шагу...

...С самых ранних лет Шура, Саня Терещенко, был отчаянным задирой и не боялся давать отпор тем, кто был старше. Синяки и разбитый нос его не пугали. В двенадцать лет Шуру увезли родители в другой район города. Прославился Шура двумя эпизодами из своей биографии. Тем, что в детстве, благодаря своей тёте, хористке, выступал на сцене театра оперы и балета — в «Князе Игоре», в массовке, изображая русское дитя, полонённое злыми хазарами. И ещё тем, что в пятнадцать лет упал с шестого этажа, сломал обе руки, ногу, бесчисленное количество рёбер, заработал компрессионный перелом позвоночника и множество колотых ран о ветви дерева (кстати, спасшего ему жизнь). Через год люди говорили, что видели, как у одной из окраинных пивных, загорелый, довольный жизнью, Шура добросовестно дубасил какого-то мужика канистрой по голове. Иначе говоря, оправился. Вернулся он в их старый двор в возрасте двадцати двух лет, успев жениться, «сделать» девочку и развестись, затем вступить во второй брак и «сделать» мальчика. Вернулся невысоким крепышом, могучим, широкоплечим, с огромными кулаками. Сварщиком-докой. За что Лефон, наш общий друг, прозвал его «Электродом». Вернулся в бабушкину квартиру. Остепенившись, Шура по-прежнему оставался натурой крайне противоречивой. В трезвости это был душевный, трогательнейший человек. В подпитии он отдавал предпочтение таким выражениям, как, например: «Дать в бубен» — или «Репу расшибу — моментально!» Сын, Егорка, боготворил своего отца. Шура был одним из немногих друзей детства, с кем я поддерживал, и с удовольствием, самые тёплые отношения...

...Шура сидел на лавке вместе со своей суженой, Ириной. У обоих было кислое выражение лица: Шура был крепко поддатым, супруга — крайне раздражена этим фактом.

— Водчанского бы сейчас, — посмотрев на меня, меланхолично сказал Шура.

— Ага, — не глядя на мужа, откликнулась Ирина, — весь день — «водчанский». У тебя уже от него язык не шевелится.

Поднявшись с лавки, сухо бросив мне: «Пока», — и мужу: «Чтоб через десять минут был дома, понял?» — удалилась.

— Пошла ты... — грустно послал вслед ей Шура. И тут же продолжил мысль: — Слушай, Димон, у меня ведь лодка утонула. Приезжаем с Лефоном на стоянку — одна верёвка торчит. Завтра поедем доставать, — он немного подумал. — Поехали вместе — там и вмажем как следует. А потом раков наловим — ведро. У меня пива попью.

— Поедем, — легко согласился я.

Минут через пять мы расстались...

...И вот, лёжа на постели, не в силах оторвать голову от подушки, я услышал это громкоголосое: «Димон!..» — «Итак, — подумал я, — Шура был отправлен для грубой работы — барабанить в дверь. Лефон выбрал для себя не менее эксцентричный, но более лёгкий путь: немножко погорлопанить в старом дворе, сидя на капоте своего очередного автомобиля». Что мне было делать? Я твёрдо решил притвориться спящим. Глухая бабушка-кошатница, выгуливающая двух пугливых животных с утра пораньше под самым окном моего первого этажа, сказала: «Кричите громче: он ничего не слышит».

— Ну, он и спать, подлец! — ещё через минуту говорил Лефон выходящему на улицу Шуре. — Давай-ка, лезь к нему в окно.

Прищурив один глаз, я увидел за шторой тень и ещё не успел испугаться, как здоровенный сук пролез в форточку, отодвинул штору — и за решёткой показалась голова Шуры.

— Точно, спит, — громко сказал Шура приятелю и глухой бабушке.

— Будите, будите его, — настаивала бабушка, охотно принимая в экзекуции соседа самое непосредственное участие. — Вон утро-то какое, гуляй — не хочу!

В следующую минуту Шура гаркнул в форточку так, что в моём серванте зазвенела посуда. «Ещё один такой вопль, — подумал я, — и весь двор будет настаивать на моём немедленном пробуждении». Его мне и пришлось разыграть, скрепя сердце.

Приоткрыв один глаз, я спросил:

— Шура, ты? — точно только что распахнул дверь и увидел его стоящим на пороге.

— Ты не забыл — нам лодку доставать? — спросила через решётку голова Шуры.

Ещё через минуту я отпирал входную дверь. Заверить приятеля с порога, что сегодня я — «пас», не представлялось никакой возможности.

— Да-а, — посмотрев на моё лицо, сочувственно протянул Шура, — тебе на свежий воздух надо. На речку. Здесь ты околеешь, точно. А на речке товарищ «водчанский» будет, колбаса.

— Не хочу «товарища водчанского», — честно признался я. — Не могу.

— А нужно, — убедительно сказал Шура. — Через полчаса станешь человеком... Собирайся.

Кое-как одевшись, я с тяжёлым сердцем выходил из подъезда...

Сидя на капоте «баньки» — старого зелёного «Форда», Лефон, как всегда, подтянутый, назидательно указал пальцем на решётку кухонного окна, в середине которой, ржавой, красовались рыжеватые серп и молот.

— Ты бы хоть эмблему покрасил: я для чего тебе их ковал? — и тут же, улыбнувшись по обыкновению до ушей, развёл руками: — Ну, наконец-то!

На самом деле его звали Игорем Ласточкиным. Откуда взялось прозвище, ставшее знаменитым в окрестностях, ответить не мог даже сам Лефон.

Это был особенный человек — во всех отношениях. В двенадцать лет Лефон купил за восемь рублей поломанный мопед и уже через неделю продал его за сорок. Практичность в нём сочеталась с крайней бесшабашностью. С юности он был меломаном и хипарём, знал наизусть рок-оперу «Иисус Христос — Супер Старр» и весь тогдашний хард-рок. Ещё он был отчаянным кутилой и сравнительно безобидным хулиганом. Однажды в нетрезвом виде он сорвал со стены почтовый ящик. Впоследствии он так говорил об этом: «В состоянии алкогольного, — беззаботно делая ударение на первой «а», — в состоянии алкогольного опьянения я совершил чудовищный акт вандализма». Лефон был повесой. Девушки влюблялись в него с первого взгляда, но им приходилось добиваться его самим. В силу природной скромности он предоставлял это право им. Две его поклонницы (одна из них — будущая жена) устроили из-за Лефона, у него же дома, дуэль. Он курил (очень дорогие по тем временам) сигареты «Сент-Морис», с сочувствием наблюдая со стороны за потасовкой. Рассказывал он об увиденном им действе коротко: «Не скрою, эта сцена меня заинтриговала и даже более того — тронула, но... — он поднимал указательный палец вверх, — ...я очень беспокоился за бабушкину посуду». Возмужав, Лефон стал заядлым автомобилистом. О количестве побывавших на его заднем сиденье дам он, владевший метафорой, говорил так: «Представь себе: открываешь заднюю дверцу, вдыхаешь, — он сладко втягивал воздух носом, — и у тебя сразу триппер». Ему фатально везло. Он впутывался во всевозможные авантюры и всегда выходил сухим из воды. Денег никогда не жалел, особенно на друзей. Встреча с ним сулила либо

страшную пьянку, либо настоящее приключение. Или — и то, и другое разом. Впрочем он мог пообещать устроить праздник завтра, а появиться через полгода. На него никто никогда не обижался. Ещё Лефон был лодочником-фанатом, рыбаком-асом. Лето напролёт он катался по Волге на своём двухмоторном «Прогрессе». И время от времени таскал из далёких заводов щук. Или, изрядно набравшись в компании девиц, стягивал плавки и показывал не понравившимся ему пляжникам зад. И вот однажды, на свою голову, подбил купить лодку и Шуру...

— Ты знаешь, за сколько Электрод купил свою лодку? — кивая на Шуру, говорил Лефон, когда мы втроём выезжали из двора. — Мне даже говорить страшно, — он мельком посмотрел на сидящего рядом приятеля. — За эти деньги, экономя, она просто обязана была утонуть!

...Дом, шестизэтажный айсберг со звездой на шпиле, остался позади. Ещё пять-шесть кварталов, и «Форд» катил вниз, мимо старых хибар, в сторону Самарки.

В деревянной кибитке с вывеской «Продукты», затесавшейся между разбросанных по округе стареньких домиков и садов, Лефон купил на свои деньги три бутылки «Пшеничной», буханку горячего ржаного хлеба и два круга ливерной колбасы.

Скоро зелёный «Форд» скатился к лодочной станции. Оставив автомобиль под присмотром местного сторожа, шагая по мосткам к катеру Лефона, мы обнаружили увязавшегося за нами рыжего щенка. Через пару минут мы были в катере, щенок же, оступившись, барахтался в воде.

— Собака должна уметь выживать, — со знанием дела сказал Лефон.

У него были все основания не жаловать собак. Как-то он принёс в дом щенка боксёра. Назвал его Томом, но внимания ему не уделял. Пес вырос под присмотром жены Игоря — Татьяны, крайне не любившей длительные отлучки мужа, после которых тот возвращался в потерянном состоянии. Таинственным образом овладев искусством дрессировки (на зависть любому кинологу), она научила боксёра, к тому времени здоровенного псину, бросаться на хозяина, когда тот был нетрезв. А нетрезв хозяин был часто. Показывая мне шрамы, Лефон с горечью говорил: «Сам принёс эту сволочь! Сам! И что теперь? Домой страшно зайти. Нет, ну как они спелись с моей стервой, а? Ужас!»

Щенок барахтался в воде, я уже собрался идти его спасать, но Шуре эта затея не понравилась. Наверное, в роли спасателя я выглядел сомнительно. Сказав: «Сиди», — он выбрался из катера. Быстро добрался до утопающего, ловко поймал его и, поставив на четыре лапы, мокрого и жалкого, дал ему лёгкого пендаля — тем самым направив щенка в сторону берега.

Солнце начинало припекать. Устроившись на горячих дощатых скамейках катера, уговорив первую бутылку и закусив, мы с облегчением вздохнули.

— В путь, — поднимаясь, отдавая швартовы, сказал Лефон.

...Катер летел по самой середине Самарки — по слепившему глаза золоту. У берега дремали баржи, теснились лодки, мостки. Чадил серым дымом стоявший на берегу кабельный завод. Но вот уже и он остался позади. Начинались леса, глухие заводы. Катер то и дело подпрыгивал, распарывая волны, хлёстко шлёпался о воду. Брызги окутывали меня, счастливого и довольного воскресным утром. А как же иначе: взбодрившись, я сидел на заднем сиденье и держал две бутылки водки — самый ценный груз на корабле.

Перед нами быстро выросал огромный, железобетонный, подпиравший облака мост...

Одна история занимала особое место в совместной биографии Лефона и Шуры. Однажды Шура выпил лишнего и нечаянно или нарочно разбил хрустальную вазочку — фамильную ценность жены. Ирина запустила в мужа будильником, но тот угодил в любимый аквариум Шуры. Рыбки в конвульсиях бились на полу. Опасаясь смертоубийства, супруга, взяв сына, ретировалась к своей маме. В те же самые дни с Лефоном приключилась похожая беда. Его не было двое суток дома. Когда он вернулся на третьи, за полночь, то обнаружил, что дверь закрыта и открывать ему никто не собирается. Он попытался раскаться, но ему не поверили. Жена через дверь сказала, чтобы он убирался, и чем дальше — тем лучше. Крайне обиженный, Лефон отыскал в своём гараже, стоявшем напротив окон его дома, бензопилу «Дружба», наполнил её необходимым горючим, завёл и направился к своему подъезду. Сосед с первого этажа попытался преградить ему путь, но Лефон, пригрозив страшной расправой ему, его семье, а заодно — всему подъезду, беспрепятственно добрался до своего, четвёртого, этажа. Первой, объявил он всей лестничной площадке, умрёт чёртова собака, вторыми — попугайчики, третьей — жена. А потом уже погибнут все неодушевлённые предметы в этой грёбаной квартире. После этого дверь ему была незамедлительно открыта. Утром, увидев на ковре, в спальне, грозное оружие, Лефон, искренне мучаясь догадками, спросил жену, кому это понадобилось тащить в квартиру столько железа? После чего, без лишних разговоров, его выставили из дома — на том основании, что «здесь ему не принадлежит ни одного квадратного метра». У Лефона было два варианта временного убежища. Квартира мамы, но там, в его комнате, давно уже обосновался младший брат, качок, и квартира бабушки (в нашем доме), бабушки, ласково называвшей своего внука «Игорёчком». «Игорёчек» уже въезжал в самом прескверном настроении во двор, намереваясь броситься в ноги любимой бабушке, когда увидел — в другом конце двора — угрюмо сидевшего на лавке, с бутылкой пива, Шуру.

Всё решилось в считанные минуты.

Я не помнил ни одной более длительной пьянки, в которую бы впадали два брошенных своими жёнами человека. Три долгих зимних

месяца пролетели для них одним — нелёгким — мгновением. Я и мой редактор — Геннадий Палыч, застали середину этого тяжёлого иночества. Квартира Шуры была прокурена окончательно и бесповоротно. Пиво и водка лились рекой. (По тем временам у Лефона водилось много дармовых денег.) В тот вечер на коленях Шуры, пунцового от выпитого, сидела сомнительной внешности девица, как брезгливо назвал её Лефон: «Приблудная, привокзальная». Звали её Катечка. Утром Шура собирался ехать в город Горький — знакомиться с её мамой. «В Горький он собирается каждый вечер, — объяснил Лефон. — Утром, как только он её рассмотрит, это желание у него пропадает».

В начале весны Ирина и Татьяна, сговорившись, приехали за своими мужьями, к тому времени уже совсем обалдевшими и главное — уставшими от пьянства и хуже смерти надоевшими друг другу. Обрадованные, но не подавшие вида, Шура и Лефон сдались своими жёнам, сохранив при этом мужское достоинство.

...Над нашими головами, почти у самого неба, прогрохотал поезд; мост оставался позади. Тем же утренним золотом сверкали заливы и затоны Самарки, мимо которых нас проносил двухмоторный «Прогресс».

И вот уже приближалась миниатюрная лодочная станция — ряды катеров. Маленький домик на плаву, у берега, скрытая зеленью турбаза. Приглушив мотор, мы проходили по неширокой водяной дорожке — между двумя рядами лодок.

— А теперь налево, — сказал Шура. — Вот и она...

И он указал пальцем на свободное место в лодочном ряду. Катер медленно заползал в пустой водный проём. Только тут я вспомнил, что многострадальная лодка Шуры, по сценарию, должна была находиться на дне, то есть — ровнёхонько под нами. И точно — от причала, в который наш катер легко ударился носом, в воду уходила туго натянутая верёвка.

— Да, — коротко сказал Лефон. — Хороший вид. Ну, дурила, давай лезь, — и обернулся ко мне. — Сегодня дети Электрода останутся сиротами.

— Не дождётесь, — парировал тот, подозрительно разглядывая мутную воду и оставшиеся приметы затонувшей лодки.

— А может, чёрт с ней? — спросил я. — Жизнь дороже.

Шура отрицательно покачал головой. По тому же сценарию он должен был вначале — там, под водой, — отвинтить болты и снять мотор; я и Лефон — вытащить этот мотор на борт катера. А потом уже попытаться, привязав потопленный «Титаник», вытащить и его самого. Раздевшись и натянув ласты, держа в руке маску, Шура мрачно сказал:

— Водки дай.

— Не заслужил ещё, — ответил Лефон.

Но водки, конечно, налил. Шура выпил. Натянув маску, плюхнулся в воду и скрылся в пучине. Лефон зевнул:

— Хороший денёк.

— Ага, — отозвался я.

— И водка хорошая, — когда мы выпили, продолжил Лефон начатую мысль. — Хоть и тёплая...

Прошло полминуты, минута...

Посмотрев на тёмную воду, где сейчас был Шура, Лефон легко кивнул мне, не на шутку обеспокоенному:

— Риск — благородное дело.

Однажды эту фразу Лефон сказал на крыше нашего дома. Мы обходили его — почти законченный шестиэтажный прямоугольник — вчетвером. Этот же состав плюс знаменитый Виктор (с ударением на «о») — самый старший из команды и самый безумный. Всё началось с того, что нас, молодняк, застукали на чердаке дворовые бабки. Когда-то мы там дневали и ночевали, учились курить. Потом нас долго изгоняли с обжитого места: боялись пожара. Но тайком мы наведывались в наш бункер. И вот всеведущие пенсионерки нас выследили. Привлекли стариков — из наиболее активных. Но куда им было тягаться с изобретательным Виктором! На чердачный люк он затащил старый сундук. Когда же преследователи стали ломиться снизу, угрожать, Виктор прибег к древнему, как мир, приёму, правда, без кипятка или кипящей смолы. Смело расстегнув штаны, Виктор направил струю ровнёхонько в щель. «Вот паразиты, водой поливаются!» — негодовал полковник в отставке, пенсионер Рукомойников. Осада обещала быть долгой — как раз до вечера, пока родители не придут с работы. Делать пенсам всё равно было нечего, а тут — представление. Охота. Виктор объявил: «Уходим по крыше. Люк в четвёртом подъезде всегда открыт». Ему было шестнадцать, нам с Лефоном — по четырнадцать лет, Шуре — двенадцать. Путешествие оказалось захватывающим. В одном месте — особенно: нужно было пройти по отрезку крыши в пять метров длиной — в тридцати сантиметрах от края. А там гудели трамваи, завывали на светофорах и срывались с места машины; точно муравьи, торопливо передвигались люди. И, казалось, мир вращался как-то особенно быстро, что в любую минуту могло помутиться в глазах. А другого пути на этой крыше не было. Виктор, настоящее дитя природы, парил на крышей. Шура прошёл по карнизу так, точно проделывал это каждый день. У нас с Лефоном дрожали колени, мы едва не повернули назад. На середине пути, стараясь не смотреть вниз, мой приятель сказал: «Риск — благородное дело»... (Вспоминая об этом переходе, я не верил, что это я стоял на том карнизе и зачарованно, точно перед прыжком, смотрел вниз...)

Вынырнул Шура, зацепился руками за катер, долго отплёвывался, ругался, но духом не падал. Набрав побольше воздуха, опять ушёл в глубину. Скоро он стал появляться с болтами и гайками, аккуратно

раскладывая их на горячих досках заднего сиденья. Он всё чаще отдувался, тяжело дышал.

— Ну что, капитан Немо, опять водки хочется? — затягиваясь сигаретой, спросил Лефон, когда Шура в очередной раз показался на поверхности.

— Хочется, — держась руками за край катера, ответил Шура.

— Надо быть скромнее, — живо откликнулся Лефон, — ты сюда работать приехал, — и давая понять, что на этот раз ничем помочь приятно не может, откинулся на дощатую спинку сиденья. — Тем более алкогольный продукт ограничен...

Письма Лефона из армии, короткие, лаконичные, я перечитывал каждый раз, натыкаясь на них в своих архивах. В каждой фразе — обрывки чувств. Вот, например:

«Привет, Дима! Как там у вас в Куйбышеве? Как ты? У меня всё хорошо: осталось сто пятьдесят дней. Купил в Москве пластинку «Аквариума». Совсем я оступел тут. Обленился. Всё лень. Странное место. Отсутствие времени при наличии времён года. Парадокс. Впрочем сам знаешь, что такое «С.А.». Переживу — скоро домой. Извини, если что. Твой друг Игорь».

У Лефона была девушка, «первая любовь». Звали её Наташа. Их роман завязался, когда им обоим было по шестнадцать. Роман, надо сказать, очень взрослый. И продолжался он до самой армии. Игорь и Наташа хотели пожениться, но родители невесты отговорили: мол, время — лучшая проверка большим чувствам. А когда Игорь оказался на другом конце страны, сделали всё, чтобы эти отношения прервались. О том, что Игорь переживал в те недели и месяцы, у чёрта на куличках, он не рассказывал никому, даже мне. А когда вернулся, Наташа была замужем. Вопреки всему, их роман закрутился с новой силой. И так же быстро сошёл на нет. Лефон вышел из этих отношений перегоревшим, немного циничным и напроць не желавшим больше влюбляться.

— Бомжей — ненавижу, — стоило расстроенному Шуру уйти в пучину, продолжал Лефон. — Самые что ни на есть неблагодарные свиньи. Я тебе не рассказывал. Давно уже было. Мне за долги отдали микроавтобус армянского производства. Старенький, но на ходу. Правда, возить мне на нём было нечего, и я поставил его во дворе — под окнами, рядом с «Жигулями». Это было летом. В сентябре какие-то подлые скоты на моём автобусе написали гнусное ругательство — масляной краской. Каждая из трёх букв — с колесо этого самого микроавтобуса. И не со стороны дороги написали, а со стороны дома. Каждое утро, выглядывая в окно, я с четвёртого этажа читал одно и то же. Представляешь, кругом золотая осень, романтика, а тут — такое? Гадость? Гадость. Какое у человека должно быть настроение на весь день? Особенно у моей жены, — на последних двух словах он сделал красноречивое ударение. — А закрасить мне это слово было ну просто лень. В октябре

подхожу к автобусу и что, ты думаешь, вижу?.. — Лефон сделал паузу, потому что из воды вынырнул Шура, блеснул запотевшим стёклышком маски, в очередной раз набрал в могучие лёгкие побольше воздуха и вновь скрылся. — ...Так вот, в моём автобусе живёт бомж. Обыкновенный бомж — грязный, мрачный. Я — гуманист, думаю: «Пусть себе живет...» И вот зимой я нахожу покупателя для своего металлолома, говорю бомжу, мол, всё, хорошенького понемножку, пора съезжать. День не съезжает, второй не съезжает. А мне пора драндулет показывать новому владельцу. На третий смотрю — бомжа нет, — Лефон выстрелил бычком в воду. — И что ты думаешь, карбюратора тоже нет. Но чёрт бы с ним, с карбюратором, ну, украл, продаст — пожрать купит, выпить. Это я понимаю. Но зачем было гадить в самом центре автомобиля, а? Бомж был — тощий, а такую кучу сделал! Вот она — благодарность. Такого отношения я не понимаю. Вот эту кучу я ему никогда не прощу!..

Тяжело поскрипывая половицами, выставившими понтон, к нам подходил пожилой дядька в старенькой, поношенной форме речника и фуражке.

— Чо, мужики, — сказал он, — значит, это ваша лодка утонула?

— Это его лодка утонула, — сказал Лефон, кивнув на воду. — Тебе, капитан, водки налить?

Лефон был добрым.

— Налей, — оживившись, сказал «капитан».

Не успел он выпить, как вынырнул Шура.

Лефон покачал головой:

— Знакомьтесь, Жак Ив Кусто...

— Здрасьте, — выдохнул Шура.

— Ну, тебе тоже водки налить? Жак Ив?

— Налей, — фыркая, тяжело проговорил тот.

— «Налей», — передразнил его Лефон. — А ты потом не утонешь?

— Не утону, — убедительно сказал Шура.

Лефон пожал плечами:

— Электрод правда не утонет. Ему нужно, как в фильме «Мы из Кронштадта», камень здоровый к ногам привязать. Только тогда, и если камень будет большой...

Сидя на горячей скамейке катера, я вдруг подумал, что глаза моего приятеля часто кажутся печальными, почти больными — когда сам Лефон, казалось бы, весел, остроумен, нарочито циничен. Заправив лист писчей бумаги в машинку, мне давно хотелось нарисовать портрет друга детства. Только я не мог определиться — какой: увидеть ли в нём повесу, дамского угодника, весельчака... или — совсем другого человека? У которого вся бесшабашность — от неловкости; удалство и ухарство, граничившее с вызовом, — от неуверенности в себе; а натура авантюриста — от того, что этот человек никогда не знал, куда себя деть? Его не мог привязать к себе даже сын...

— Смотри, наш подводник водку прямо в маске жрёт! — ткнул пальцем в Шуру Лефон. — Нет, такие вообще не тонут. Ни при каких обстоятельствах.

— А что время-то терять? — спросил Шура и, протянув мне стопку, снова ушёл в пучину.

На месте, где только что была голова Шуры, теперь крутился тёмный водоворот.

— Ладно, Дмитрий Валентинович, — сказал Лефон, — давайте выпьем. А не то человек-амфибия сейчас выплывет и скажет: «Водки дай». А у нас уже второй пузырь на исходе... Капитан, присоединяйся!

Я опустил руку в воду: зачерпнул её полной горстью и ничего не поймал. «Каждый убегает от своей беспомощности, слепого одиночества по-своему, — думалось мне, — у каждого свой рецепт...» Лефон с головой уходил в кураж: закрыв глаза, набрав полные лёгкие воздуха (как сейчас — Шура), падал в эту пропасть — и будь что будет. Сам я бежал в другую: запирался на все замки в крохотной квартирке, задраивал шторы и усаживался за пишущую машинку. Чем не выход? Тоже своего рода странничество. В общем, ничем не хуже любого другого. Пожалуй, из нас троих, приехавших на эту лодочную стоянку, самым сильным был Шура. И ему стоило позавидовать...

Мы втроем выпили. Потягиваясь, Лефон вальяжно расправил плечи.

— Ты как, отошёл? — спросил он у меня.

И не дождавшись ответа, коего, впрочем, и не требовалось, блаженно закрыл глаза. Подставляя лицо и загорелый торс солнцу, вытянувшись на полкатора, Лефон выдохнул одно из своих любимых ещё с детства словечек:

— Лепота!

Я вспомнил ещё один эпизод из биографии старого приятеля. Два года назад в его операциях с машинами что-то не заладилось. Напарника Лефона нашли в его же подъезде с пулей в голове. Игоря долго не было в городе. Уже потом он признался, что в те дни пообещал самому себе: «Если выберусь, брошу всё к такой-то матери».

Единственный раз в жизни, когда он сдержал слово...

«Капитан», оказавшийся здешним начальником, выпил ещё стопарь. Подружившись с молодёжью, рассказав, что знает Волгу, не говоря уж о Самарке, как свои пять пальцев, да что там — как «ёты-нуты», обещав содействие, отправился по делам. Разомлевший, Лефон курил сигареты. Шура продолжал нырять и выныривать с железяками, грозя, что сейчас будем поднимать мотор. У меня, счастливого, не было сил даже курить.

...Следующие два с половиной часа, собрав всех окрестных зевак на берегу и мостках, «Прогресс» Лефона, кипятя воду вокруг себя, поднимая целые буруны, пытался вытащить на свет божий катер Шуры.

Но — тщетно. Лефон матерился что было силы, Шура угрюмо наблюдал за происходившим действием.

— Нет, — сказал на исходе третьего часа с мостков «капитан». — Это надо грузовиком — с берега. Через час должен приехать Колька на «ЗИЛе»... Сделаем.

Водка была допита, колбаса и хлеб — съедены. Пару раз искупавшись, мы с Лефоном загорали на песке и курили. Шура возился с мотором. Пляж был пуст, стоянка — тоже. Все уже давно потеряли интерес к нашим поискам, тем более было время обеда.

Щурясь на солнце, я нашёл себе занятие: наблюдал за девушкой в соломенной шляпке — тоненькой, загорелой. Она балансировала на носу одного из ближних катеров, стоя на пенопластовом круге. Катер равномерно покачивался. Её отец, солидный дядечка, тут же, на мостках, возился с мотором. Девушке было лет шестнадцать, но вела она себя так, точно была уже взрослой женщиной. Её купальник — пара ярко-красных лоскутков — мог бы вызвать у папаши-лодочника самые оправданные опасения.

— Хорошая девочка, — посмотрев в ту же сторону, сказал Лефон. — Хорошая... Но где этот чёртов «ЗИЛ»?

Не успел он договорить, как, зарывав совсем рядом, из леса — прямо на пляж — выкатил долгожданный грузовик. Шура просиял. Капитан уже деловито объяснялся с водителем.

Ещё пять минут — и трос был привязан к крючьям «ЗИЛа». Ещё минута — и «ЗИЛ», вновь грозно зарывав, подал назад. И вот уже я наблюдал, как одна за другой, точно клавиши механического пианино, подпрыгивают моторные лодки, которые — где-то там, под водой — так удачно таранил наш «Титаник». Совсем не предполагая о скорой драматичной развязке, уже готовый развернуться на наших глазах, я беззаботно наблюдал за этим спектаклем. Когда из воды показался нос «Титаника», Шура облегчённо вздохнул. «ЗИЛ» отъезжал всё дальше — и всё выше выползал на берег, оставляя на песке глубокие борозды, затонувший катер. Я был в восторге, когда обнаружил, что в нём, как в аквариуме (или в сетях?), плещется десятка два чебаков.

— Это для кошки, — довольный, сказал Шура, — для нас будут раки.

Девушка в соломенной шляпке, наблюдавшая с катера за подлёдом «Титаника», отвернулась к реке. Мы перевернули лодку, собрали в огромной луже рыбу... Посмотрев в сторону чужого катера, я вздохнул. Был я нынче небрит, нетрезв. Вряд ли я мог сейчас кому-то внушить доверие, кроме «капитана», которого и след простыл. Я прошёлся по мосткам, щелчком — с пальца — отправил окурок в воду. Девушка обернулась. Ей было скучно стоять вот так, одной, на отцовском катере. Она посмотрела на меня с любопытством, и я улыбнулся ей...

Кто-то цепко ухватил меня за локоть — это был Лефон.

— Не туда смотри, сюда смотри, — он кивнул на ряд лодок, под которыми только что прошёл катер Шуры. — Ничего не замечаешь?.. Ну?

На дне одного из катеров было слишком много воды, точно он собирався через часок-другой затонуть. Я перевёл взгляд на вторую лодку: с ней происходило то же самое.

— Ты хочешь сказать...

— Именно, — сквозь зубы процедил Лефон. — Бить будут всех, а нашему подводнику это обойдётся в кругленькую сумму. Выгоднее бросить его лодку прямо сейчас. Главное — не дрейфить. Ты — бегом на берег за вещами. Мы с Электродом прихватим мотор, — высоко подняв брови, Лефон расплылся в улыбке. — А вы как думали, уважаемый Дмитрий Валентинович? Это вам не статейки писать.

...Наш катер — с ветерком — всё дальше убежал от лодочной стоянки, где был брошен «Титаник». И где стояла на пенопластовом круге девушка в соломенной шляпе. Шура был хмур. И то и дело громко повторял одни и те же очень нецензурные слова.

— Скажи спасибо, мотор спасли! — крикнул Лефон. — Главное, чтобы они мою лодку не запомнили!

За час, пока мы дремали в катере, застывшем в одном из затонов, Шура наловил обещанное ведро раков. Он уже сидел с красными от ныряния глазами и грелся на солнце, когда метрах в ста от нас — из кустов — с рёвом выкатили три катера. Они пронеслись в одну сторону, через минут десять — прокатили обратно. Была ли это погоня или нет, мы так и не узнали...

Зелёный «Форд» въехал во двор уже вечером. Пока Шура занимал деньги у соседей, Лефон опять обратил внимание на решётки, закрывавшие мои окна.

— Сгниют они у тебя без краски. Я же тебе говорил: решётку — синим, серп и молот — красным.

Два года назад Лефон бросил всё и пошел работать в кооператив к старшему брату, где трудился Шура. Шура варил — Лефон отсекал всё лишнее. Дверь они поставили мне за смешную сумму. Правда, ошиблись на десять сантиметров в высоту: сделали дверь больше, чем нужно, потому что снимали мерку в подпитии. «Это — ерунда, Дмитрий Валентинович», — сказал Лефон и огромным молотком увеличил проём в стене на десять сантиметров. Решётки явились их подарком к моему дню рождения. Серп и молот — на узком кухонном окне, в самом центре решётки — были одной из шуток Лефона. Не поленился...

Вернулся Шура. Немедленно встал вопрос: пиво или водка?

— Лучше пить либо одно и то же, — сказал я, — либо по возрастающей. Я за водку.

— А сколько возьмём? — спросил Шура.

— Три, — убеждённо ответил Лефон.

— А не много будет? — поинтересовался Шура.

— Нет, — ответил Лефон, — самый раз. Слышал, что философ сказал: либо одно и то же, либо по возрастающей. Первый раз брали три. Если теперь возьмём две, это уже по нисходящей получится. Так что, сам понимаешь...

Мы купили ещё три бутылки «Пшеничной» и с ведром, где шевелились, защемляя усы и клешни друг друга, раки, зашли в Шурин подъезд.

— Есть картина — «Иван Грозный убивает своего сына», — легко вздохнул Лефон. — Сейчас же будет сцена — «Разгневанная жена убивает своего мужа-алкоголика»... — и вдруг, уже совсем весело, хлопнул Шуру по могучей спине. — Да ладно тебе, Электрод! У нас раков — ведро, уже слюнки текут: белые спинки, сочные жирные хвостики. И то-варищ «водчанский»!..

...Опять лето. Июль. Время убегает, как песок сквозь пальцы. Однажды заметив это, забыть уже невозможно... Давно развёлся Лефон, женился вновь и, говорят, бросил пить. Я не видел его уже года полтора, а может быть, и два. Шуру встречаю во дворе, правда, редко, куда чаще слышу его громовой голос, когда он зовёт своего сына Егорку. Точно так же в этом дворе когда-то звали домой и меня.

И вот я сижу на кухне — у открытого окна. В комнате работает компьютер, на экране которого теснятся строчки нового романа. У меня — перекур. Уже вечер. Жара спала. Я смотрю на двор через железную решётку — с серпом и молотом, по-прежнему ржавую. «Странно, почему она до сих пор не покрашена? — спрашиваю я себя. — А почему до сих пор на моих дверях не стоит звонок? Ведь я обещал соседям. Вот уже ровно семь лет они ждут этого, как манны небесной...»

Где-то на краю земли...

Эта поздняя осень была той редкой порой, когда проходят долгие ливни, с ними тают грозы, стихают ветра, непогода расступается, и с первыми бесснежными холодами приходят ясные дни. Холодное солнце становится вдруг ослепительно ярким, дороги — длинные, леса пусты и прозрачны, озёра неподвижны, дали ясны. В эти дни воздуха необъяснимо много и особенно ясно чувствуешь, что не важно, счастлив ты или нет, а жизнь проходит.

Он смотрел в окно автомобиля, летевшего по пригородному шоссе, серой лентой упиравшегося в самый горизонт, и удивлялся: откуда у него эти мысли. Всего два года назад ему было двадцать пять.

Кажется, почти вчера...

Когда молодого человека, склонного к литературным опытам, однажды бросает в журналистику — дело понятное. Главное, чтобы не затянуло. Игорь Веретенников, спортсмен и повеса, хорошо помнил каждый из этих шагов: первая статья, первая штатная должность...

На подъём он был лёгок и потому охотно соглашался на командировки — в дальний провинциальный городишко, на самую окраину губернии — пусть так. Суточные, электричка. Или автобус. Саквояж, авторучка, блокнот — романтика, не иначе.

Говорили, был неплохим репортёром...

В меру заматерев, Игорь Дмитриевич Веретенников остановился на должности редактора многотиражной газеты, принадлежавшей чрезвычайно масштабному и очень богатому предприятию. И так случилось, что управляющий этого самого предприятия, помимо всего прочего, решил стать ещё и депутатом губернской думы. Участок кандидату выпал на самые отдаленные — от города-миллионника — волжские деревни и сёла.

Задача редакции состояла в том, чтобы свести в тьмутаракань несколько тысяч номеров газеты, на страницах которой, как и положено, говорилось, чем мог помочь будущий политик своим избирателям,

сдать макулатуру на почту, чтобы она разошлась по деревням, хуторам и т.д., поместить в местную печать две-три статьи рекламного содержания, выпить водки на свежем, уже морозном ноябрьском воздухе и вернуться в город.

И всё это было желательно сделать в течение одного дня.

Отправились они в путешествие на казённой «Волге» — Игорь и его закадычный друг, коллега, ответственный редактор газеты Павел Геннадьевич Кручинин, или просто Паша.

Часам к девяти утра они были далеко за городом. Тихо пели шины, мимо — по трассе — пролетали редкие автомобили. Разговор не клеился: Паша, спрятав пол-лица в воротник пальто, клевал носом; шофёр, старик-молчун, был чужой, Игорь едва его знал. Да и не было желания разговаривать; всё, что хотелось, — смотреть в окно.

А там тянулись леса. И только впереди — шоссе, серая лента, уходящая к горизонту...

...Игорь Веретенников думал о том, почему бы с ним не приключиться чему-нибудь необычному. Например, маленькому чуду, а может быть — большому. Предчувствие было. Оно пришло давно, много раз отступало, но непременно возвращалось вновь (чаще по ночам). И тогда ему, взрослому мужчине, вдруг хотелось плакать, да что там плакать — рыдать, уткнувшись головой в подушку. Это чувство всегда было неосознано, почти бесплотно... Но меньше всего можно было предположить, что оно коснётся его в такой день, как этот, когда всё предельно ясно, просто, легко. Осеннее утро, пейзаж; серая полоса асфальта, стрелой уходившая вперёд — куда, он и сам толком не знал. (Мало что говорит название с точкой на карте, каких тысячи.) И ещё — дорога, врачующее раны движение, поющее колыбельную его приятелю...

Где-то на середине пути выяснилось, что водитель некурящий. Они остановились на обочине. Игорь вылез из автомобиля, хлопнув дверцей, полез за сигаретами и зажигалкой. А закурив, запахнув старое кожаное пальто, спустился с пригорка.

«Стоит прогуляться, — наступая на бурую траву, выстелившую мёртвым ковром примыкавший к трассе луг, думал он, — а то ведь когда ещё выберешься в такие места...»

А в километре от трассы перед ним уже расступались леса, открывая добрую половину всей земли.

Игорь не успел заметить, как сигарета растаяла. Вскинув руку с часами, оглянулся на машину. Чёрная «Волга», чуть накренившись, вросла в шоссе — шагах в двухстах. Ничего, время терпит. И уже снова он хлопал себя по карманам, разминал в пальцах сигарету...

Да, жизнь проходит. «Странно, — думал он, — непонятно. Мне всего двадцать семь, и вдруг — находит такое. Откуда оно берётся? Почему? Зачем?..»

...И снова посапывал рядом Паша, тихо пели шины. Так прошёл ещё час-полтора. По обе стороны дороги опять тянулись леса, перемежаясь с опустевшими, уже готовыми принять снег полями. Проходили мимо деревни, деревянные церкви — чёрные среди ясного осеннего дня...

А потом шофёр сухо бросил: «Подъезжаем». Игорь оживлённо толкнул приятеля локтем в бок. И пока Кручинин протирал заспанные глаза, чёрная «Волга» ворвалась в Дымное — старинное русское село, и уже бежала по его кривым широким улицам к центру...

— Как ты думаешь, девицы здесь есть? — спросил Паша, когда они поднимались по лестнице, ведущей на второй этаж — к дверям местной газеты «Сельская новь». Приятель Игоря давно пребывал в ссоре со своей женой, и вопрос о «девицах» время от времени волновал его.

Подброшенная мысль сразу увлекла Веретенникова, и он постарался как можно живописнее развить её:

— А что ты думаешь, два журналиста, приятных молодых человека, приезжают из Самары. Не Москва, конечно, но всё-таки. Для здешних мест — столица. Как же нас должны принимать?.. Паша, Павел Геннадьевич, да все здешние девушки будут у наших ног, — он хлопнул в ладоши. — Решено: беру себе пару учениц. А ты сколько?

— Я тоже пару, — кивнул Паша, — правда, — он проводил глазами проходившую мимо тучную пожилую женщину в бушлате, с ведром и шваброй, — боюсь, в этом захолустье нам хрен что достанется...

Они уже стояли перед дверями газеты.

— Вот сейчас увидишь, — сказал Игорь, — открываем дверь, а там — очаровательная незнакомка. И зовут её Людмила.

Он постучался — громко, толкнул дверь от себя.

За столом, спрятавшись за «Ятранью», сидела премилая светленькая девушка; она ела пирожное, запивая его чаем. Игорь подмигнул Паше, мол: «И это только начало...»

— А у нас обед, молодые люди, — не слишком убедительно проговорила девушка, внимательно оглядывая гостей, особенно поджарого Веретенникова. — Через полчаса, пожалуйста...

— Мы из Самары, представляем Ивана Петровича Зубова, — не дав ей договорить, громко, отчётливо, точно обращаясь к глуховатой бабушке, отрекомендовался Игорь, — кандидата в думу от вашего округа, — и только теперь представился: — Веретенников, Игорь Дмитриевич, редактор газеты «Газовик». Газ вашему поселку нужен или нет? В каждый дом... А?

Девушка раскрыла рот, трогательно заморгала и, проговорив: «Секундочку», — встала и скрылась в соседнем кабинете. Они подошли к окну.

— Сообразительная, — кивнул Веретенников Паше. — Беру в ученицы.

— А я? — вопросительно зашипел его друг. — Почему сразу твоя ученица?

— Ты — женатый человек.

— Ну и что? Ты знаешь, у нас сложные отношения... Мерзавец вы, Игорь Дмитриевич.

— Ладно, уговорил, Людмилу я дарю тебе.

— То-то же, — разом успокоился Паша. — А то я хотел уже обидеться...

— Тс-сс!..

Двери в кабинет отворились, и на пороге появился человек средних лет, лысоватый, сутулый; за его спиной пряталась та, которую Игорь только что так легко подарил своему другу. Последний, как ни в чём не бывало, разом отвернулся.

— Здравствуйте, — переступая через порог, уже говорил здешний хозяин, — очень рад. Значит, вы из Самары?

— Да. И у нас к вам очень важное дело.

— Катя, приготовь молодым людям чай.

Через полчаса они выходили из редакции.

— У неё всё равно обручальное кольцо, — хлопнув приятеля по плечу, сказал Игорь. — И потом — она не Людмила.

— Давай водки выпьем, — предложил Паша.

— Давай, — согласился Веретенников.

В пустой сельской столовой, под водку, извлечённую Игорем из саквояжа, они похлебали щей — совсем не таких, какими горожанину представляются деревенские щи, — пустых, потом принялись за котлеты. Паша хотел было устроить скандал по поводу несъедобного второго блюда, «тошилово», как он сказал, но Игорь отговорил его. Тем более что от водки ему потеплело, как он любил говорить: «Захорошело всестатейно». И предстоящая работа не вызывала ничего, кроме снисходительной улыбки.

— Осталась одна только почта, — нарочно, чтобы позлить приятеля, с аппетитом истребляя второе, почти пропел он. — И — свобода.

Паша следил за ним, не отрывая глаз. Потом громыхнул тарелкой, следом — вилкой и, в заключение, — ложкой, встал. Опять сел, отхлебнул компот. Скорчил мину. Выматерился.

И не переставал материться до самых дверей столовой. На свежем воздухе, раскрасневшийся, сказал:

— Сдохли бы от такой жратвы, если бы не водка, — и сплюнул. — Надо бы ещё выпить.

— Макулатуру сбросим и выпьем, — откликнулся Игорь. — Где-нибудь на природе — в окрестностях Дымного.

— А из чего пить будем? Надо было у этих поваров стакан взять.

— Точно. Сходи за стаканом.

Паша посмотрел на редактора.

— Лучше ты. Я там уже всё сказал.

— И я не пойду. По той же причине.

— Как ты думаешь, — когда они подходили к «Волге», говорил Паша, — а водка здесь есть?

— Водка везде есть. Мне так кажется...

«Волга» ехала неторопливо. Игорь смотрел в окно машины — на улицы Дымного, его улочки, на бедные дома. Здесь не было дорогих многоэтажных особняков: это тебе не сосновый бор в двадцати километрах от города, какая-нибудь Красная Глинка. Выбрался из трёхэтажного коттеджика, прыгнул за руль — и через четверть часа ты уже у дверей роскошного итальянского ресторана. А ещё в двух кварталах — четыре супермаркета и три дискотеки на выбор, не говоря уже о доброй сотне бронированных ларьков на один жилой квартал. Невыгодно сесть на стыке двух губерний, где вокруг нет ничего, кроме лесов, степей и таких же, только ещё более бедных и заброшенных поселений. Здесь — настоящая окраина. Она живёт своей жизнью. Какой — никому не известно. Да и вряд ли кто хочет узнать о её жизни.

Одно слово — край света...

На одной из центральных улиц села они остановились. Заставила их это сделать вывеска «Букинист» — на двухэтажном домике.

— Давай-ка посмотрим, — предложил Паша. — В глубинке иногда залёживаются очень интересные экземпляры.

Игорь согласился. Они вышли из автомобиля, перешли тротуар, открыли дверь...

Перед ними предстало пустое помещение — с ободранными стенами, драными полами. Слева была открытая дверь, за ней — люди. Они прошли в эту дверь и оказались в благоустроенном магазинчике, где на стеклянных витринах, совсем по-городскому, стояла на выбор «Столичная», «Казачья», «Пшеничная» и много других сортов белой. Не говоря о закуске.

— Ого, — вырвалось у Игоря. — На ловца и зверь бежит. А ты спрашивал, есть ли здесь водка.

— А книги где? — озираясь по сторонам, подозрительно спросил Паша. — Книги?.. Товарищ продавец, книги где?

Полная женщина в белом колпаке посмотрела на клиента так, точно он был душевнобольной, и ничего не ответила.

— Я вас, кажется, спросил: где книги?

Это было не пустое любопытство. Паша всегда искал справедливости и порядка. Не находя ни того, ни другого, злился. Часто матерился — громко. И уходил, хлопая дверью.

— Были, да вышли все, — сонно, не спуская с Паши глаз, ответила она.

Игорь полез в карман за портмоне.

— Бутылку «Столичной», пожалуйста, — разглядывая витрину, он прищурил один глаз. — Семисотграммовой, — и тут же взглянул на Кручинина. — Да?

— Да, — уверенно ответил тот.

— Полбуханки ржаного, полкило докторской... Простите, а стаканчиков у вас нет?

— Стаканчиков нет, — холодно обронила продавщица. — И не было.

Уже на улице Паша спросил:

— Сейчас... или потом?

— Потом.

— Правильно, дело в первую очередь, — и добавил: — Только о стакане надо подумать заранее... Вопрос повисает в воздухе — со всей серьёзностью.

У первого встречного они узнали, что в двух кварталах есть забега-ловка. Там и распить можно. А от забегаловки до почты рукой подать.

Оставив приятеля в машине, Игорь вошёл в кафешку по-хозяй-ски. Сразу подошёл к прилавку. Наверное, в Дымном тоже были алка-ши, потому что по-другому назвать пятерых человек, крутившихся у прилавка, было просто невозможно. Едва преодолев брезгливость, он улыбнулся продавщице:

— Здравствуйте, не дадите стакан на пять минут? Мы выпьем... в машине и вернём вам его в целости и сохранности.

— Да стакан-то только один, — зароптали мужики.

Игорь посмотрел на пустой поднос: действительно, стакан был только один, и он ходил по рукам. «Ничего, ещё успеют напиться», — подумал он.

— Только обязательно верните, — наказала ему продавщица. И прикрикнула на своих постоянных клиентов. — Нализались с утра. Ну-ка, стакан мне — дайте и другим выпить.

Игорю показалось: пропади этот стакан — она вздохнула бы спо-койно.

— И если можно, — вежливо улыбнулся он, — поможете его получше.

— Хорошо, хорошо, — понимающе кивнула та.

Несмотря на то, что стакан был вымыт на совесть, Паша тща-тельно продезинфицировал его спиртом. Когда машина завелась, алкаши высыпали на улицу. Они столпились у самых дверей и, не отрываясь, точно ожидали чего-то страшного и неотвратимого, смотрели на «Вол-гу». В глазах мужиков было одно: «Пропал наш стакан».

— По пятьдесят и на почту, — сказал Игорь. — Господи, да вернём мы им эту посудину. Не звери же...

Скоро они отыскиали почту. Отправив Пашу перетаскивать стопки газет через чёрный вход, Игорь, объяснив всё в двух словах начальнику почты, сел за один из столиков оформлять документы. Всего и дел-то — одна расписка. Он отыскал глазами местечко у окна, подошёл, отодвинул стул. Когда-то полированный, стол был протёрт руками почти до дыр. Игорь щёлкнул авторучкой, потянул носом воздух: наверное, на любой почте мира существует этот чудесный запах — бумаги, клея, сургуча. Будущих встреч. Сладкий запах странствий на почтовой бумаге...

Пожилая дама, видимо, относилась к своей работе с предельной серьёзностью. Она так и не дождалась, когда её клиент надумает заняться делом. Взяв со стола пухлый конверт, вышла.

Игорь сладко зевнул. Он пытался сосредоточиться, но то ли от выпитой водки, то ли по другой причине у него это получилось не сразу... Он уже написал несколько строк, когда за конторкой увидел девушку; она как-то незаметно оказалась здесь, заменив свою старшую сотрудницу. В противоположность даме, она занималась с почтой легко и в то же время бережно, точно это были письма, в которых люди признавались в любви; Игорю даже показалось, что она могла прочесть мысли и чувства писавших друг другу. Впрочем чего только не придумаешь себе, увидев человека, который тебе очень понравился — вот так, в первую минуту. Как-то сразу он забыл о своих документах — авторучка медленно плавала в его пальцах. Имитируя на лице полёт мысли, он ловил на себе взгляд девушки. И когда ему удавалось это сделать, она улыбалась. Это превращалось в игру. Его незнакомка была кареглазой; прямые тёмные волосы были забраны сзади, но не туго, отчего густые пряди двумя волнами ложились ей на плечи. Девушке приходилось вставать, перекладывать конверты и бандероли; короткий синий джемпер и вытертые голубые джинсы так подчёркивали её ладную фигуру, всё самое женственное в ней — от плеч до талии и бёдер, что во время этих хождений Игорь не мог оторвать от неё глаз. А потом она опять усаживалась на место.

И чем больше он смотрел на неё, тем яснее понимал, что не хочет уходить с почты. Наоборот — желает просидеть здесь до самого закрытия. Во что бы то ни стало. А дальше...

Он не успел придумать — что дальше. Всё изменилось в одно мгновение. Девушка, оставив свои дела, посмотрела на него — на этот раз совсем по-другому: открыто, ясно. Она точно говорила: «Что-то с вами приключилось: ей-богу, вы как-то странно выглядите. Может быть, вам плохо? Или наоборот — очень хорошо? И вы сейчас наконец оживёте и сами улыбнётесь мне?» Нет, в её глазах была не только ирония, доброе лукавство — там была грусть, нежность, что-то очень настоящее, не складывающееся в слова, способное заставить поверить, что с твоим сердцем могут происходить великие чудеса!

И он, растерявшись, улыбнулся ей. Но улыбка вышла фальшивой. На него давно никто так не смотрел — открыто, приветливо, ясно...

Вот, оказывается, как это бывает: увидишь в глазах незнакомой женщины чистоту, искренность, благородство, и мурашки бегут по телу. Он смотрел на неё и чувствовал, как ему хорошо и страшно одновременно. Почему хорошо — понятно. Что до второго... Неужели стоит однажды коснуться чего-то более естественного, прекрасного, чем всё, что встречал в жизни раньше, и тебя охватывает страх: а вдруг ты не сможешь поместить в себе всё это? Вдруг для тебя, для твоего сердца, души — это непосильная ноша? А ведь ты надеялся, ждал — наверняка, ждал именно этого. Не подумав только об одном: чего сам ты стоишь на белом свете? И вот теперь тебе страшно... И ещё стыдно: за лоск и цинизм, которые ты используешь, как спасательный круг, за эгоизм, приобретённый с молодых ногтей, за «яркий индивидуализм», которым ты кичишься, как аристократ голубой кровью...

Девушка опустила глаза; наверное, своей скупой улыбкой он не слишком-то оправдал её надежды. В этот самый момент за конторкой появился начальник почты, он отыскал Игоря глазами, почтительно улыбнулся и тут же, со всей серьёзностью, обратился к сотруднице:

— Зайди ко мне, прямо сейчас.

Взглянув на Игоря мельком, девушка вышла. Открылись входные двери. К нему уже подходил Паша. Заглянул в незаполненный бланк, громко ругнулся. Вытянул руку вперёд:

— Какого хрена, Игорь Дмитриевич? Я там горбачусь, а ты здесь только две строчки написал... — он грозно встал над ним, уже готовый рассердиться и не на шутку. — Шевелись давай, — и шёпотом добавил: — Водка стынет.

Игорь заполнил бланк. Посмотрел за конторку: там никого не было. Он просто не мог этого вынести: ему хотелось, чтобы девушка немедленно вернулась, прямо сейчас. Он хотел видеть её губы, глаза. Он не мог обойтись без её улыбки. И дал себе слово, что немедленно заговорит с ней: не растерянно, заикаясь, робея от её естественности, а так, как умел говорить с женщинами, когда хотел добиться их расположения. Но — искренне, обязательно искренне. Он уже хотел попросить Пашу, чтобы тот подождал его в машине: если хочет, пусть откроет «горючее». Но... к конторке чинно подходила пожилая дама. Она отыскиала его взгляд, подняла брови:

— Вы закончили?

Игорю отчего-то стало больно. Ему давно не было так невыносимо плохо. Он не знал, что ей ответить...

— Да, — мрачно проговорил он, — закончил.

На парадном почты, на крохотном пятачке, он остановился. Полез в карман за сигаретой и спичками. Паша окрикнул его. Но он даже не

заметил приятеля. Просто не захотел. Он доставал пачку не торопясь, прикуривал медленно...

В семнадцать лет взрослая женщина делает тебя мужчиной. Нет, ты в неё не влюблён. Это договор о взаимной вырубке: она использует тебя, ты — её. Ты доволен такими отношениями, воспринимаешь их как должное. Они становятся для тебе правилом. К двадцати пяти ты оттачиваешь технику общения с женщинами до совершенства. Летом ты охотишься за ними в маленьких кафе — на набережной, зимой... нет, не стоит удивляться, — например, в областной библиотеке. Ведь ты — интеллеktуал. И потом — для кабака у тебя не так много денег. А в библиотеку, как на водопой, в промозглые осенние или вьюжные зимние вечера стекаются самые очаровательные антилопы и газели, львицы, пантеры, кошки всех мастей, проживающие в твоём городе. Стоит только надеть хороший костюм, подобрать галстук и — на охоту... Не то чтобы ты уделял этому много времени — ровно столько, чтобы чувствовать себя мужчиной.

И вот теперь всё твоё совершенство летит прахом...

«Да нет, это наваждение, — когда автомобиль полз по окраинным улицам села, думал он, — самое настоящее наваждение... Или всё-таки... явь?»

...Крыши Дымного, оставшись за спиной, за деревьями, проглядывали дальним фоном.

Их «Волга» стояла у большого озера — у самого берега. Пахло близкой водой, уже холодной, мёртвыми листьями и ещё — грибами (напоминанием о них)... Озеро уже начинало замерзать по краю, неровно. Ещё день, два, может быть, несколько часов, и этот тонкий лёд, листья — бурые, мёртвые, густо убравшие берег, укроет первый снег.

Бутылка водки стояла на капоте, рядом — нарезанная колбаса и хлеб; первые «по пятьдесят» были выпиты.

— Жить бы здесь, — сказал Паша, — только ведь сдохнешь от скуки... Точно?

— Что? — стоя у самой воды, обернулся Игорь.

— Сдохнешь, говорю, здесь от скуки. Хоть и красотища кругом... Да что с тобой, Игорь Дмитриевич? Давай-ка ещё по пятьдесят, что ли?

— Наливай, — откликнулся Игорь, направляясь к машине.

Он опрокинул дозу одним махом. Выдохнул. Положил на горящий от водки язык ломтик чёрного хлеба. Опять отошёл к озеру.

Он всё время думал: где оно его поджидает, на каком краю света? Хотел чуда. Пусть не верил, почти не верил, но хотел, желал. И вот — пожалуйста. Игорь был почти уверен: это оно и было — что в этой женщине гораздо больше того, что он имел когда-то, на что мог надеяться... И что же теперь — он бежит? Боясь сознаться самому себе в этом бегстве, ища причины — не остаться? Нет, он обязательно вернётся

сюда — сегодня же. А если и не сегодня, то на днях. Ему необходимо будет приезжать в Дымное с Зубовым и, возможно, ещё не раз. И чего он, собственно, боится? Он сможет быть другим. Что значит, «никого не любит», «не умеет»? А родные, друзья? Конечно, этого мало. Если бы он их не любил, то числился бы рептилией. А так он — несчастный человек. И всё. Но каждый несчастный имеет право на счастье, разве нет? Имеет и он это право... А если на самом деле — случилось? Невероятным, немыслимым образом. Вот когда по-настоящему становится страшно, потому что не веришь в это до конца...

Игорь поднял с земли тяжёлую ветку, с размаху запустил её в воду.

«Господи, — глядя на дрогнувшую гладь озера, он покачал головой, — что творится — после пузырьки водки-то...»

Он отыскал ещё одну палку, но она так и осталась в его руках.

«Прямо сейчас — взять и увезти её отсюда — туда, где настоящая жизнь... Настоящая?.. — он поёжился от подступающего холода. — А может быть, это я живу на краю света, а не она... — и следом тяжело вздохнул. — Да ведь я уже пьяный...»

Посмотрев на озябшего приятеля, Игорь спросил:

— Ну что, в Дымное?

Шофёр, стоявший у капота и жевавший спичку, наострил уши. Насилу промолчал.

— Это ещё зачем? — ответил вопросом на вопрос Паша. — Чего мы там забыли?

— Стакан отдать...

— Вы, ребята, чего-то не того, — сердито прорвало старика. — У меня рабочий день не резиновый. А нам ещё три часа ехать. Вы два часа водку трескали, прохлаждались...

— Слушай, мы уже навеселе и неслабо, — многозначительно кивнул Паша. — Ну, надули мы село Дымное на один стакан. И что с того?

— Чего дурака-то валять, — воинственно приободрился шофёр, — из-за куска-то стекла. Нам вон по этой дороге — и сразу в Самару.

Игорь не слишком убедительно улыбнулся:

— Я пообещал.

— Да ведь не успеем глазом моргнуть, как стемнеет!

Паша тяжело вздохнул:

— Мы же через несколько дней здесь опять будем. Вот и вернётся.

— Ладно, — Игорь вдруг сдался: чувствуя, что нетрезв и нетрезв прилично, что вряд ли сейчас будет кстати возвращаться на почту. Тем более — говорить. Даже в ханыжном кафе не хотелось теперь появляться. — Я этой забегаловке сверх их стакана ещё упаковку таких подарю. И вообще, Паша, приедем сюда с ночёвкой, а? С водкой, шашлыком...

— Отлично, — сразу повеселев, Паша хлопнул его по плечу, — баньку найдём. Девчонок пригласим. Нам их Катя из «Сельской нови» сосватает. А может быть, и сама согласится...

- Катя из «Сельской нови» мужа с собой возьмёт.
- Мужа мы не пустим.
- А если он здешний кузнец?
- Это будет хуже... Ну всё, Игорь Дмитриевич, домой, домой...

...За окном автомобиля было уже темно. Паша опять клевал носом. Иногда его сопение переходило в лёгкий храп, и тогда он просыпался, озирался по сторонам, глядя на Игоря, беззлобно произносил ругательство и вновь засыпал.

В середине пути Игорь попросил шофёра остановиться: захотелось выкурить сигарету. И опять его, на этот раз полупьяного, сонного, обнимала природа — остывающая, прятанная красоту увядания в сумерках, с каждой минутой всё сильнее вбирая в себя глубину ночи...

Наверное, это был последний день осени, и завтра должен будет пойти снег...

Через два дня его свалил грипп. В один из одиноких вечеров, встав с температурой под сорок, покачиваясь, он споткнулся в коридоре о саквояж. Звякнуло стекло. Он даже не сразу догадался, что это — упаковка из шести стаканов. Потом он попал в больницу. Предвыборная кампания легла на плечи Паши и остальных сотрудников газеты.

В Дымное Игорь Веретенников так и не вернулся.

Прошло несколько лет. Он бросил журналистику — и ни разу не пожалел об этом. Был ли он счастлив? Наверное, да. А что, собственно, нужно художнику для счастья? Возможность самовыражения. Она у него была. Пишущая машинка, пачка белых листов.

Две изданные книги были для него лучшим оправданием...

Что до личной жизни... Он продолжал пускать туда женщин — их было достаточно. Но если бы Игоря спросили, что они для него значат, наверное, он не смог бы ответить.

Иногда он вспоминал о девушке, работавшей на почте в селе Дымное. Правда, всё чаще ему казалось, что она — плод его фантазии. А если она и была, то совсем не такая, какой он увидел её и запомнил. Думать так было значительно легче.

Что до упаковки стаканов, купленной когда-то в спешке, — они пригодились. На поминках его отца.

В чём он был уверен наверняка — так это в том, что жизнь проходит. И ещё его не покидала надежда: неясная, может быть, сумасшедшая. О ней он не говорил никому, даже Паше Кручинину. Надежда отыскать ещё один край света. Свой. Когда-нибудь... И остаться там навсегда.

Моя профессия — Дед Мороз

Мне сказали: это золотое дно. Валяй себе дурака в бороде и усах — и ещё деньги получай. Разве плохо? «По-моему, очень даже хорошо», — подумал я и согласился...

Так повелось, что культурный центр «Досуг» перед каждым Новым годом вербовал из «массовиков-затейников», студентов института культуры, «дедморозов» и «снегурочек», которые проводили предпраздничные ёлки в ЖКО, библиотеках, детских садах и «на дому».

В «Досуг» я пришёл не один: со мной было ещё шестеро ребят — таких же, как и я, новичков. Экзаменовал нас нагловатый парень с бобриком сивых волос, представившийся Гришей Курочкиным. Он рассадил нас, небрежно бросил:

— Сейчас каждый из вас встанет и повторит то, что я скажу. Ясно?

Первый встал — и не прошёл по росту. Третьего отвергли за высокий голосок, срывавшийся на фальцет. Четвёртым был я.

— Скажи с выражением, — повелительно проговорил сивый. — Ну-ка, ёлочка, зажгись! Все, кто рядом, веселись!

В компании я любил произносить тосты не своим, низким, хорошо поставленным баритоном. Вдохнув побольше воздуха, имитируя застольный тембр, я без труда повторил заклинание.

Сивый кивнул:

— Прирождённый Дед Мороз.

Со мной пообещали подписать контракт на тридцать публичных выступлений и двадцать пять «на дому». Заплатить грозились около тысячи рублей — четыре месячных жалованья моих родителей, врачей-невропатологов. Снегурочку я должен был выбрать из девушек-победительниц такого же конкурса.

У Даши были стройные ноги, вздёрнутый нос, покладистый характер и исключительная добросовестность. Исключительная для очень весёлых глаз. Я знал Дашу по институтским вечерам. Мы здоровались, она была со мною особенно приветлива. Следующей степенью знакомства могло быть только приглашение в кино.

И тут — такая встреча. Мы выбрали друг друга, не задумываясь. После занятий уединялись в пустой институтской аудитории. Даша читала мне наизусть вызубренную роль из плотного, звенящего на одной мажорной ноте, новогоднего сценария. Читала с выражением, зажигательно. Разглядывая очаровательную напарницу, я только почёсывал нос: кроме зевоты, перлы на тридцати шести печатных листах у меня ничего не вызывали...

— Ну как, тебе уже страшно? — спросила Даша, когда мы после заключительной репетиции вечером выходили из института.

— Завтра будет страшно, — беспечно ответил я, в эту минуту думая о том, как ладно сидит на Даше её коротенькая дублёнка.

Иногда автобусы имеют свойство появляться мгновенно, даже самые редкие номера. Едва мы оказались на остановке, как две огромные фары обернулись стальным айсбергом, двери распахнулись, и Даша с залепленными снегом ресницами, бросив: «Это мой», — вскочила на подножку. И только когда она повернулась, едва успев махнуть рукой в варежке, я сообразил, что мне надо было туда же — в тёмный салон уже прочь улетающего автобуса.

Ночью дома я смотрел в тёмный потолок и вспоминал. Что это были за воспоминания? Горькие и счастливые, полные драматизма и трагикомедии. Я пятился назад и наступал в свои же следы. Я чувствовал, что они мне малы, но шёл. Мне хотелось добраться до самых крошечных из них...

Когда мне было пять лет, меня отдали в детский сад. Через три дня моей матушке сказали: «Ваш ребёнок лишён духа коллективизма — воспитывайте его дома». И меня стала воспитывать бабушка. В школе вместо того, чтобы смотреть на доску, я читал спрятанные под партой книги. Или рисовал. За что получал двойки. После восьмого класса мои педагоги страшно обрадовались, узнав, что я поступил в художественное училище; учительский состав нового заведения ещё не ведал, с чем им предстоит столкнуться. За что я ни брался, всё заканчивалось не то что неудачей — катастрофой. На втором курсе меня едва не выгнали за фальшивые медицинские справки: мне очень не хотелось посещать общеобразовательные предметы, а у мамы в сумке было столько соблазнительных бланков! Ради такого случая я даже овладел латинской терминологией. На третьем курсе, во время учебной практики в полиграфическом училище, я изобразил масштабное полотно — «Ленин на субботнике» — гуашью; о том, что нужно добавить в краску клей ПВА, я вспомнил в последний момент, когда оставался заключительный элемент рисунка — кепка вождя. Мой труд был приурочен ко всесоюзному коммунистическому субботнику. Стоило вынести стенд на фасад здания — как тут же пошёл ливень. Через пять минут, затаив дыхание, ули-

ца смотрела на потоки грязи, сходявшие с полотна, и царственно воспарившую над головами прохожих гигантскую чёрную кепку. Я вновь едва избежал исключения. Педагог рисунка, некто Рябцев, говорил: «Если бы Агалаковых было трое, я бы повесился в учительской». Обидно, правда?

О том, как я служил в армии, можно написать книгу. Достаточно вспомнить, как однажды меня посадили за руль БМП. Была метель. Очки я забыл в части. Уже через полминуты я сшиб — наповал — столб с проводами высокого напряжения. В этот день командир полка перед всем строем отчеканил: «Курсант Агалаков, два шага вперёд!» Я сделал эти два шага. Командир полка, став пунцовым, выдохнул: «За преступное отношения к воинской дисциплине — расстрелять!.. — плац замер, можно было услышать, как падает снег. И спустя паузу, разочарованно, сквозь зубы: — Отставить! Трое суток ареста». Правда, иногда мне и везло. На гауптвахте не было света. Столб-то с высоким напряжением надо было ещё восстанавливать. И я вернулся в казарму...

Потом, на гражданке, было частное предпринимательство: об этом лучше не вспоминать. Хотя очень хочется. Например, о поездке в Польшу челноком. Один мой знакомый, комсомольский работник, дока по части такого рода путешествий, сказал: «В Польше берут нарасхват фонарики и точилки для карандашей. И прихвати что-нибудь из русской народной музыки — для немцев». Я сразу представил поляков, мечущихся в потёмках, тянущих руки к советским людям, желая получить по фонарику на брата. И едва они получают эти фонарики, как сразу же берутся точить карандаши. А рядом, как говорится, «на огонёк», уже собираются меломаны-немцы, фанаты русской народной музыки, и млеют от первых громовых аккордов «Калинки-малинки». Я приобрёл загранпаспорт и визу. Купил полсотни симпатичных фонариков и сто не менее симпатичных точилок — для поляков. Немцам — двадцать пластинок русской фольклорной музыки, где тон задавала «Камаринская». В мою удачу мама почему-то не верила. «Тебя там разденут, приедешь голым», — сказала она, и голос её дрогнул. «Главное, чтобы вообще вернулся», — скептически заметил отец. Отпустили меня только потому, что на перспективу разбогатеть купился и мой друг детства Сергей, сосед по подъезду. А он слыл прагматиком. Комплект коробейника у нас совпадал полностью. Слава Богу, мы не успели купить билеты — на занятые накануне у родителей деньги. За день до этой возможной роковой оплошности мы узнали, что поляки предпочитают фонарики, работающие не на батарейках, а на электрической подзарядке, которые и в перестроенной России были немалым дефицитом. А симпатичные точилки просто тупили карандаши. Только в пластинках мы не ошиблись. Но из-за одной «Камаринской» с «Калинкой-малинкой» ехать в Польшу было бы крайне легкомысленно.

Далее — Институт культуры, факультет режиссуры, первый курс. Мне, человеку от природы доброму, в нелепых междусобойчиках пред-

лагали исключительно роли подонков: я должен был грабить стариков, воровать и совершать прочие преступления. Я сбежал с этого факультета. Стал «массовиком-затейником» — зачем, до сих пор не знаю. Но я не унывал. Надеялся, что откроется и мне поприще, где меня обязательно ожидает блестящая карьера. В то время я как раз задумывался, не купить ли мне печатную машинку?

И вот теперь у меня новая профессия — Дед Мороз...

В «Досуге», где мы встретились с Дашей на следующий день, была сутолока. Мелькали красные подолы, шапки, розовые колготки Снегурочек, их накрашенные лица, бутафорские физиономии Дедморозов. В актовом зале, где происходило то же предновогоднее движение и где я попытался найти Гришу Курочкина, за канцелярским столом сидел популярный местный композитор — кучерявый седеющий брюнет — и что-то писал. Рядом с его столом восседала дама с добротн отштукатуренным лицом, похожая на старую, давно вышедшую в тираж куртизанку. Обкуривая одну из Снегурочек, она хрипловатым контральто говорила:

— Я профессиональная актриса, девушка, и лучше вас знаю, какой должна быть внучка Деда Мороза. Понятно?

Я легкомысленно поинтересовался у композитора и профессиональной актрисы, не видели ли они Гришу Курочкина. Дама не обратила на меня внимания. Композитор, прекратив писать, поднял глаза, и мне показалось, что сейчас он в меня плюнет.

Нужный кабинет отыскала Даша. Я уже хотел постучаться, как за дверью услышал приглушённый женский голос: «Да иди ты знаешь куда?! Кретины вы...» Тут же дверь распахнулась, едва не сбив Дашу с ног, и оттуда вылетела красивая молодая женщина с гневным напояженным ртом. Вслед за ней выскочил сивый — Гриша Курочкин.

— Ну откуда я знаю, где он? Бухает, наверное. Новый год через неделю! Вадик сейчас тоже не поедет. А Серёга будет через час, не раньше.

И тут Гриша оглянулся: свидетели перепалки — я и Даша — с любопытством наблюдали за сценой. Он мгновение что-то обдумывал, а потом показал на меня пальцем:

— Вот с ним поедешь.

— С кем, с этим? — подозрительно спросила женщина. — А что он может?

— Всё может, — заверил её Гриша. — Только у вас сценарии разные. А ты ему свою пьеску дашь... Ну, Вика, детка...

— Но у меня вот Снегурочка, — чувствуя недоброе, попытался возразить я, кивая на Дашу.

— Нет, — отрезал Гриша, — вот твоя Снегурочка. А с этой, — он нагло подмигнул Даше, — ещё наездишься. Надоесть успеет.

Вика-детка без симпатий оглядела меня.

— Пусть у Вадика возьмёт костюм и — в машину. побыстрее. Через двадцать минут начало.

Развернулась и пошла по коридору — к выходу. Даша стояла молча. Я растерянно улыбался. Заключительная фраза: «Через двадцать минут начало», — наконец дошла и до меня. Сразу зануло в животе. Снисходительно оглядев нас, Гриша зашёл в кабинет, дверь осталась открытой.

— Сейчас получишь свою шкурку, Дед Мороз, — сказал он оттуда. — И посмелее будь, посмелее: детки это любят.

— Ладно, Дмитрий, — Даша сжала мою руку, улыбнулась с особым пониманием. — Не дрейфь.

Когда я сел на заднее сиденье машины, мне уже хотелось домой. «Вот если бы наливали стакан перед каждым выходом, — вяло пронеслось в моей голове. — Дедушка рассказывал, что перед атакой...»

Снегурочка протянула мне кипу листов, похожих на те, что носила с собой Даша. Начало было в стихах. Первое четверостишие гласило:

*Из-за гор, лесов и дол,
мимо городов и сёл,
к вам на праздник новогодний
я с подарками пришел...*

— Прочти всё. Выучи первую страницу, — сказала Снегурочка.

«С ума сошла», — подумал я, сразу решив ограничиться первыми двумя-тремя четверостишиями.

Начинались сумерки. Зажигались огни в домах и учреждениях. Зимний город оживал по-вечернему. По тротуарам топали в шубах и пальто пешеходы. Мимо нашей «Волги» по грязному дорожному снегу лениво ползли машины.

В салоне было тепло и уютно. На коленях у меня расплзался огромный мешок с тряпьем. У моей Снегурочки был мешок не меньше — с подарками, перевязанный голубой лентой.

Машина завернула в коридоры городского микрорайона и скоро остановилась у одной из коробок.

— Приехали, — сказала напарница. — Выходи.

Выкарабкавшись, хлебнув морозного воздуха, я покорно проследовал за Викой в подъезд. Хлопнула дверь. Тёмный коридор. Ступени. Бубня злосчастное — первое — четверостишие, я споткнулся, едва не растянувшись. Слабо выругался.

В комнате ЖКО было натоплено и тесно. С потолка спускалась лампочка на чёрном шнуре. На одном из столов я с грустью развернул мешок. Там были красный балахон, такая же шапка, рукавицы, пояс, борода и усы — всё для стремительного перевоплощения.

— Скорее одевайся, — раздражённо бросила Вика, скидывая куртку и облачаясь в голубую шубку. — Когда третий раз крикнут: «Дедушка Мороз!» — выходи. Понял?

Я кивнул, натягивая шубу. Она была мне слишком длинна. В бороде, шапке и усах я дышал, как больной астмой. Вновь появилось желание убежать.

— Что делать-то? — безжизненно спросил я, покрываясь потом под зарослями седых искусственных волос.

— Ты прочитал сценарий?

— Кое-что.

— Ты на ёлках раньше работал?

— Ну, — промямлил я, думая, сколько боевых вылетов приписать своей несуществующей практике, — пару раз было...

В глазах Снегурочки читались холод и презрение.

— Будешь делать всё, что я скажу. Подарки раздашь в самом конце. Понял?

— Угу, — промычал я.

Она брезгливо поправила мне усы и бороду.

Где-то в самом конце коридора взорвались детские голоса, потом стихли. И следом: «Сне-гу-роо-очка-а!!!» И ещё раз: «Сне-гу-роо-очка-а!!!»

В дверь заглянула лысая мужская голова.

— Пора, — сказала она торопливо и улыбнулась.

— Мешок не забудь, — сказала Снегурочка и вышла.

Я остался один. Вспомнился анекдот про Штирлица: «Это конец. А где же пистолет?»

Где-то очень далеко звонко и радостно полилась рифмованная речь внучки Деда Мороза. Всё бы отдал, зайди сейчас кто-нибудь и скажи: «Слушай, давай-ка сюда шубу и бороду. Иди с Богом...»

Из того же дальнего далёка донеслось:

«Дедушка Мо-роо-оз!!» Второй раз: «Дедушка Мо-роо-оз!!» Взяв мешок, я вышел в коридор. Сердце бешено колотилось.

— Вон туда и сразу налево, — сказали мне и, подхватив под руки, потащили.

В машине я наивно рассчитывал выучить хотя бы полстранички; в костюмерной надеялся не забыть первое четверостишие. Теперь, точно молитву, от которой зависело мое спасение, я твердил первую строчку вверенного мне монолога.

...Яркий свет позолотил мне бороду. Света было так много, что я даже прищурился. Обступив комнату, у стен стояли люди. На меня смотрели их лица — детские и взрослые. У густо наряженной ёлки, стройная, ладная, стояла внучка, растянув губы в нежной улыбке, глядя на своего благообразного, убелённого сединой и немного разбитого параличом дедушку.

С порога я сказал:

— Из-за гор, лесов и дол... к вам, детишки, я пришёл... мимо городов, деревень, на новогодний праздник, с этим мешком...

— Ну-ка, поздороваемся с Дедом Морозом! — звонко перебила меня Снегурочка.

— Здравствуй, Дедушка Мороз! — дружно заголосили дети.

— Здравствуйте, — басовито ответил я, озираясь по сторонам. — А что у меня в мешке?

— Подарки!!! — хором закричали дети.

— Правильно, — ласково ответил я.

— А теперь встанем в хоровод, — деловито предложила Снегурочка, — и вместе с Дедушкой Морозом споём песенку про ёлочку.

Не выпуская мешка из рук, я встал в образовавшийся круг и забасил: «Ма-аленькой ё-елочке холодно зимо-ой...»

Мы шагали вокруг елки и пели. Огибая ёлку, я то и дело встречался взглядом с хитрым прищуром Ильича на большом золотистом портрете. От сердца отлегло. Всё выходило очень славно. Я чувствовал себя настоящим профи. Когда песенка закончилась, мимо меня проплыла Снегурочка и прошипела:

— Мешок поставь!

Опустив свою поклажу, я гордо встал у стены, выпатив бороду, наблюдая за действием. К сожалению, обо мне вспомнили.

— А сейчас Дедушка Мороз загадает вам загадки. Ну-ка, Дедушка Мороз!

Предложение внучки застало меня врасплох. Я напрягся.

— Зимой и летом одним цветом?

— Ёлка! — быстро прокричал конопатый мальчик лет двенадцати в матросской майке.

Ох и наглющая мордуленция была у него!

— Правильно... Два конца, два кольца, посередине гвоздик, а?

Мальчик стушевался. Уличное воспитание уже действовало.

— Ножницы! — тоненьким голоском пропищала кареглазая девочка лет пяти с большим алым бантом на макушке.

— Молодец! — похвалил я её.

— Хватит, Дедушка Мороз, — пропела Снегурочка, — пусть теперь детки загадают тебе загадки.

«Змея ты подколодная, а не внучка», — подумал я, расплываясь в доброжелательной улыбке.

— Можно, я?! — выкрикнул конопатый мальчик в матроске, напугав всех, кто стоял рядом, особенно меня.

— Сидит девица в темнице, а коса на улице?

Это была болезнь: иногда малейшее волнение делало из меня непроходимого тупицу. Что касалось загадок — я не любил их с детства. Не умел их отгадывать. Тем более если кто-то среди гробовой тишины передёргивал передо мной затвор... Я отчего-то представил глупейшую картину: пухлую девицу, сидящую на табурете у окна и зачем-то выбросившую косу наружу — за решётку. Все ждали — ответа не было.

— Не знает Дедушка Мороз, — покачала головой Снегурочка. — Это — морковь.

— А можно ещё одну? — опять выкрикнул мальчик в матроске.

— Ну, давай, — услышал я голос Снегурочки.

Теперь я уже ненавидел загадки лютой ненавистью. Конечно, если в эту минуту я мог что-нибудь соображать, я бы постарался разыграть спектакль. Например, обратиться за помощью к девочке с алым бантом. «Девочка, девочка, помоги Дедушке Морозу отгадать загадку». И девочка обязательно пришла бы ко мне на помощь. Но меня точно парализовало.

А мальчик, недолго думая, тут же выпалил ещё что-то из запасников «Мурзилки».

«Вот гадёныш», — подумал я про мальчика. Он был уже взрослым. В его наглых глазках было написано всё: он знал, что я — это не я, а чужой дяденька в накладной бороде. Теперь он меня сажал. Я осторожно огляделся. Родители меня не любили. В глазах одних уже закипал справедливый гнев. Другие злобно посмеивались.

— Ты что ж это, Мороз, а? — хрипло, но посочувствовал мне краснолицый мужичок в расстёгнутой телогрейке, похожий на истопника.

Снегурочка молчала. Мальчик в матросской майке, показывая все зубы сразу, радостно огляделся и вдруг завопил:

— А я ещё, ещё хочу!

Это было форменным издевательством. В лица родителей я смотреть уже боялся. «Сейчас будут бить», — думал я.

И тут конопатый любитель загадок, не дождавшись разрешения, выпалил что-то новенькое... Это было последней каплей.

— Я сюда зачем пришел, — зависая над мальчиком, почти касаясь бородой его физиономии, вкрадчиво спросил я, — загадки отгадывать? — своё «лицо», как сказал бы китаец, я уже потерял. Больше терять мне было нечего. В эту минуту я больше не был добрым Дедушкой Морозом — я был злым и страшным Дедом Морозом, грозным, высеченным из льда. — Я из леса пришёл, мальчик. Меня в лесу этому не учили... Ты понял?

Мальчик оторопел и ретировался. А Снегурочка уже что-то говорила, кого-то брала за руки, шутила нервным голоском, раздаривала улыбки. А потом объявила игру в «заморозил». Смысл оказался таков: все встают в круг и протягивают ладони. А Дед Мороз ходит в центре и кого шлёпнет по рукам — кто не успеет их убрать — тот и выполняет его желание: читает стихи, например, или что-то ещё.

Я прошёл мимо ладоней конопатого мальчика, даже не посмотрев на них. Он был разочарован. Я остановился у маленькой девочки, его соседки. Посмотрел ей в глаза. Она съежилась от страха и удовольствия. Я замахнулся — девочка отдернула ручки, и моя рукавица шлёпнула по руке конопатого. Злой мальчик скис. Я не скрывал своей радости: теперь он был мой.

— Обежать вокруг ёлки двадцать пять раз.

В комнате воцарилось молчание.

— А не многовато, Дедушка Мороз? — спросила Снегурочка.

Злой мальчик сам объявил мне войну. А на войне: око за око, зуб за зуб. И не иначе.

— Нет, — ответил мстительный «Дедушка Мороз», — в самый раз.

А слово Деда Мороза — закон.

На двадцать первом кругу конопатый любитель загадок сшиб с ёлки игрушку из папье-маше. После двадцать четвёртого он был мне не соперник.

...Вечер близился к торжественному завершению. Я сидел на стуле. Передо мной был развязанный мешок. Кряхтя, я раздавал образовавшим очередь детям подарки: не глядя, запускал руку в холщовый кратер. На свет появлялась всякая всячина. Если подходила девочка, из мешка появлялась машина или пистолет, если подходил мальчик, я выуживал кастрюльку или куклу. Дети были заинтригованы.

— Девочкам пистолеты не суй! — зашипела над моим ухом Снегурочка.

Но дальше из мешка стали появляться совсем удивительные предметы: цветные кегли, пластмассовые кубы и нелепые запчасти для безымянных роботов.

Снегурочка стояла рядом и фальшиво улыбалась. Дети отходили довольные.

«В этом «Досуге» все сумасшедшие, — думал я, одаривая детей содержимым своего мешка. — Невероятно!»

— Реквизит оставь в покое, скотина, — нагнувшись ко мне, вновь зашипела Снегурочка, пока я выдавал подошедшей девочке, отчего-то смущавшейся, уже вытянутый из мешка огромный пластмассовый шар.

Лица родителей я не видел: я сидел к ним спиной.

Потом мы фотографировались: нас щёлкнул толстенький дяденька — «Зенитом» со вспышкой. Слева от меня была ёлка, справа — Снегурочка, на коленях сидела кареглазая девочка с розовым бантом.

Уже на выходе я услышал грозный, обращённый мне в спину, мужской голос: «Из леса он, видите ли, пришёл!» — и следом — ласковый щебет Снегурочки.

О том, чтобы пойти в «Досуг» за причитавшимися мне пятнадцатью рублями, не могло быть и речи. Равно как и о том, чтобы продолжать практику Деда Мороза.

Раза два я встретил в институте Дашу, она рассказывала мне о своих успехах — Даша оказалась прирождённой Снегурочкой — о новых вечерах и очень жалела, что мы так и не стали «дедушкой» и «внучкой».

В кино Дашу я почему-то так и не пригласил.

.....

Я успел раз пять отрастить бороду и столько же раз сбрить её, поменять три квартиры, бросить Институт культуры, расставшись с возможной карьерой «массовика-затейника»; я продавал свои живописные работы на центральной улице города — местном «Арбате»; протрубил несколько лет репортёром в разных газетах; поступил в университет и безнадежно застрял в академических отпусках. И наконец, нигде не работая, существуя на иждивении родителей, едва сносивших мои причуды, продолжал заниматься литературным трудом. Заниматься с таким завидным упорством, что очень часто по вечерам меня поджидала дома только пишущая машинка «Ятрань».

Как-то в конце декабря я возвращался от родителей и, устав от валившего в лицо снега, решил дожидаться трамвая. В филармонии закончился концерт, народ выбирался на улицу. На фасаде висел плакат — «Владимир Кузьмин». Я вспомнил, как давным-давно с друзьями мы плясали под его песенки в городском парке, за решёткой, почти как в зверинце...

Кто-то шлёпнул меня по плечу:

— Привет, Дед Мороз.

Я оглянулся — это была Даша. Она куталась в белую шубку, пряча нос в пушистом воротнике. Даша расцвела, повзрослела, стала настоящей молодой женщиной. Только глаза её по-прежнему были как у той Снегурочки. Я был рад этой встрече, пригласил её к себе — на чашку чая — но она, улыбнувшись мне совсем как раньше, сказала, что давно уже замужем, что сыну её три года и что супруг, с которым она была на концерте, здесь, рядом, на этой же остановке. А она вот решила подойти.

Выжигая фарами снег, громыхая, к взволнованной толпе подползал трамвай. Даша торопливо обернулась.

— Слушай, Дед Мороз, это мой. Пока.

Она уехала. И тогда я подумал, что стал забывать не самую грустную из всех приключившихся со мной историй. И что, возможно, история эта стоит того, чтобы о ней вспомнить... Тем временем шёл снег, взрываясь у фонарей золотой пылью, и до Нового года оставалось чуть больше недели...

Ксения

*Милой Оксане, подруге моей юности,
посвящаю*

Было время, когда эту старую купеческую улицу бороздили автобусы и трамваи. Потом её превратили в пешеходную зону, и вскоре она стала именоваться местным «Арбатом». Прошёл год, полтора, и улица обросла сотнями лотков, стала рынком, настоящей городской толкучкой.

Там Вадим Обручев и встретил эту девушку — в самом начале осени...

В тот день между лекциями открылось окно, и он решил прошвырнуться по центру, посидеть в кафешке. Ему было двадцати три года, он оканчивал педагогический институт, факультет иностранных языков. Через полгода — диплом. Если всё сложится удачно, он останется на кафедре. Об этом он думал последние два часа, переговорив со своим куратором.

Обед быстро подошёл к концу: горячая липкая пицца, апельсиновый сок. Вадим выбрался из кафе...

Он знал, как это случается: шагаешь по знакомой улице, многолюдной, шумной — и вдруг видишь её. И ты идёшь за ней, как ослик за кусочком сыра, привязанным на верёвочке, к пруту, перед самым носом. Пытаешься угадать, кто она, как её зовут; занята ли делом или просто гуляет. Свободна ли? Нет? Может быть, кого-нибудь ищет, даже не подозревая об этом? Но главное ты уже знаешь: если не наберёшься храбрости, пройдёшь мимо, то совершишь величайшую глупость...

Вадим шёл за ней четыре квартала, любясь сзади её походкой; не выпуская из виду её синих, вытертых на ягодицах и бёдрах джинсов, светло-русых — до самой талии — волос. Он останавливался, когда останавливалась она, рассматривая тёмные очки на прилавках, примеряя бусы, разглядывая себя в зеркалах. Он ловил её профиль — мягкий, со вздёрнутым смешным носом.

«Пешеходная зона» приближалась к концу. Уже ревели совсем рядом — за ближайшими лотками — автобусы, звенели трамваи. «Пора», — подумал Вадим.

Он поравнялся с девушкой, сказал:

— Привет.

— Привет, — обернувшись, ответила она.

У незнакомки оказалось целое море конопушек — густо рассыпанных у самого носа и по щекам, большой мягкий рот. Она улыбнулась ему так, словно они были давным-давно знакомы. Было в этой девушке что-то весёлое, весеннее, несмотря на раннюю, уже тронувшую город желтизной осень.

— Вадим, — представился он.

— Ксения... Это ты за мной шёл от самой пиццерии?

Он не смог скрыть удивления:

— Ты меня видела?

— Я сидела за столиком позади тебя. Хотела подсесть, а потом постеснялась... Гаденькое заведение. Ну, так говори, ты за мной шёл?

Вадиму не захотелось набивать себе цену.

— За тобой, — просто ответил он.

— Мне это приятно. Хотя, — она пожала плечами, — совсем не в новинку.

Лотки наконец кончились. Они вышли к проезжей части.

— Давай покурим — вон в том парке, — она кивнула через дорогу. — Идёт?

— Идёт.

Они перешли трамвайную линию.

Ксения села на первую лавочку, перебросила ногу на ногу. Вадим смотрел на неё, едва скрывая улыбку: он опять любовался своей новой знакомой, как недавно, когда она шла по улице, зная, что он преследует её. Ксения и вправду была очень хорошо сложена, всё было при ней. Если бы не смешной курносый нос, она оказалась бы настоящей примой. Могла бы стать фотомodelью, например. Или выступать на подиумах, представляя «самую высокую моду». Правда, сигаретой она затягивалась неумело, как будто вчера только начала курить. «Нет, — решил Вадим, — для «высокой моды» ей стоило бы подрасти ещё сантиметров на десять...»

— Я тебе нравлюсь? — спросила она.

— Да.

— Очень?

— Очень...

Ксении только что исполнилось восемнадцать. Она была студенткой; приехала из очень далёкого города, который был «почти за тысячу километров от Института культуры с его библиотечным факультетом».

Из парка они спустились к Волге. Устроились там на лавочке, прямо в середине пустынного пляжа, с двумя бутылками «Жигулёвского». Здесь, под ярким осенним солнцем, её конопушки казались отчаянно

рыжими. Вадиму казалось, что он знает Ксению тысячу лет. Потом он сходил ещё за двумя бутылками пива. Оба пропустили свои лекции.

— Можешь называть меня Ксюшей, — расставаясь до вечера, сказала она. — Если хочешь, конечно. Это большая честь: так меня зовут только очень близкие друзья и подруги.

К вечеру он купил две бутылки вина, шоколад, венгерские яблоки, бананы и виноград. Ужин обошёлся ему в копеечку. Правда, иногда Вадим мог позволить себе такую роскошь: благодаря урокам английского, которые он давал мальчику-шалуну, стоившему целой армии разбойников, из одной богатой семьи.

Ксения опоздала на полтора часа, вошла, чмокнула его в щёку так, точно делала это каждый день. Сбросив туфли, прошла в комнату, забралась с ногами на кровать, как-то вся нежно изогнулась, дотягиваясь до столика, взяла яблоко, подбросила его на ладони, впилась в него зубами.

Вадим подсел к девушке.

— Поцелуй меня, — попросила она.

Он коснулся губами её шеи, мочки уха, в которой была крохотная дырочка для серёжки. И сразу вспыхнул от тёплого, необыкновенно притягательного аромата, которым вся она была пропитана.

— Ну, слава Богу, — уже обнимая его, целуя в губы, проговорила Ксения, — а то я уж подумала — там, на Волге, — что ты недотрога.

...Они лежали ночью в его постели, её голова на плече Вадима — в кольце руки.

— Послушай, как же тебя отпустили твои родители? — спросил он. — Вот так, за тридевять земель? Тебе ведь тогда было всего шестнадцать...

— Мои родители заняты собой: разводом, потом возвращением друг к другу, потом опять разводом. И так бесконечно. А я всегда любила путешествовать. В семь лет я собрала сумочку, с которой бабушка отпускала меня за хлебом, и ушла на вокзал. Через две станции меня сняли, отправили домой. А потом я взяла и выросла. Бабушка умерла — дома мне оставаться не хотелось. А здесь, в вашем городе, живёт троюродная сестра мамы. Пока не ушла на пенсию, она работала библиотекарем в институте культуры. Меня отпустили влётку — поступать в институт. Наверное, решили, что когда я его окончу, то они наконец-то уладят свои дела и как-то определятся. Я приехала к тёте, Зинаиде Марковне. А через неделю сбежала от неё в общагу. Я — птица вольная: что хочу ем, что хочу пью. И прихожу домой, когда захочу. Завтра же могу взять и уехать на край света. И никому ничего не скажу.

Они виделись ежедневно. Иногда Ксения оставалась у него на сутки, на двое. Они забирались в ванную и часами лежали там, плескались, болтали, занимались любовью, обедали — если это были воскресные

дни. И опять болтали. Вадим рассказывал ей о себе, о своей сокровенной мечте — стать переводчиком художественной литературы. И ещё о том, что сейчас, в свободное время, он переводит современных поэтов Великобритании. И называл ей фамилии, от которых у Ксении, слыхом не слыхавшей об их существовании, округлялись глаза. Он читал ей этих поэтов — на русском. Ксения говорила, что это здорово. И добавляла, что верит в него и что у него обязательно всё получится. Она тоже рассказывала ему о своей жизни. Как в шестом классе, в школе, мальчишки щипали её, не давали проходу, пока одному, самому наглому, прихватив его за пальцы, она не сломала мизинец. После чего её все зауважали. Об институте, о доброй учительнице английского языка, которая называет их, молоденьких девчонок: «Птицы мои». И о преподавателе истории, который всё время пялится на неё, «бедную Ксюшу», и вымучивает на каждом экзамене, точно так и хочет затащить её в постель. Ещё она рассказала ему про свою сокурсницу Анжелу, у которой были ноги от подбородка — голливудский стандарт. Она общалась только с очень богатыми парнями. Анжела жила у деда, как она говорила: «У старого маразматика, который треплет ей нервы», — и недавно спрашивала у неё, Ксении, каким ядом лучше отравить старика, чтобы потом не посадили.

— И что же? — с ужасом спросил Вадим.

— Я её отговорила, — сказала Ксения. — Не знаю только, послушает меня или нет. Ей ведь всё равно. Да ладно, дура она.

Как-то у входа в институт Ксения представила его этому чуду природы.

— Вот, познакомься, — сказала она, — это Анжела. Вадим.

Девушка была очень высокой, с Вадима ростом, вызывающе длинноногой, в короткой джинсовой юбке и такой же приталенной курточке. Но от одних её крашенных в чёрный цвет волос хотелось припустить по улице без оглядки.

— Очень приятно, — выдавил из себя Вадим.

Посмотрев на него так, точно он был стеклянный и за ним хорошо просматривалась на другой улице запруженная всякой всячиной витрина дамского обувного салона, Анжела что-то прожевала в ответ и больше в его сторону не смотрела.

— А знаешь, что она мне сказала? — когда они остались вдвоём, беря его за руку, спросила Ксения. — Про твоё высочество?

— Лучше не говори, я боюсь.

— «Зачем тебе этот студент? Он же нищий, — и Ксения смешно покачала головой. — Ты со своей задницей могла бы себе короля найти».

— И что же ты?

Девушка пожала плечами, теснее прижала к себе локоть Вадима.

— Я сказала ей: «А если он мне нравится? Очень...»

В конце октября куратор сказал Вадиму, что если он будет продолжать учёбу в том же духе, то, пусть его извинит, кафедры ему не видать, как собственных ушей.

Однажды Ксения затащила его в своё общежитие: они проходили мимо, а ей нужно было взять конспекты у своих однокурсниц. Вадим курил в коридоре. Из соседней комнаты вышел рослый парень, увидев Ксению, сразу прильнул к ней, положил ей руку на обтянутую джинсами ягодицу. Ксения разулыбалась, руку парня сбросила, но мягко и не сразу.

— И много здесь у тебя таких? — минутой спустя нарочито пренебрежительно спросил Вадим.

— Каких «таких»? — ответила она вопросом на вопрос.

— Друзей.

— А сколько бы ты хотел? — уже с вызовом спросила Ксения.

— Чем меньше, тем лучше.

Девушка улыбнулась:

— Тогда тебе лучше об этом не знать, милый.

Иногда Ксения приходила среди ночи, и тогда они ругались. А потом мирились — уже в постели. Утром оставался неприятный осадок, и в такие минуты Вадиму хотелось, чтобы Ксения поскорее ушла в институт или куда-нибудь ещё. А он остался бы один на один со своими переводами, до которых, против его желания, никак не доходили руки.

В ноябре, когда холодные ветры заметались по улицам его города, перекатывая остатки опавшей, уже серой листвы, когда его учёба оставилась, Вадим подумал: «Что я делаю? Зачем мне всё это нужно?»

В голове была сущая неразбериха.

Теперь они виделись реже. И Вадиму казалось, что это не только его инициатива, хотя ему не хотелось в это верить. Зато в эти дни ему работалось: он пребывал в долгожданном затяжном творческом запое. А тут ещё один из его педагогов, часто бывавший за границей, знавший об увлечении Вадима, посоветовал ему послать переводы в журнал «Англия». «А вдруг напечатают? — оптимистично сказал педагог. — Прославишься». И Вадим, отпечатав на машинке десятка три переведённых им стихотворений, слабо веря в эту затею, пошёл на почту и отправил в Великобританию толстый, обклеенный марками конверт.

Незадолго до Нового года, когда улицы города выстелило снегом, Ксения пришла к нему домой с маленькой белой дворняжкой. У собачонки красовался на шее яркий розовый бант. Девушка привела её на бельевой верёвочке, привязанной к старому и очень большому, видно, доставшемуся от волкодава, ошейнику. Собачку звали Жужа. Ксения подобрала её на улице и тайком отмыла в общаговском душе с мылом. Хозяйка называла собачонку «девочкой».

Вадим проснулся около полудня, приоткрыл глаза. И сразу увидел Жужу: она спала на соседней подушке, уместившись там целиком. Прямо перед носом Вадима торчали её вытянутые задние лапки с серыми подушечками и куцый хвост. Вадим хотел было рассердиться, но потом почувствовал тяжесть на плече. Ксюша уткнулась ему в шею носом. Она спала. Кругом были её русые, рассыпавшиеся на полкровати волосы. Собачка во сне тихонько вздохнула — трогательно, по-детски. Вадим улыбнулся. И отчего-то ему стало очень грустно.

Ксении не на кого было оставлять Жужу, и она приводила её к Вадиму. А собачке приглянулась одна из его подушек. И просыпаясь, он разглядывал лапки и хвост Жужы. И думал: что с ним всё-таки происходит? Ксения, которая приходит, когда ей вздумается, ещё эта псина. И почему в его обязанности вменяется время от времени выводить Жужу по утрам? Только потому, что Ксения, нежась в постели, упрасивает его, канючит, говорит, что он должен быть джентльменом? Кого она, добрая и милосердная, приведёт ночевать к нему в следующий раз? Лошадь? Крокодила? На бельево́й верёвочке...

Однажды, открыв глаза и пробормотав: «Это не дом, вокзал какой-то», — он, решительно дёрнув собачку за хвост, громко сказал:

— Проваливай.

Жужа проснулась; отчаянно потянулась, беззаботно уткнувшись в лицо хозяина квартиры задними лапками; добравшись мордочкой до головы хозяйки, лизнула её в ухо: один раз, другой...

Ксения тоже проснулась. Не открывая глаз, решив ответить на ласку благодарностью, сжала пальцы Вадима. Но он отчего-то не проникся этой лаской.

Дело шло к полудню. Поднявшись, зайдя в ванную, Вадим обнаружил на соломенном коврике то, что Жужа оставила там ночью. Мало того, он едва не наступил на это. Волна чего-то злого, непримиримого поддела его, понесла.

— Почему это — здесь? — из коридора спросил он.

— А сам ты не понимаешь? — зевая, с кровати проговорила Ксения. — Я же тебя просила вывести её утром на улицу. А ты меня не послушал, — от её невозмутимого тона у него перехватило дыхание: казалось, поднеси сейчас спичку — и он вспыхнет. — Она же не на кровати это сделала, правда?

— Давай-ка, иди убирай за своей «девочкой», — резко сказал он.

— Это же рухлядь, а не коврик, — все ещё сонно пробормотала Ксения. — Я тебе другой куплю.

— Да? Интересно, на какие это деньги?

— На какие надо. Этот коврик уже старый. И гадкий. Жужа знала, куда ей делать.

- Может быть, он старый, но не гадкий. А твоя собака — глупа.
- Эта собака умнее тебя в сто раз.
- Ну конечно, чего от тебя ещё ожидать.

Они разобрались, и он назвал её так, как иногда называл про себя, когда с ней на улице здоровались парни, похожие на бандитов, и она им улыбалась, кокетничала с ними. Он обозвал её «шалавой», «дворняжкой».

— Вот и дождалась, — сползая с кровати, сказала Ксения. — Ав! Ав! — выпалила она в его сторону, одевая рубашку на голое тело, уже направляя её в джинсы. — Иди ты к чёрту, придурок, со своим ковриком. Что ж это ты, такой породистый, со мной живёшь, а? Переводчик хренов...

— Я же говорю — дворняжка.

Она уже забиралась в свои стоптанные на пятках сапожки, натягивала куртку. Взяв в охапку Жужу, смотревшую на них с детским удивлением, с перекошенным бантом у загривка, хлопнула дверь.

В этот день, вечером, он не мог найти себе места. Ночью Вадим допил оставшийся в закромах коньяк. Утром с улицы позвонил в общежитие. Вспомнив все самые вежливые слова, попросил вахтёршу пригласить Ксению Прошину из сорок четвёртого номера. Он не надеялся на удачу, но всё-таки...

Вадим слышал отголоски разговора, происходившего сейчас в коридоре общаги. Наконец трубку взяли:

— Алло...

— Алло, Ксюша?

— Да, — отозвалась она. — Вадим, это ты?

— Слушай, — он сокрушённо покачал головой, тупо разглядывая письма, нацарапанные на стене таксофона. — Ты нужна мне. Слышишь?..

— Да, слышу, — ответила она очень издалека.

Они встретились на набережной. Здесь всё было белым. Волга, и без того огромная, заснеженная, плавно уходила в другой берег. Всё это казалось одним полем — почти бескрайним.

Позволив взять себя за руку, Ксения, в шерстяной шапочке с длинными ушами, сказала:

— Если бы ты сказал мне по-другому: «Я хочу тебя» — или что-нибудь в этом роде, как обычно говорят мужики, думая, что это — предел женских мечтаний, я бы не пришла. Честное слово.

На Новый год она уехала в свой город...

Потом был январь. Ксения приходила к нему, как и раньше. Может быть, не так часто. Обоим нужно было готовиться к экзаменам. Было что-то ещё, с чем ни один из них не мог справиться. Видимо, чёрная кошка, пробежавшая между ними, была чересчур чёрной. Они уже не просиживали часами в ванной, он больше не рассказывал ей о своих переводах.

...Оставив Ксению в постели, он отправился на кухню — к своим многочисленным папкам и машинке. Где-то через час дверь открылась...

— Знаешь, — сказала Ксения, — ты, наверное, тогда что-то перепутал.

Она стояла, привалившись о косяк, мягкая, нежная, без лоскутка материи, с волосами, наползавшими широкой волной на левое плечо и полную грудь.

— Когда? — спросил он.

— Тогда, — ответила она. — Всё перепутал. Ты такой же как все. Самый обыкновенный.

— Ну, что ещё случилось? — откладывая работу, вздохнул он.

— Почему ты разрешаешь мне курить? И выпивать — с тобой и с другими?

— Ты уже взрослая девочка...

— Никакая я не взрослая. Просто тебе всё равно. Если бы я видела, что кто-то заботится обо мне, тогда... Родителям своим я не нужна, в этом я убедилась, а тебе? Мне иногда кажется, что ты стесняешься меня. Почему ты не познакомил меня со своей мамой, с отцом? Я тебя дожидаюсь за полквартиры, когда ты забегаешь к ним на «минуту». Тебе приятно показывать меня своим друзьям — как куклу, не больше. А я не кукла — я живой человек. А ты этого не хочешь понять. И никогда не хотел.

Она плакала в комнате — в постели, он работал на кухне.

Потом на каждого из них навалились экзамены. В эти дни Вадиму и выпала настоящая удача, о которой он только мог мечтать: его переводы прочли за границей, и журнал «Англия» приглашал его посетить Великобританию.

Каникулы, а с ними и грядущее путешествие, приближались.

Последние дни экзаменов Вадим ходил пьяный от счастья.

— По пути, наверное, забудешь обо мне? — вечером, за день до отъезда, утонув в его старом кресле, спросила Ксения. Сцепив руки за головой, она держала её в ладонях. — Отвечай: забудешь?

Вадим так и не понял, говорит она это в шутку или всерьёз.

И вдруг Ксения запела — просто так, ни с того ни с сего, сидя в этом кресле, в той же позе. У неё оказался высокий и удивительно чистый голос, правда, не очень сильный: «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно и светло, я поцелуями покрою твои и очи, и чело...» Она пропела весь романс, нарочно пропуская часто повторяющийся припев; пропела, не забыв ни одного куплета, ни разу не сфальшивив, глядя Вадиму в глаза. А когда она замолчала, то ещё долго смотрела на него — растеряного, потрясённого.

— Ладно, милый, я ухожу, — сказала Ксения. — Ты свой экзамен сдал досрочно, а мне завтра ещё отдуваться.

— Что ты будешь делать эти две недели? — спросил он.

— Сказать тебе честно или соврать?

— Честно.

— Ты уверен?

— Да.

— Искать новое приключение.

Он усмехнулся, пожал плечами:

— Валяй.

Сейчас его уже ничто не могло тронуть. У порога, в своей тёплой куртке и шапочке с длинными ушами, она обернулась:

— Может быть, ещё увидимся...

— Да, конечно. Меня же там никто не пропишет.

— А если бы прописали?

...Спустя две недели на борту авиалайнера, совершавшего перелёт «Лондон — Москва», он сидел рядом с Екатериной, своей сверстницей, девушкой очень видной. Она, в белом жакете и белой юбке, на первый взгляд, обычных, на самом деле — «от Кардена», сейчас спала, держа его пальцы в своей руке. Кажется, это была её двадцать восьмая поездка за границу. И пятая — её роскошной собольей шубы, стоившей, как она призналась ему, целого состояния, оставшейся в гардеробе самолёта... Чувствуя, что рука его онемела, он всё же не смел пошевелиться, боясь разбудить спутницу. Вадим вспоминал, как ночью, под небом Англии, пьяные, с Ричардом Вепсом, поэтом, его друзьями из Оксфорда и русской туристкой Екатериной Смородиновой, землячкой, дочерью очень богатого предпринимателя, они пели под Биг Бенom «Подмосковные вечера» (ничего другого из русского репертуара иностранцы не знали).

Это был последний день в Великобритании...

Из Москвы они с Екатериной возвращались домой в СВ. Столик в их вагоне ломился от яств: хорошее французское шампанское, чёрная и красная икра, и прочее, и прочее.

Екатерина была меценаткой — в том смысле, что денег на своего друга, человека творческого, она не жалела. И ещё — была хорошей любовницей.

В середине весны, когда их свадьба с Екатериной Смородиновой казалась делом решённым, в обед он шёл по местному «Арбату». Художники торговали своими картинами, гитарист и трубач бацали что-то джазовое, собрав вокруг себя десятка полтора человек. Послушав их с четверть часа, Вадим бросил в открытый футляр рубль.

Деньги...

Вот какая странная это оказалась штука. Когда-то ему их хватало только на то, чтобы угостить девушку мороженым и вином, изредка посидеть в баре, выпить с друзьями, купить новые башмаки или рубашку. Но теперь всё изменилось. Рядом с ним возникали и растворялись,

точно облако под случайным порывом ветра, такие суммы, что он диву давался. Какие тут стихи, переводы, думал он. Зачем? Для чего? Кому всё это нужно? Мир, в который он случайно попал, как глупая птица с разлёту — в форточку, ошеломил его. Нет, не прельстил, не покори, но что-то изменил в нём, перевернул его, опрокинул...

Екатерина как-то сказала: «Мой папа в состоянии заплатить и за тебя, и за меня. Работай, дорогой, ты прославишь нас обоих». И папа, от одного взгляда которого стыло в животе, платил. Иногда невеста забирала его из института на своём новеньком «Пежо» — и ему все завидовали. Ей-богу, он чувствовал себя инопланетянином. Его, Вадима, в их доме (на двадцать четыре комнаты, с восемью лоджиями и двумя балконами, выходившими на Волгу) называли будущей знаменитостью. И он чувствовал, что если не оправдает этого звания, молодцы из охраны будущего тестя бросят его в ванную с серной кислотой.

Всё это было нелепо, смешно и очень горько. Ему хотелось выйти из этого мира, запереться на тысячу замков снаружи и никогда не подглядывать даже в замочную скважину, забыть, что там, за этой дверью, кто-то существует.

Вадим отошёл от музыкантов, остановился у передвижного кукольного театра, мимо которого всегда старался пройти поскорее. Нелепая пожилая женщина устраивала здесь свои представления: она что-то очень громко, на всю улицу, выкрикивала голосами своих персонажей. И около неё почти никто и никогда не останавливался: все боялись этих криков и старались скорее убежать прочь. Женщина была похожа на сумасшедшую. И, остановись здесь, казалось, все узнают сумасшедшего в тебе самом.

И вот теперь он стоял, один-единственный её зритель, и слушал эти крики, даже не пытаясь взять в толк, что тут и к чему.

У жалкого балаганчика Вадим и увидел длинноногую девушку, важно шагающую с бритоголовым парнем. Он старался вспомнить, как её зовут... Да, конечно, Анжела!

— Я прошу прощения, — догнав парочку, проговорил он, — Анжела... — Вадим посмотрел на бритоголового парня, в свою очередь оглядевшего его с головы до ног, — ещё раз прошу прощения; вы, наверное, помните меня. Я Вадим Обручев, приятель Ксении, Ксюши. Как у неё дела?

Анжела нахмурила брови: она вспоминала. Наконец лицо её немного обмякло.

— А вы не знаете?

«Неужели замужем?»

Он отчего-то виновато вздохнул:

— Нет, я не видел её уже месяца три.

Приятель Анжелы, тщательно пережевывая резинку, потерял к нему интерес. Отрешённо глядя в сторону, накручивал на пальце ключи от машины. Сама Анжела смотрела на Вадима, как и в день их зна-

комства: точно он был стеклянный и за ним сейчас, такая ясная, гудела, катилась куда-то весенняя улица.

— Ксюха пропала.

— Как это... пропала?

Анжела дёрнула плечами:

— Пропала и всё. В конце января. Родители её приезжали, с деканом говорили. Мы вначале милицейские сводки смотрели, где кого убили, даже на опознание ходили, а потом перестали.

Ещё несколько брошенных Анжелой слов, и она, взяв своего бритоголового утрюмца под руку, растворилась на той же людной улице.

«В конце января, — твердил про себя Вадим, — почти день в день». «Найду приключение...» Это были её слова...

Ему почему-то казалось, что Ксюша просто отправилась в новое путешествие, не сказав об этом никому: ни своим родителям, ни подругам и любовникам, ни декану, ни ему.

Значит, не посчитала нужным...

Вадим остался работать в институте на кафедре. Его переводы два раза печатала «Иностранная литература».

С Екатериной Смородиновой свадьбы у него так и не случилось.

Ещё два года спустя совершенно случайно Вадим оказался в общезжитии Института культуры. Затащила его туда одна девушка, будущая танцовщица, темноволосая, яркая, настырная, почти наглая. Он гулял с друзьями в кабаке — она сама пригласила его на танец, тесно обвила руками шею, сказала, что сразу, только увидела, выбрала его из всех; во время танца заразила своим огнём, пообещала необыкновенную ночь. Вадим оставил свою компанию, пошёл с ней, даже не понимая, хочет ли он всего этого.

— Подожди, — в одном из коридоров сказала она, — я сейчас провожу свою соседку. Это будет нелегко, но я это сделаю. Подожди...

Она ушла.

Запустив руки в карманы, Вадим прошёлся по коридору. В комнатах пели, бренчало сразу несколько гитар. Он дошёл до кухни, думая, может быть, всё-таки стоит развернуться и уйти. Он нетрезв, да и не нравится ему эта «будущая танцовщица», несмотря на всю её вызывающую сексуальность. Не его это, чужое.

Вадим привалился спиной к косяку. И только тогда обратил внимание на пол — на светлое пятно между раковиной и одной из зачумлённых общаговских плит. Свернувшись клубочком, там лежала собака. Маленькая грязная дворняжка. Она смотрела на него — смотрела долго, а потом встала, нерешительно подошла, обнюхала его брюки. Ещё не веря своим глазам, он сел на корточки, покачнулся, протянул собаке руку. И она лизнула его ладонь...

Флейта в его саду

Маэстро хватились только к вечеру, когда солнце коснулось верхушек деревьев занимавшего всю округу сада. На просторной желтеющей лужайке, маленьком поле, заставленном столами, засуетилось с полсотни гостей, а потом, под предводительством родных и близких, разбившись на отряды, все бросились по осенним аллеям. И уже скоро перед большим домом с флигелями и колоннадой одиноко остались вдвоём — белый рояль, похожий на айсберг, всё ещё ловивший остатки солнца полированными боками и горбатой гигантской спиной, да виолончель, изящная и притихшая, бережно прислонённая к венецианскому стулу, со смычком, лежавшим на сиденье...

Отдельную экспедицию снарядили в лабиринт, летом — зелёный, а сейчас, в октябре, расцвеченный всеми красками осени, где на прямоугольных площадках, по углам, стояли гипсовые изваяния философов и поэтов прошлого, но Полина, внучка Маэстро, подсказала:

— Дедушка сел на велосипед и поехал в свой сад.

— Тогда пиши пропало, — зло откликнулась её мать, Ирэн, — там сам чёрт голову сломит!

Толпой родственники и гости бродили по заросшему саду, девственному уголку природы. По прихоти Маэстро он возник в самом центре садовнического шедевра, с кустарниками и деревьями, напоминавшими о фауне всего мира. Гости кричали, звали хозяина поместья, пока кто-то не обнаружил приставленный к вишне велосипед. Девочка не обманула. Маэстро уехал именно на велосипеде. И он не упал, но слез, аккуратно приставив велосипед к дереву.

А потом...

Кто-то из подвыпивших гостей присел у зарослей шиповника и следом, встав в полный рост, крикнул:

— Платок! Это платок! На нём кровь...

Несколько человек подбежали к нему. Жена Маэстро всплеснула руками. Да, это был его платок. Сын Маэстро приблизился к кустам шиповника и, приготовившись к самому худшему, раздвинул колючие ветки...

.....

Когда Иван был мальчишкой, отец возил его в дом своей матери, большой, деревянный, с тремя комнатами, печью, сенями, просторной кладовкой, насквозь пропитанной острым ароматом яблок — медовой славянки, хранившейся в огромных сундуках всю зиму. С трёх сторон дом окружал большой сад. Летом в саду было тесно от яблонь и вишен, слив, смородиновых кустов, пёстрых цветов, росших как придётся и где придётся, вспыхивавших, когда приходила пора цветения, и угасавших не в вазах, торопливо, а здесь же, размеренно, на корню, в положенный срок.

Сад был так запущен, что пробраться к забору в большинстве мест было невозможно. Если расступались деревья, то терновник оплетал ноги, крапива цапала за руки, прозрачная на солнце паутина цеплялась за нос, лезла в глаза, а то перед самым носом оказывался большой разгневанный паук, быстроногий, и казалось, что он сейчас же заберётся к тебе за шиворот. Мог внезапно вырваться из куста толстухий шмель, оглушить; или слететь с янтарной сливы, перезревшей, треснувшей от сока, липкого и приторного, быстрая оса и закружить над головой, притягиваясь, точно магнитом, к лицу и плечам. И тогда спасало только бегство. Он выныривал из душной солнечно-изумрудной чащи, часто оцарапанный, тяжело дыша, озираясь. Отец в летней панаме сидел в шезлонге, посередине дорожки, по пути от дома к туалету — в другом месте разместиться было негде — и читал газету. Отец знал, что у сына и фамильного сада, похожего на чащу, особые отношения и не стремился лезть в них.

— Смотри, — разве что говорил он, — однажды не найдёшь дорогу домой. Маме это не понравится, — а потом мог спросить: — И что ты всё время напеваешь?

И улыбаясь, продолжал чтение. Иван тоже боялся потерять дорогу домой. Правда, он знал, что никуда она от него не денется, что это только сад. И всё-таки ему хотелось бояться. Это была игра, приключение. Думать, что захочешь вернуться домой, да не тут-то было... Вернувшись в реальный мир, с деревянным кособоким туалетом в конце дорожки, отцом в панаме и газетой в руках, закинув руки за спину, он бродил по единственной на весь сад тропе и мурлыкал песенки, которые нигде и никогда раньше не слышал. Так, одинокая флейточка играет себе внутри, непонятно что, а ты пытаешься поймать звуки, удерживать их, запомнить.

Потом бабушки не стало. На семейном совете решили: «Лучше купить машину и ездить дикарями на юг». И от сада осталось одно воспоминание.

Лет через десять, уже будучи студентом консерватории, Иван проходил по той полудеревенской улочке большого частного сектора и долго вспоминал, где же их дом. И обнаружил, что дома больше нет: его, вместе с садом, срезала новая широкая асфальтовая дорога.

Он свернул на эту дорогу, представил, где был их дом... Прошёл в сад... Вот тут росла анисовка, там — славянка, зимнее яблоко, особенно сладкое в январе. А там стоял туалет, чуть накренившийся, не как Пизанская башня, конечно, но всё-таки. Здесь всегда верховодили огромные зелёные мухи, назойливые, противные. Ничего не было. Пустота. Кончилось всё тем, что Ивана едва не сшиб местный лихач на мотоцикле, в рваной тельняшке, вырулив из-за спины, обматерив разяву, обдав его синим удушливым выхлопом.

Сада не было. Он растаял, как утренний туман над водой.

В тот день Иван дал себе слово, что когда повзрослеет и накопит денег, то обязательно купит дом с большим садом. Где позволит расти любым деревьям и цветам, ягодам, даже грибам, если они того пожелают.

Иван окончил консерваторию по композиторскому классу. Педагог, профессор с большим именем, назвал его лучшим своим учеником за последние двадцать лет. «Пишите симфонии», — сказал он так, точно Иван должен был немедленно отправиться домой и уже никогда не вставать из-за фортепиано, а только расписывать нотные листы и будоражить клавиши. А хотелось ещё вкусно есть, помогать родителям, прилично одеваться. По примеру одного из друзей он решил попробовать себя в лёгком жанре. Скоро несколько его шлягеров гоняли по телевидению. Но это было неинтересно: слишком просто, как гулять по выбритой газонокосилкой лужайке. А ему хотелось зайти в прекрасный сад — свой сад. Чтобы сверху едва заметно колыхались ветви, тяжёлые от яблок, захватывало дух от сверкавшей на солнце паутины, чтобы сердце замирало от явления толстого шмеля, когда тот со стоном вырывается из куста смородины. И главное — чтобы не было видно забора, чтобы до него всегда было далеко, как до неба.

Одно из крупных европейских музыкальных обществ объявило конкурс для молодых композиторов. Иван узнал об этом случайно, послушал коллег, которые сошлись на том, что «места уже все расписаны, нечего и голову ломать». Пошёл домой, достал черновики, сел за инструмент и стал вспоминать.

Через неделю он послал на конкурс не одну, а три композиции, подписав две из них вымышленными именами.

Если бы эту музыку можно было перевести на язык слов, то первая рассказала бы о следующем:

«Каждый человек ищет сад своего детства, сад, полный запахов, однажды утраченных и приходящих лишь в неясных снах, в его обрывках, в неожиданных воспоминаниях. Явленный и утерянный безвозвратно. Это сад радости, нежности, любви. За его ветви нам хотелось бы зацепиться, хотя бы за безымянный стебелёк, удержаться, остаться в нём подольше. Но сад нашего детства — лишь прообраз другого сада...»

Вторая композиция на языке слов дополнила бы:

«Каждый человек возвращает свой сад — ежедневно, ежеминутно, как умеет. Земной сад. Иногда он прекрасен, иногда уродлив. Всё зависит от того, какой инструмент играет в нашей душе, умеем ли мы касаться губами облаков. Ведь они так необыкновенны на вкус! Что ещё? Любить. Уметь любить. Жить этим чувством. Найти самую прекрасную женщину на свете — и быть с ней до конца дней. И с благодарностью принимать всё, что окажется на твоих плечах. Даже если это будет очень нелёгкий груз». Вторая композиция подходила к концу и уже перекидывала мосток к третьей, и этот мосток звучал так: «Мы приходим паломниками в этот мир, и каждый наш шаг удаляет и приближает к одному-единственному целому. Смерти нет, и понять это, поверить — величайшая радость, какую только может испытать человек».

И третья композиция подводила окончательную черту:

«Каждый человек ищет свой сад, чтобы потеряться в нём. Раз и навсегда. Этот сад — уголок счастья, потерянного рая, полного единения с миром, природой, человечеством, Богом. И тот, кто отыщет свой сад, может, не оглядываясь, легко ступить на его траву. Он коснётся руками его листьев и будет идти всё дальше, туда, где в кронах деревьев поют птицы, стрекочут кузнечики под ногами, рассыпаясь в стороны от потревоженной травы, и порхают бабочки над головой. Все мы ищем то, что потеряли когда-то. От чего были оторваны, чего были лишены целую вечность и по чему так стосковались. И чувство, что нога наша уже ступает в желанную траву, траву детства и вечности, и называется Его благодатью. Ступивший в густую траву своего сада никогда не вернётся обратно...»

Иван переживал, что все три композиции не так хороши в отдельности, что нужно было бы объединить их в одну, и вот тогда у него был бы шанс поймать свою птицу удачи.

Но теперь уже поздно...

Через месяц к Ивану пришло приглашение от музыкального общества получить свою премию. Два других лауреата не явились, потому что две других композиции также принадлежали ему.

Три композиции слились воедино.

Он признался в обмане — его милостиво простили. И оставили всё как есть. Три венца в тот день одели на голову победителя, тем самым включив в ряды молодых гениев Европы.

Из-за границы Иван вернулся через полгода богатым человеком. Зарубежные концертные залы просто не хотели его отпускать. Однажды на выпускных экзаменах в Петербургской консерватории Иван услышал виолончель. Её держали колени и обнимали руки прекрасной девушки, и свою музыку она играла только для него.

Через месяц они поженились. Он был королём, юная Мария — королевой. Молодожёны боготворили друг друга. Иван написал для неё

целый альбом. Она посвятила ему своё исполнение. На музыкальный Олимп прекрасная виолончелистка, не без помощи Ивана, не просто взошла — взлетела!

Следующие десять лет супруги странствовали по миру. Им было привычно заниматься любовью под перестук колёс и называть временные пристанища, дорогие отели, домом.

Иногда они приезжали в Россию. И тут, в различных филармониях, Иван и Мария давали концерты. По западным меркам билеты на их выступления стоили копейки, многие друзья плохо понимали чудачества двух гениев, считали, что их талант стоит дорого, очень дорого, и были, наверное, правы, но они играли бескорыстно, почти даром. И ничуть не хуже, чем на развалинах терм императора Каракалла, перед осыпанной бриллиантами публикой. Так же волновались и трепетали, когда зал оглушал их аплодисментами.

Когда Ивану перевалило за сорок и он уже давно являлся профессором десятка европейских консерваторий, а Марии было чуть меньше тридцати, они решили передохнуть. Тем более что в России, на берегу чистой извилистой речушки, в большом особняке их ждали двое детей — мальчик и девочка.

Тогда Иван и решил расширить свои владения, впрочем почему Иван? Его давно уже звали «господином Маэстро».

Господин Маэстро не поскупился, прикупил несколько га в округе, позвал специалистов и в промежутках между сочинительством стал чертить план огромного сада.

Это была живая симфония. Но пока только на бумаге. Он часто сажал деревья сам. Мария боялась за его руки, но он успокаивал её, что будет аккуратен. Иногда он просил жену, пока возится с новым деревцем, играть ему. Выносил из дома для неё стул, старинный, привезённый из Венеции, сам по себе шедевр; Мария садилась, обнажая колени, обнимала ногами прекрасный инструмент и заносила смычок... Сад обещал быть не просто симфонией, но гимном — любви и красоте.

Маэстро много странствовал, объездил весь мир. Он проезжал мимо египетских пирамид на ленивом верблюде — и грандиозная музыка великих гробниц, где уснули до конца мира фараоны, уже терзала его воображение; с горы он смотрел на Акрополь, белый, точно выточенный из слоновой кости — и музыка моря, грозных богов Эллады и прекрасных её богинь касалась его слуха; он стоял в середине развалин Колизея — и рык зверей, терзавших тех, кто не хотел подчиняться идолам, крики погибающих готовы были свести его с ума... И у подножия Голгофы он не мог понять: звуки или слёзы орошают его сердце, лицо и душу...

И сад его рос целым миром — прекрасным и неповторимым. Медленно бредущим по шёлковому пути караваном, где явно читались верблюды и погонщики, тянулся плотный изумрудный кустарник; в другом, ершистом, можно было разглядеть опасных хищников, под-

жидающих в саванне несчастных антилоп. Одни деревья напоминали слонов, другие — длинношеих жирафов. Здесь был лабиринт, из которого не просто было найти выход, и в каждой из зелёных комнат заблудившихся встречали гипсовые изваяния великих философов и поэтов прошлых веков.

Всё, что он видел, чувствовал, знал, проходило тут, открывая мир таким, каким Маэстро однажды придумал его для себя.

Десять лет рождался сад, цвёл, плодоносил, устремлялся к небу. И однажды Маэстро поймал себя на мысли, что его шедевр завершён. Или почти завершён. Но эта мысль, скорее, опечалила его.

Как-то известный всей стране телеведущий, эстет и сноб, посетил его дом. Они гуляли по саду: час, другой. За ними неотступно следовал кинооператор. Журналист и композитор говорили о музыке, вечности, любви.

Улучив момент, гость спросил:

— Скажите, маэстро, зачем вам такой огромный сад?

Хозяин дома таинственно улыбнулся:

— Однажды я хочу войти в него и там потеряться.

— Как это поэтично, — задумчиво глядя в объектив камеры, констатировал журналист.

Они с Марией любили завтракать на зелёной лужайке перед домом. Жена Маэстро выходила к завтраку сразу после душа в тонком облегающем халате. И, как и в первый день их знакомства, всё в ней увлекало её мужа.

«Она прекрасна, — наблюдая, как Мария бросает хлеб голубям, думал он. Вот рукав изумрудного шёлкового халата поднимался, рука обнажалась до локтя — белая, точно из алебаstra (Маэстро улыбался: так сказал бы писатель века девятнадцатого), точёная; в такой руке, верно, сама Афина держала золотую иглу швеи. Мария поворачивалась назад, прогибая спину, — её талия была почти такой же, как и двадцать лет назад, когда он встретил её, — круглое колено выглядывало из-под короткого халата, стремилась выкатиться полная грудь, к которой он столько раз жадно припадал, как голодный ребёнок. — Наверное, я самый счастливый человек в мире», — договаривал он начатую фразу.

Да, она была прекрасна. Как яркая, щедрая на свет звезда. Как ветер, приходящий с моря, захватывающий нас, опьяняющий. Как укрытая снегом вершина горы. Недостигаемая, волшебная.

Никто не был нужен ему, кроме Марии. И за двадцать лет их супружества ему ни разу в голову не пришла мысль изменить ей. Как можно изменять Королеве?

Но чего-то не хватало... Важного, главного.

Он смотрел, как она, улыбаясь утреннему солнцу, окружавшим её птицам, крошит хлеб, и уже знал — чего. Они — два сосуда; они де-

лились своей водой и вином и будут делиться, пока живы, они знают друг друга на вкус, они бесконечно ценят друг друга. Но каждый сделан из своей глины, у каждого — своя глубина, своё дно. И потому никогда им не быть одним сосудом. Как никогда не быть одним сосудом двум людям, пусть даже беззаветно любящим друг друга. Быть вместе и наслаждаться присутствием другого — не самый худший вариант, да что там — лучший. Они достигли максимальной близости, их считают самой прекрасной и гармоничной парой. Наверное, так оно и есть... И всё-таки мужчина и женщина существуют в этом мире порознь. Поэтому что они два человека — не один. И у каждого — своя душа.

«Ничто не может раз и навсегда прогнать это одиночество, истребить его, — сидя напротив женщины, прекрасной и близкой, опустившей от яркого солнца ресницы, размышлял он. — Оно идёт из другого мира и будет сопутствовать человеку всегда, всю его жизнь. Не все могут понять этого, но некоторым дано печальное откровение».

Сад на земле — иллюзия. И не успеешь оглянуться — он растает, как утренний туман над водой...

Намечался сорокалетний юбилей творческой деятельности Маэстро. Приглашённых было около сотни. Музыканты с мировыми именами, художники, писатели, деловые люди, ценившие гений мастера.

Маэстро давно располнел, и жизнь его стала неторопливой. Он называл её «естественным анданте». Играл Маэстро теперь меньше — больше сочинял. Иногда выезжал за границу, где позволял себе дирижировать знаменитым оркестром, но такие встряски были хоть и упитательны, плохо сказывались на сердце. По требованию Марии, в этих поездках он надолго не задерживался. Его прекрасная жена тоже округлилась, но в свои пятьдесят всё ещё была моложава, ослепительна, с той же осанкой королевы.

Всё чаще Маэстро сидел на третьем этаже дома, в просторном кабинете, раскрыв окно. И тогда к нему приходила музыка. Рука с карандашом оживала, он, набрав побольше воздуха, нахохливался, прижимал серебристую бороду к груди, вперея взгляд в пять линеек, и быстро начинал писать. Музыка обуревала им, звуки блуждали в нём, точно в сосуде, отзывались эхом, пели на все голоса. А иногда он забывал делать записи, потому что его слуха касался особенный инструмент.

Маленькая флейта, когда-то певшая внутри, подсказывавшая мальчику, как лучше намурлыкать ту или иную мелодию, давно затерялась среди других инструментов. Но временами он особенно ясно стал ощущать её присутствие. Армия гавотов и скрипок, виолончелей и труб вдруг уходила куда-то, точно срезанная стремительным порывом ветра, и прорывались звуки флейты.

Маэстро смотрел в окно, открытое настежь, на бескрайний сад. И звуки его сада, едва доносившиеся сюда, но объёмные, живые, слива-

лись с пением флейты. Взгляд Маэстро скользил по кронам деревьев и уносился к особому уголку его сада.

Эта часть сада всё время требовала пристального внимания, притягивала, точно просила: «Куст шиповника не подстригайте, пожалуйста, а тут посадите ещё одно деревце, например, сливу. В тесноте да не в обиде. И побольше бы паутины — прозрачной паутины. И не забудьте о шмеле! Будет что надо!..»

И тогда Маэстро не мог усидеть на месте — он вставал, садился на велосипед и ехал в дальний уголок сада. Там была особенная тишина. Не то чтобы там не пели птицы или не стрекотали, проносясь у самого уха, стрекозы. Нет. Там не было человеческих голосов. Туда не долетали крепкие словечки садовника и смех повара, не проникал щебет расторопной горничной, не звучал распорядительный голос его снохи Ирэн — длинноногой, тянувшей сигарету за сигаретой, высокомерной и резкой, что было особенно неприятно. Не было колких насмешек его рыжеволосой дочери, художницы-авангардистки, презиравшей всякую традицию и особенно — гипсовые изваяния великих в зелёном лабиринте. Там не было даже смеха Марии, прекрасной богини, однажды спустившейся с небес, чтобы помочь понять и ему божественную природу художника. Правда, иногда здесь звучал голосок его внучки — Полины, не похожей ни на свою мать, ни на его сына — предприимчивого, вечно занятого, что-то покупающего и продающего. Её голосок был точно голоском птицы, случайно залетевшей сюда, севшей на ветку. Но ещё минута, две — и птица вспорхнёт, полетит искать свои страны, свои сады.

Этот уголок сада был только его пристанищем — и ничьим больше.

...Он отошёл от белого, похожего на айсберг, слепившего глаза от яркого осеннего солнца рояля, поклонился. Рядом с ним, приложив виолончель к венецианскому стулу, сделала лёгкий реверанс гостям супруга Маэстро.

— Все к столу! — громко сказал хозяин дома, — будем пировать!

Все потянулись к столам, поставленным причудливым зигзагом на просторной лужайке перед домом. И уже скоро гости загудели, как пчёлы в улье.

Тост следовал за тостом, Маэстро улыбался, благодарил. А сам думал только об одном: уже несколько дней у него странное предчувствие больших перемен. И он догадывался каких...

В самый разгар торжества, когда все были заняты собой, Маэстро, держа в руке пустой бокал, вздрогнул: высокая мелодия мягко уколола его. Все другие посторонние звуки исчезли. Голоса многочисленных гостей доносились до него, точно через вату. Это было так уместно. Всё назойливое, временное и оттого подчас ненавистное, распалось, спинуло. А вот мелодия осталась. Она звучала то слева, то справа, точно

невидимый музыкант — флейтист! — летал над его головой и дразнил, скользя пальцами по серебристому инструменту, наполняя всё вокруг музыкой...

Маэстро встал, машинально поцеловал жену в плечо. Зацепив ногой стул, едва не упал. И тотчас услышал голос Ирэн: «Помоги отцу, ты не видишь, что с ним?» — «Шампанское?» — рассеянно спросил сын. «А что же ещё? В его-то возрасте...»

Но он уже шёл прочь от стола.

Многие пересаживались, искали новых собеседников, поэтому на хозяина дома не обратили внимания. Оглянувшись, он увидел встревоженное лицо Марии. Желая успокоить её, Маэстро рассеянно улыбнулся.

Он завернул за угол дома, там стоял его велосипед, забрался в седло, тяжело оттолкнулся и покатил вперёд — к дорожке.

Пока он крутил педали, звуки флейты то пропадали, то появлялись вновь. Только бы не исчезли! Они точно вели его, но куда? Пролетев через сад, миная изумрудных слонов и верблюдов, оставив справа лабиринт, откуда доносился шёпот великих мира сего, он выехал на дорожку, ведущую через сосновый бор, и там, в беседке, заметил внучку Полину. Девочка держала в обеих руках корзинку и улыбалась деду. Маэстро притормозил, подмигнул ей и вновь оттолкнулся, покатил вперёд.

После угасших цветов на лугу и берёзовой рощи начинались заросли... Яблони, вишни, сливы, кусты смородины...

Сад принял его, обволакивая осенними ароматами; что-то хрустнуло наверху, удар о ветку — и вот уже крупное жёлтое яблоко с алым боком покатилося по увядающей траве... Маэстро остановился, аккуратно приставил велосипед к вишне и дальше двинулся пешком. Звук флейты по-прежнему вёл его.

А впереди уже начинались заросли шиповника — колючая чаща...

Теперь флейта звучала совсем рядом!.. Маэстро дотронулся до куста — и отдёргнул руку. Вытащил платок, зажал им палец. И вновь, выронив лоскуток материи, забыв о нём, потянулся к листьям, шипам, пурпурным плодам кустарника...

Его бросились искать, когда стало заходить солнце. Полина, к тому времени оказавшаяся за столом, на коленях у отца, подсказала:

— Дедушка сел на велосипед и поехал в свой сад.

— Ох, мне этот его сад! — откликнулась Мария, — он там скоро ночевать будет.

Родственники и гости бродили толпой по заросшему саду, аюкали, кричали, звали Маэстро, пока кто-то не обнаружил приставленный к вишне велосипед. Девочка не ошиблась: Маэстро уехал именно на велосипеде. И не упал, но слез, аккуратно приставив его к дереву.

А потом...

Кто-то из подвыпивших гостей приблизился к кустам шиповника и следом крикнул: «Платок! На нём кровь...» — «Это его платок», — взволнованно подтвердила Мария.

Сын Маэстро приблизился к кустам шиповника, раздвинул их, но там была непролазная чаща — темень и паутина...

Ирэн, злясь, закурила. На глазах Марии были слёзы, точно она знала то, о чём не догадывались другие. А Поля смотрела на облака, будто хотела там, далеко наверху, разглядеть своего дедушку... И ещё флейта играла совсем рядом, но никто не слышал её. А если бы кто и уловил гармонию звуков, заполнивших всё вокруг, звеневших радостью и светлой печалью, и перевёл бы музыку на язык слов, то узнал бы главное: «Раздвинувший ветви кустарника, ступивший в желанную траву, траву детства и вечности, которую искал всю жизнь, обретёт Его благодать».

...Наступив на обронённый платок, поднимая голову, Маэстро прислушался. Высокий голосок флейты стекал откуда-то сверху. Точно капли дождя на дрожащих листьях, ноты наливались и скатывались, тянулись к нему. Он обеими руками, широко, как только было возможно, раздвинул кусты шиповника и, больше не чувствуя, как они кусаются, увидел яркую густую траву. И много света — яркого, манящего. Вся жизнь пронеслась мимо него в одно мгновение. Всё, чего он боялся и страстно желал. Боялся — смерти, желал — славы и любви. И в тот же миг звук флейты стал явным, его уже не уносило куда-то, он не пропадал и не таял, а пел звонко и высоко — рядом... Маэстро потянулся к яркому пятну и, прищурив от света глаза, счастливый, сделал шаг навстречу...

Содержание

Повести

Город аттракционов.....	4
Зечка	63
Птица в зимнем небе.....	110

Рассказы

Кепка вождя, или Парадный портрет к всесоюзному коммунистическому субботнику	140
Человек с японской собачкой	152
Праздник	163
Алмазная скала	174
Шура, Лефон и затонувший «Титаник»	183
Где-то на краю земли... ..	197
Моя профессия — Дед Мороз	208
Ксения.....	218
Флейта в его саду	229

Литературно-художественное издание

Дмитрий Валентинович Агалаков

ГОРОД АТТРАКЦИОНОВ

Повести. Рассказы

***Книга издана за счёт средств бюджета
Самарской области***

Самарская областная писательская организация
искренне благодарит за поддержку и помощь
в реализации проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

***Ольгу Васильевну Рыбакову,
Лидию Алексеевну Анохину***

Руководитель проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

Александр Громов

Корректор

Алексей Сыромятников

Издание подготовлено издательством

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,

телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 01.08.2012. Формат издания 60х90/₁₆.

Объём 15 печ.л. Гарнитура PetersburgС. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Тираж 550 экз.

Отпечатано в типографии издательства ООО «Книга»

г. Самара, ул. Песчаная, 1, офис 310, телефон (846) 267-36-82